

Владимир  
Сосюра

Прегляд  
Рота



Владимир  
Сосюра

---

Претя  
Рота

РОМАН

*Перевод с украинского  
Натальи Высоцкой  
и Сергея Плахтинского*

МОСКВА  
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ  
1990

ББК 84 Ук7  
С 66

*Художник Георгий Куликов*

ISBN 5-265-01412-8

4702640201 — 363  
— 350 — 90  
083 (02) — 90

© Перевод на русский язык.  
Издательство «Советский писатель», 1990

## ПРОЗА ПОЭЗИИ

*«Третья Рота»<sup>1</sup> — единственное прозаическое произведение большого украинского поэта Владимира Николаевича Сосюры. Писал он его, можно сказать, всю жизнь. Первые наброски были сделаны в 1926 году, а последнее — за пять лет до смерти, в 1960-м. Есть немало свидетельств о том, как работал Владимир Сосюра над романом, — это записи в его личном архиве, воспоминания друзей, которым часто приходилось быть и первыми слушателями, и критиками произведений Владимира Николаевича. Творческих тайн открытая душа поэта вообще не признавала, он часто творил на людях, читал вслух отдельные стихи, отрывки из крупных произведений, многим из которых так и не суждено было увидеть свет...*

*Самое полное свидетельство об истории создания «Третьей Роты» принадлежит перу самого автора: «Я начал писать прозой роман-трилогию о своей жизни еще в 1920—30 годах. Отрывок из этого романа был напечатан в журнале «Красный путь», № 10 за 1926 год («Из прошлого»). Весь же роман называется «Третья Рота» — 1. «Володька»; 2. «Сквозь огонь»; 3. «Поэт». Напечатан был отрывок о гражданской войне на Украине, о трагическом периоде моей молодости... Я отложил его и вернулся через 12 лет, в 1942 году, в Москве. Поскольку машинистки, которая бы могла печатать на украинском языке, не было, я диктовал на русском (начал с детства, точнее, вернулся к нему, чтобы потом писать о годах юности и дойти до старости). Я продиктовал машинистке шестьдесят страниц и это начало романа дал прочитать Клименту Ефремовичу Ворошилову как моему земляку. Он тоже из Третьей Роты, его соратником по гражданской войне был мой дядя Иван Локотош, двоюродный брат моей матери, бывшей работницы патронного завода в г. Луганске. Товарищ Ворошилов прочитал начало романа и пожелал мне через Пономаренко успеха.*

---

<sup>1</sup> Здесь и далее пояснения даются в конце книги в «Примечаниях».

*(Я передал ему рукопись через т. Пономаренко, у которого был друг по батрацкой молодости кубанец Сюсюра со станции Брюховецкой, где живет половина Сюсюра.) Тов. Ворошилов посоветовал опустить физиологические моменты, что я и сделал.*

*После Отечественной войны, осенью 1959 года, я снова вернулся к работе над романом и в черновом виде окончил все три книги трилогии весной 1960 года. Редакция газеты «Молодежь Украины» попросила у меня (т. Семенец, редактор) этот роман, чтобы печатать его из номера в номер газетным вариантом, о чем и уведомила своих читателей...»*

*В то время мемуаристика не была столь популярной, как ныне, тем более — такая: остро и смело писал автор о недавнем прошлом, поминал добрым, а иногда и резким, осуждающим словом кое-кого из своих современников. Для этого нужно было обладать мужеством большого художника. Владимир Сосюра обладал им. Радости автора, увидевшего первые разделы «Третьей Роты» на страницах молодежной газеты, казалось, не будет предела. Но короткой «оттепели» так и не удалось растопить лед недоверия к литературе, которая хотела вырваться на просторы правды и полной гласности. А Владимир Сосюра писал именно об этом — о непростых, трагических событиях гражданской войны на Украине, и о войне с собственным народом в период «сплошной коллективизации», о голоде, выкосившем миллионы жизней его земляков, и об ужасах сталинских репрессий, о борьбе с «национализмом», принимавшей уродливые формы борьбы с собственной интеллигенцией, партийцами из числа ленинской гвардии.*

*Публикация «Третьей Роты» была оборвана на полуслове «высоким» телефонным звонком в редакцию. И более четверти века мы не имели возможности познакомиться с воспоминаниями поэта...*

*В течение ряда лет рукопись обростала множеством авторских поправок, добавлений, вставок... Но даже в последней редакции, когда трилогия обрела форму единого произведения (ее-то и можно считать выявлением последней воли автора), он не избежал повторов в описании тех событий, к которым обращался в разные годы, не преодолел — да, наверное, и не ставил такой цели — определенной разностильности повествования. Если первые главы написаны в стиле «прозы о детстве», напо-*

минающем о русской классической литературной традиции в этом жанре, а главы о гражданской войне, исполненные драматизма и напряженного психологизма, близки к прозе двадцатых годов, то последние разделы по форме — почти дневниковые записи, «заметы» для памяти на случай, когда можно будет работать не в стол, а для читателя, давая волю своим эмоциям, раздумьям, оценкам с той недозированной искренностью, которая всегда была неотъемлемой частью души поэта.

Жанр своего произведения Владимир Сосюра определяет как роман (по первоначальному замыслу роман-трилогия). С таким определением в общем-то можно согласиться. «Третья Рота» — это рассказ о жизни, какой она была, — без прикрас и самолюбования, по духу созвучный той эпохе, в которую жил поэт. Да, кое-где автор субъективен, он ошибается в оценке тех или иных исторических явлений, событий, но неизменно подкупает его искренность: «И пошел я тогда к Петлюре, потому что у меня штанов не было».

Сложные жизненные обстоятельства, случилось, обострили его отношения с друзьями, коллегами по перу. Рассказывая, например, о конфликтах с И. Куликом, И. Микитенко, А. Малышко, автор порой излишне категоричен, даже резок. Но вместе с тем он никогда не преуменьшал роли этих писателей (в частности, И. Кулика и И. Микитенко) в литературе, да и в своей личной творческой судьбе. А их трагическую гибель в годы сталинских репрессий считал трагедией всего украинского народа.

Что же заставляло Владимира Сосюру, поэта от Бога, творчество которого всегда было предельно автобиографично (порой его стихи и поэмы были прямым поэтическим пересказом пережитого), столь упорно обращаться к биографической прозе? Ведь начиная с поэмы «Красная зима», своим лирическим накалом, мастерством поэтического слова буквально прорвавшейся на передние рубежи украинской поэзии 20-х годов, а затем в поэмах «Оксана» (1922), «Вера» (1923), в эпосе «Железная дорога», состоящей из пяти поэм, и особенно в стихотворном романе «Красногвардеец» (1937—1940), Владимир Сосюра пишет и свою личную судьбу, и биографию своего поколения. Но, очевидно, как заметил сам поэт, «о разном и песни бывают разные, и формы, ведь жизнь пестра...». Параллельное воссоздание событий в

стихах и прозе было вызвано, надо полагать, не просто желанием документировать свою биографию: автор осознавал, что поэзия по своей внутренней сути может быть — должна быть! — песней своему народу. А ему хотелось оставить после себя и Летопись, правдивое свидетельство об эпохе, которую он так искренне, так увлеченно, на накале всех чувств прожил вместе со своим народом, с родной своей Украиной, к которой питал такое пронзительное, светлое, сыновнее чувство.

Критики и литературоведы, говоря о достоинствах мемуаристики, часто предостерегают читателей о неполной достоверности, субъективности (а то и субъективизме!) этого жанра. Термин субъективность как бы является и признаком неполноценности, исторической недостоверности. Не переоценивая исторического значения произведений данного жанра, к которым принадлежит и «Третья Рота», сказал бы все же, что это документы наиболее полного самораскрытия характера человека, стиля и своеобразия его мыслей, оценки определенных сторон эпохи.

Роман «Третья Рота» — интересный и характерный образец межуарной прозы. Владимир Сосюра нигде не насилиует своего таланта, своей памяти. Он предельно искренен и не скрывает от читателя даже, казалось бы, невыгодной ему правды, доверяя ему самое сокровенное и больное. И это побуждает нас простить автору, поэту и романтику, все чрезмерности его романтического максимализма, гипертрофию чувств, а иногда и наивность большого ребенка, каким Владимир Сосюра оставался всю жизнь. Все это, думается, не снижает художественных особенностей романа, напротив — придает ему своеобразную индивидуальную окраску и аромат. Это поистине проза поэта.

Готовя первое издание книги «Третья Рота», редакторский коллектив издательства «Радянський письменник» бережно отнесся к рукописи романа, хранящейся в архиве Института литературы АН УССР им. Т. Г. Шевченко. Переводной вариант книги сохранил эти же принципы. До читателя донесено все стилистическое своеобразие, особенности языка, интонации романа-воспоминаний поэта.

СЕРГЕЙ ГАЛЬЧЕНКО



## ПРОЛОГ

Родился я на станции Дебальцево — в десять часов утра шестого января 1898 года. На неделю раньше срока. Это было так. На последнем месяце беременности мать выходила из вагона, и ее ударил в живот острым углом сундука какой-то пассажир. Он сделал это не нарочно. Но мне от этого было не легче. Очевидно, он ударил меня в левую половину головы, и поэтому я родился преждевременно.

Мать, увидя мою черную головку, крикнула: «Черт!» — и потеряла сознание. Моя мать была очень легкомысленна и романтична. На последнем месяце беременности она бегала, перепрыгивала через плетни, и вообще было почти незаметно, что она скоро станет матерью. По происхождению (по мужской линии) она — сербиянка, хотя фамилия ее Локотош, что по-венгерски значит — «слесарь». Очевидно, у матери была и венгерская кровь. По женской линии она происходила из евреев и украинцев.

Отец мой по происхождению (мужская линия) француз, — правильно его фамилия «Соссюр», даже с приставкой «де». Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич, читавший начало этого романа, сказал мне, что никакой я не француз и что правильно моя фамилия не «Соссюр», а «Сюсюра» (и откуда он это взял, ведь действительно в документах нашего бывшего волостного правления я записан на фамилию «Сюсюра»), что у него был друг его батрацкой юности, казак с кубанской станции Брюховецкая Сюсюра и что на этой станции почти половина Соссюр.

Но мой дед подписывался — «Соссюр» и говорил, что нашу фамилию украинизировали писари. Возможно, так оно и было. Очевидно, мой предок — почему-то мне кажется, что он с юга Франции, из Прованса, — попал в Запорожскую Сечь, где писари и записали его «Сюсюрой».

Мои родственники, обыкновенные селяне и рабочие, говорят: «Мы — французы».

А откуда они это знают?

По женской линии отец был карачаевец и украинец, по мужской — украинец. Он носил эспаньолку, а на подбородке у него волосы не росли. Усы же были длинные, казацкие, запорожские усы! Задумчивые светлогриые глаза, то нежные, то суровые, орлиный нос, высокий лоб, тонкие брови. Стройный, широкоплечий, с богатырской грудью и слегка изогнутыми кавалерийскими ногами, он ходил чуть сутулясь, глядя немного вниз. Он был спокойный, молчаливый, прекрасно рисовал пейзажи, особенно акварелью, любил рисовать человеческие лица. Играл на гитаре и под ее задумчивый, серебристый перезвон пел душевные украинские песни. Писал стихи, больше сатирические.

Отец мой был русым, а мама, наоборот, — темная, почти цыганка, мятежная и порывистая. Она была красавицей. Ее темно-карие глаза, черные, жгучие, словно крылья летящих птиц, красиво изогнутые брови, нервные ноздри почти классического, с едва приметной горбинкой носа всегда находились в каком-то дивном, волнующем движении. Мама была прекрасно сложена. У нее были иссиня-черные волосы, и вся она — словно звездная и страстная песня. Она очень любила звезды и часто молилась и плакала под ними. В юности, когда работала на патронном заводе в городе Луганске (родом мама из Каменного Брода), на общегородском балу она получила первый приз за красоту. А претендентками там были и дочери городских богачей, но она, простая работница, всех их победила. Отец напоминал мне хмурого казацкого орла, мама — какую-то смуглую птицу, которой не сидится на месте и все она хочет полететь куда-то. В отличие от отца она была очень разговорчива. Открытость ее потрясала.

Когда я был еще маленьким и мы много ездили, мама случайным дорожным соседям рассказывала о всей своей жизни, и с такими интимными подробностями, что не тогда, когда я был маленьким, а теперь, когда я большой и уже старенький, я просто диву даюсь. Я все слушал, что говорила мама, а она множество раз, потому что у нас было много соседей во время разных поездок, рассказывала одно и то же. Это навсегда запало мне в душу. Много раз она рассказывала о себе и о папе, о своих романтических приключениях, когда была еще девушкой, о своих близких, родных и знакомых. И рас-

сказывала так поэтично и образно, что передо мной как живые стояли исполненные красоты и очарования лунные ночи Донбасса и люди, прекрасные люди, целые звездные миры, святые, далекие и сказочно-близкие.

Деда моего, по отцовской линии, как талантливое крестьянского мальчика, воспитывал помещик. Когда он подрос, его отдали в Лисичанскую штейгерскую школу<sup>2</sup>, двухгодичную. Дед не хотел учиться, прибежал домой и прятался на печи. Тогда приходил приказчик с мешком. В этот мешок он, как поросенка, запихивал моего деда и тащил его на плечах несколько километров до Лисичего. Дед, Владимир Кириллович Сосюра, получил начальное горное образование, но из-за слабого здоровья в шахте не работал, а пошел по канцелярской линии. Сорок лет он был секретарем Луганского «Крестьянского присутствия». За выслугу лет ему давали дворянство, но он отказался: «Я крестьянином родился и таковым хочу умереть». Под старость лет ему дали казенку, и он до самой смерти торговал водкой в пользу русской императорской армии, которая одевалась и кормилась на прибыль от продажи водки. Дед, как и мой отец, писал стихи, тоже с сатирическим уклоном и тоже по-украински и по-русски. Помню содержание его сатирической поэмы, написанной по-украински и датированной 1859 годом. (Я отдал оригинал этой поэмы деда в Музей имени Шевченко в Харькове, но во время Отечественной войны все погибло, и портрет моего прадеда Майбороды — тоже.) В поэме говорится о том, что паны, освободив крестьян от крепостничества, без них посдыхают. В ней говорится, как помещики обменивали людей на щенков, как издевались над ними, как мучили их, как на крови и слезах тружеников строили свою сытую и подлую жизнь.

Отец мой тоже учился в штейгерской школе, уже трехгодичной, но не закончил ее. Начал он учиться грамоте с пяти лет, на коленях у учителя. Окончил церковноприходскую школу, затем начальное городское училище. Мечтал стать моряком, но мечты не сбылись, и он стал учеником штейгерской школы. Учился на «отлично» и как отличник получал казенную стипендию. Маму очень смешило то, что мой отец, безусый хлопец, учась в первом классе, готовил к выпускному экзамену бородатых старшекласников и, когда они туго воспринимали его объяснения, он нервничал и называл их «ослами». Но

они не обижались на него, потому что называл он их так заслуженно.

За год до окончания штейгерской школы отца исключили за участие в революционном кружке с формулировкой: «За пьянство». Только благодаря связям деда отец не был сослан туда, куда «Макар телят не гонял». Когда папу исключили из штейгерской школы, он написал деду письмо в стихах. Помню, что в нем были жалобы на одиночество, на судьбу, на незаслуженные страдания:

Не убил я человека,  
Златом будучи прельщен...

А дед ему ответил:

Ты страдаешь, это ясно.  
Но ты сам тому виной:  
Поменял свой путь прекрасный  
На тернистый и глухой.

После смерти дед не оставил отцу наследства. В завещании было написано: «Сыну Николаю ничего не завещаю».

У отца была сестра, тетя Нина. Она имела начальное образование, а дальше не стала учиться. Дед ее очень любил, и отца он тоже, конечно, любил, но другой, строгий и мужественной, любовью. Он видел, что папа талантлив и сам пробьет себе дорогу. А тетя была неприспособленной к жизни и боялась ее. У нее была несчастная любовь, и она так и осталась до смерти старой девушкой. Деньги она спрятала в матрац, и во время пожара сгорело десять тысяч.

Бабушка, отцова мать, очень любила папу. Тетю тоже любила, но не так сильно. У деда был еще незаконнорожденный сын, которого он воспитывал тайно от бабушки и платил большие деньги за его образование, что отражалось на материальном положении семьи.

И однажды бабушка узнала о том, что у деда есть незаконнорожденный сын, и с нею случился припадок, во время которого она вывела моего отца с сестрой в степь и хотела их повесить... Хорошо, что не было на чем... Припадок прошел, но не бесследно: уголок рта слева стал у бабушки кривым.

Дед постоянно жил в Луганске, бабуся занималась хозяйством. От тяжелого труда у нее была грыжа. Дед

женился на ней, обозлившись на дочь помещика, которую очень любил, но потом разочаровался в ней, легкомысленной и ветреной.

Бабуся служила у отца этой несостоявшейся невесты моего деда экономкой и прекрасно знала французский язык.

Бабуся моя была тоже, как и мама, смуглая.

Я похож на маму, на отца и на себя самого.

Бабуся Вера Ивановна — по женской линии черкешенка, а по мужской — русская. Она была до фанатизма религиозная и по сути была моей духовной матерью. Но об этом позже.

Отец моей матери, дед Дмитрий Данилович Локотош, был мещанином города Луганска, имел водяную мельницу, которую пропил. Его дед — богатый серб, а прадед — полковник сербской армии, перешедшей во время русско-турецкой войны на сторону русских, погиб он в боях с турками. Вместе с ним погибли документы о его дворянстве, и вдову его с сыном записали в мещан города Луганска. У деда было два брата. После смерти моего прадеда они делили землю и все наследство. Один из братьев, Андрей, не захотел оставаться на земле, сказал, чтобы платили за его учебу, земля же ему не нужна, и стал учиться.

Он окончил юридический факультет Воронежского университета и дослужился до председателя окружного суда. Женой его была какая-то княгиня (фамилию забыл), а содержанкой — красавица прачка. Я помню ее, полную и чернобровую. Она рассказывала матери, что для того, чтобы поправиться, намазывала на хлеб масла толщиной в два пальца. А я, голодный, слушал. Это — о дядьке моей матери.

Дед мой был очень разговорчив и часто рассказывал мне о Гарибальди и вообще всякие интересные романы. Рассказывал с таким азартом, что у меня от восхищения пылало сердце как солнце, я не мог его наслушаться. Он женился на дочери бывшего священника, отрекшегося от сана («Не хочу дурить народ»), моего прадеда Майбороды, который при переходе в духовное звание изменил фамилию на «Константинов». Мой прадед был мелким украинским шляхтичем, потомком Майбороды — одного из организаторов и предводителей Запорожской Сечи.

Прадед Николай Константинов влюбился в красавицу

еврейку Розу из семьи купцов Стариковых, живших в городе Екатеринославе.

Мать Розы покровительствовала любви прадеда и Розы, а ее отец и родственники были решительно против.

Тогда прадед и Роза как-то осенней ночью сбежали. За городом их догнал отец с родственниками, и прадеда избили так, что нижняя челюсть у него свернулась набок. Они думали, что он убит, и швырнули его в овражек. Была поздняя осень. Прадед всю ночь пролежал в овражке, а утром его увидели сельчане, ехавшие в город на базар, и вытащили из овражка.

Два месяца болел мой прадед, а когда выздоровел, то снова украл Розу.

И Роза стала Надеждой.

Моя бабушка по матери, Ольга — полуеврейка, полу-украинка, — была очень впечатлительна и все принимала близко к сердцу. Она очень любила мою маму и, когда узнала, что отец пьет горькую и мы бедно живем, помешалась.

Случилось это так: бабушка пришла из церкви — было «Андреево стояние»<sup>3</sup>, — тихо села в темный уголок, к ней подошла мама и о чем-то спросила, а бабушка вместо ответа дико посмотрела на маму и запела: «Преподобный отче Андрее, моли бога за нас...»

С криком: «Ой боже, мамочка помешалась!..» — моя мать выбежала из комнаты.

Ну, еще о любви моих родителей.

Будучи учеником штейгерской школы, отец приезжал из Лисичанска на каникулы в Луганск. Там он проходил практику. В мою будущую маму влюблялись все, один грузинский князь даже хотел зарезать ее, потому что она его не любила. И вообще на вечерах все кавалеры ее обхаживали, и мама вертела ими, как хотела. Она назначала до пяти свиданий, разумеется в разное время, но в один и тот же день. Кавалеры ее в конце концов узнали, что она водит их за нос, и пришли все вместе на кладбище (а мама думала, что придет один) и поставили вопрос ребром: «Скажите нам, Антонина Дмитриевна, кого из нас вы любите?» Мама крикнула: «Никого из вас я не люблю!» — заплакала и убежала. Особенно самоотверженно и свято ее любил хороший и душевный юноша Сеня Логозинский, а мама не любила его, только очень жалела, до слез жалела. А любила она какого-то Ярово-

го, которому готова была целовать ноги и даже следы его ног на земле, но он не любил ее...

Получив начальное образование, моя мама дальше учиться не захотела, потому что была очень хорошенькая. Эгоистичная и самоуверенная, она не могла себе представить, что кто-то из молодых людей не может быть влюблен в нее. Как-то на вечере она встретила светленького, задумчивого юношу в форме ученика штейгерской школы, который смотрел на нее нежно и влюбленно, но держался гордо и независимо. Он не унижался и не заискивал перед ней, хотя любил самозабвенно. В нем чувствовалась какая-то потаенная, притягивающая сила. И мама — от злости, от того, что он не обращал на нее внимания, вернее, делал вид, что не обращает внимания, — влюбилась в него, как говорится, до умопомрачения. Но характер свой попробовала показать и на нем, то есть решила повертеть им, как всеми другими. После одного из вечеров папа провожал ее по глухим каменистым и грязным улицам, с глухими садами, где ломали ребра и баловали со свинчаткой и ножами. На полпути к дому матери их догнал фазетон с одним из маминых поклонников.

— Антонина Дмитриевна! Садитесь, подвезу.

Она небрежно попрощалась с отцом, села в фазетон и укатила, а он остался один, посреди глухой хулиганской ночи с беснующейся бурей в душе. На следующий вечер отец снова провожал маму домой. Он проводил ее точно до того самого места, где она его бросила, попрощался и сказал:

— А теперь, Антонина Дмитриевна, можете идти одна.

И мама с плачем побежала в ночь...

Потом они помирились.

Больше мама не показывала перед отцом своего характера.

Уезжая из Луганска, он сказал горько плакавшей матери:

— Через год я вернусь, и если ты меня за это время не разлюбишь, я женюсь на тебе.

Мать верно ждала его, она забыла всех своих поклонников, никого не замечала, жила как во сне и так любила его, так любила, что, когда он вернулся, она еще до брака принадлежала ему...

Так что я — дитя первой любви...

Вода. Страшный, широкий и необозримый мир, который серебряным видением то поднимается ко мне, то удаляется, падает...

Я на руках у мамы, серебряной от воды...

Это она то близко наклоняется к воде, и меня почти с головой заливает ее жуткое и блестящее серебро, то стремительно поднимает меня вверх к жизни, к сверкающему золотом солнцу, к синему небу... И тогда я успокаиваюсь и умолкаю... перестаю кричать...

А пугающе незнакомый и в то же время такой удивительно привлекательный мерцающий свет дрожит, и переливается всеми цветами радуги, и широко устремляется куда-то вниз и влево, полный ароматной и холодной свежести, весь усыпанный лазурными поцелуями ветра.

Это мое первое жизненное впечатление.

Я не понимал слов и не знал, что этот серебристый, жуткий и заманчивый мир называется Донцом, а то, в чем со смехом плескались и звонко вскрикивали люди, — водой.

Больше я ничего не помню.

Словно сквозь неведомую туманность я призрачно и медленно летел вверх... Но вот туманности не стало, и я иду с отцом и с мамой через что-то дымное, прорезанное на земле блестящими, острыми и твердыми полосами, по которым стучат каблуки моих туфелек... Мама и отец ведут меня за руки. С правой стороны возвышается что-то громадное, и оттуда выползает черное и гремучее чудище... Оно дымно и тонко кричит в светящуюся, покрытую чем-то темным, рваным и летящим высь.

Мне страшно, и я сильнее сжимаю ладошками добрые и теплые руки папы и мамы... Я ищу в них спасения и верю в них. Иду сквозь ужас с этой верой и надеждой, что никакая сила меня не тронет, потому что со мной мои могучие и непобедимые папа и мама.

Это мы переходили железную дорогу, густое кружево рельсов, слева была станция Переездная, справа — Донецкий содовый завод, откуда выползала, перерезая нам путь, заводская «кукушка». Мы вошли в нечто зеленое и качающееся, наполненное гомоном и шумом... Потом были какие-то препятствия, палки, что-то кололо мне ноги, было много яркого, разноцветного и ароматного... И были какие-то норы, а из них повылезли неведомые



чудные, округлые, полосато-зеленые и желтые зверушки с тугими, длинными, сухими и колючими хвостами... Они не двигались, настороженно и хищно ждали... Я боязливо обходил их, чувствуя себя как-то непривычно, неловко и зыбко...

Это мы вошли в лес, а потом — на бахчу. То, что казалось мне странными и неведомыми зверьками, были арбузы, тыквы и дыни, а все яркое и красочное — цветы. Мои ноги кололи колючки, а к чулкам цеплялся репейник.

Я вижу залитую янтарным морем света комнату, с багряным полом, коврами и картинами на стенах. В широко распахнутые окна, скользя по хрупкой лазури стекол, вливался шумный, зеленый день.

Пели птицы, и звенели колокола... Они звенели тонко и хрустально, словно кто-то ронял с неба алмазы.

Мой дед пьет чай. Мне чудно, что стакан с напитком, похожим на вино, он медленно подносит к губам. Сделает глоток, потом так же медленно ставит стакан на стол, и снова подносит к губам, и снова ставит на стол...

Мне хотелось, чтобы он пил чай не отрывая стакана от губ. Но он этого не делал. Наверное, чай был горячий или он хотел продлить удовольствие.

Вообще я хотел, чтобы все делалось быстро.

Потом снова все в тумане. Я прорываюсь сквозь него на Золотом руднике, где отец работал строителем.

Мы идем по полю. Отец и мать идут быстро и одновременно поднимают меня за руки вверх, и мне так весело и так хорошо, что, когда они опускают меня на землю, я умоляю их снова поднимать меня вверх... Это впечатление полета так захватывало, что я весь замирал от счастья и мне казалось, что я — птица... Долго меня то поднимали вверх, то опускали вниз, и я то радовался, то огорчался. А потом отец переступил через канаву с левой стороны дороги, протянул руку к вербе, зеленой и стройной, и сорвал с нее... вареник с вишнями.

Вареник был очень вкусный, сочный и сладкий.

Мне был год от роду.

Я потом часто просил отца пойти со мной к этой вербе за варениками.

Но отец почему-то все отказывался.

Я катаюсь с сыном инженера в деревянном ящике на колесиках. Я пассажир, а он — лошадь. Но вот ящик остановился — «лошадь» решила отдохнуть. Я стал под-

ниматься, но тут «лошадь» дернула... И меня больно стукнуло подбородком об острый край ящика... Я плачу, кровь заливает мне шею и грудь...

Мы едим селедку. И вдруг что-то острое и колющее застревает у меня в горле... Я подавился костью от селедки, и мать, бледная-пребледная, с черными расширившимися зрачками, пальцем вытаскивает кость из моего горла... Я страшно ору...

Мать спасла мне жизнь.

Потом я долго не мог есть селедку.

Это тоже было на Золотом руднике.

А это — на Брянском. Туман уже исчез. Я разговаривал только по-русски, был горд и самолюбив, жесток и нежен, капризен и влюбчив. Любил передразнивать мою тетку Клаву, которая вечно вертелась перед зеркалом, любил показывать ей за спиной язык, не понимая, что она все видит в зеркало. Долго ломал голову: как это она видит спиной, потому что тетка жаловалась на меня матери, и она за это била меня.

Мне очень нравилось, когда одна из подруг матери, смуглая и красивая, брала меня на колени. От нее так приятно пахло, и была она такая уютная и хорошая.

Мне уже пять лет. Я даже был «великодержавным шовинистом» и называл отца двоюродного брата, который приезжал к нам из Третьей Роты погостить, и его отца, папиного дядю, нехорошим словом, когда мать просила меня поцеловать их.

А дядька и дед были бородатые, в кожухах и грязных сапогах, они дымили вонючим табаком, были рослые, длинноусые и плевали на ковер, хотя мама и не позволяла этого делать, а они, наоборот, когда она говорила, что так делать не следует, — смачно, с наслаждением плевали, харкали и растирали гадость своими смазанными дегтем сапожищами.

Мать меня спрашивала:

— Сыночек, почему ты не хочешь поцеловать своего дедушку?

Я отвечал:

— Потому что от него несет хохлом.

А мой братик Коля, курносенький, толстенький, в теплых носочках, такой ласковый, трудолюбивый, послушный и добрый, не брезговал их целовать, дядьку и деда. Он прижимался к их громадным ножищам в широ-

ких шароварах и, зарывшись личиком в кожу, говорил:

— А я буду хохленком!

— О, це добра дытына,— говорил дед и любовно гладил Колину головку своей огромной запорожской лапшей.

— А це — чортыня,— сердито сверкал на меня суровыми глазами и тыкал в лоб своим страшным, почти с мою руку, пальцем, от которого я испуганно шарахался...

Я не понимал, что такое нужда, и горделиво поглядывал на бедно одетых детей.

У нас была кошка, а потом у нее появилось много котят. По утрам они очень шумели и бегали по комнате, где мы спали. И во мне просыпалось страшное и сладкое желание схватить нож и всех их перерезать... Но я не сделал этого. Я просто бросил кошку в уборную, во дворе... Она долго, так долго кричала, так страшно и жалобно, так одиноко и смертно, что у меня сердце разрывалось от жалости, но кошечку не удалось спасти.

А перед этим я под крыльцом, вместе с Колей, замучил курицу. Коля ее держал, а я крутил ей головку. Она так покорно и обреченно смотрела на меня своими крохотными черными глазами...

Мама сказала, что меня за это покарает бог. Я очень его боялся. И когда, уже в селе, веселые мальчишки шли пестрой гурьбой к церкви и приглашали меня, я не шел с ними. Я печально и одиноко стоял в сторонке от их веселой и счастливой дороги, а они, смеясь и перекликаясь, как звонкие и радостные птицы, проходили за ограду и шагали в широко распахнутые двери церкви с нарисованными на них ангелами с солнечными мечами в руках... Там, где все залито сиянием и звучит неземной, прозрачный хор, хор ангелов, ходит бог в золотых ризах... А мне туда нельзя. Я ведь грешник...

Я думал, что священник — это бог.

«Аудитория», куда мать ходила со своими знакомыми на концерты... Сад... Музыка... Шахтерский поселок. Звездные вечера, полные звона гитар и поцелуев... Перед окнами две чудные башни, а из них полыхал в небо тихий, задумчивый и багровый огонь... Эстакады... Летящие сплетения стали на земле и в воздухе, маленькие паровозики, тащившие за собой с веселым криком вагончики с углем...

Часто по воскресеньям мы ходили в Лозовую Павловку на базар. Мать покупала нам игрушки.

Только дорога казалась мне слишком долгой, по степи и вверх, длинная и колючая дорога.

Мы шли по стерне, и она больно колола мне пятки. Отец показывал, как надо идти, чтоб не кололо. Надо скользить ногами, почти не отрывая их от земли. И тогда не кололось. Но я сильно утомлялся. Мне надоедало держаться за мамину юбку. Ведь я мужчина.

Однако усталость брала свое, и я вновь цеплялся за юбку. Мать купила мне лошадку. Я размахивал этой лошадкой, и мне казалось, что я еду на ней верхом. Тогда усталость проходила, и я бодро шагал по золотой, пахучей и полной багряных цветов степи.

Мать купила мне и Коле пальто с блестящими пуговицами. Я говорил, что «буду инженером», а Коля — «хохленком». Еще у нас была сестричка Зоя, светленькая и остроглазая. Я ее очень любил, а Колю почему-то не любил и любил, но такое было не всегда, а лишь в тяжкие для него и для меня минуты.

Еще в Третьей Роте, где я часто передразнивал покашливание папиного отца на пороге его кабинета, у нас появилась Зоя... Какая-то чужая женщина показала нам ее, сморщенную, красную, с разорванным от крика ртом, и сказала, что нашла ее в капусте и сейчас отнесет обратно. Я плакал и просил не делать этого.

Я не знал, что такое «праздник». Я думал, что это — множество полочек, а на них — сплошь конфеты и пряники... Еще я не знал, что значит «живой» и «мертвый».

Я любил ходить в поле и любоваться цветами, особенно мне нравится багрово-синий репейник, любил сдавливать за животики странные голубые цветочки, такие бархатные и добрые, а они, когда их придавишь за животик, широко раскрывали свои ласковые, золотые ротки... Еще я любил смотреть на зарю после захода солнца и бросать камешки в серебряные воды пруда... Брошу камешек, а он булькнет, и после него еще долго расходятся по золотой вечерней воде круг за кругом, все шире и шире, а потом исчезают, и вода снова становится спокойной, темной и тихой...

Я спрашивал у матери:

— Куда деваются камешки и почему от них идут круги по воде, а потом исчезают?

Мне было неприятно, что кровь, когда обрежешь палец, идет так долго и ее трудно остановить...

Я спрашивал у матери:

— Почему бог сделал человека таким непрочным?

Мать говорила:

— Сыночек, ты задаешь мне такие вопросы, что я на них и ответить не могу.

Однажды я стоял в нашем дворе возле желтого, залитого солнечным светом погребца, и ко мне подошел стройный, смуглый, хорошенкый мальчик. Я очень полюбил его, и мы стали дружить. Это был сын рудничного фельдшера Коля Канарейкин.

Но когда он долго не приходил ко мне, я за то, что он мучил меня ожиданием, стегал его длинной лозинкой.

Еще мне было очень интересно и приятно ходить с моей ровесницей, дочкой кучера, в поле, где мы играли в камушки, ловили бабочек. Я любил смотреть, как она тонкими и нежными пальчиками сплетала веночки из полевых цветов для себя и для меня.

Вечерами мимо окон проходили пьяные шахтеры и пели песню про доктора Лойку, которого они очень любили:

Доктор Лойка, он все знает,  
От всех болезней излечает.

А наша служанка Поля выходила к ним навстречу, и ее обнимал у нас за сараем красивый и веселый коногон Шаповалов.

Он часто бывал у нас на кухне, внизу, куда я в открытую ляду, когда приходило время, звонко и властно кричал:

— Поля! Подавай обед!

Мне очень нравилось так кричать.

А Поля тоже была хорошая штучка. Она своему Ване жарила картошку так, что аж кипела в масле, а нам к столу подавала почти сухую.

За это Ваня часто бил ее, за любовь и картошку в масле. Это он так выражал ей свою «благодарность».

И папа с мамой, а иногда и их знакомые, с трудом утихомиривали буйного и пьяного Ваню. Они связывали его, а он плакал, ругался, называл Полю нехорошими словами и часто вместе с плевками бросал ей в лицо непонятное слово:

— Изменщица!

А Поля, с растрепанными волосами, в синяках и разорванной кофточке, длинными черными косами вытирала ему слезы, плакала и целовала связанные руки и ноги, а он под ее поцелуями только стонал, скрежетал зубами и страшно вращал налитыми кровью глазами, которые почти вылезали из орбит...

А потом они мирились и, будто ничего и не было, снова сладко целовались за сараем, и Поля кудкудахтала, как курица, которой я открутил головку, задыхалась и прерывистым шепотом спрашивала:

— Вань, а Вань! Когда же мы поженимся?

— Подожди: вот я заработаю денег, справлю себе спинжак и ботинки на рантах... Куплю гармошку и корову, выпишу мать, и тогда будем все вместе,— отвечал Ваня сухим басом.

Соня, дочка кучера, когда мы с ней ходили в поле, тоже спрашивала меня (мы часто подглядывали, как Поля с Ваней целовались):

— Вов, а Вов! Когда же мы поженимся?

Я отвечал ей, как Ваня, хриплым и прерывистым «басом»:

— Погоди, вот я заработаю много денег, справлю себе спинжак, куплю гармошку и корову, а потом сядем на ту корову и убежим.

Иногда по вечерам у нас собирались гости, играли на гитаре, пили водку, потом играли в преферанс и показывали фокусы. А один худой и длинный конторщик ходил на руках и почти доставал ногами до потолка. Это выглядело очень смешно. Все смеялись и аплодировали ему.

Только мне не нравилось то, что когда он ел, вытирал уголки губ кусочком хлеба, а потом посылал его себе за усы. Мне было противно смотреть на это...

Очень нравились мне песни, которые пели мама и гости. Особенно любил я старинную, казацкую, которой научил мать донской офицер:

По дороге пыль клубится,  
Слышны выстрелы порой...  
Из набега ой да удалого  
Едут все донцы домой!

Я представлял их, буйных и запыленных, черных как цыган от солнца и ветра, с фуражками набекрень, с черными и золотыми чубами, представлял растрепанных от

бега лихих коней, учуявших запах родины и сладкого отдыха.

Они мчатся и стреляют на скаку. Веселая золотая ватага, вся обвешанная награбленным золотом и оружием, на котором запеклась кровь чужинцев... Я не любил их за разбойные дела, но они нравились мне потому, что были храбрые и красивые, как тот черноусый донской офицер, который был влюблен в мою маму и очень нравился ей... Но мать в нем разочаровалась, потому что отец сказал, что в тонких губах донского красавца есть что-то ехидное...

Не помогла офицеру и донская песня, в которой мне особенно нравилось место, где говорится:

Лишь один казак не весел...

Печальный и одинокий, едет он в стороне от товарищей, на чужом коне, с поникшей головой... Товарищи спрашивают его, почему он такой невеселый:

Аль турчанкой ты пленился  
в бусурманском во краю...

А казак им отвечает:

Это горе — нам не горе,  
Мы привыкли в горе жить,  
Чтоб по ветреной девчонке  
Сокрушаться и тужить.

Он тужил не по любимой, а по своему верному другу, боевому коню, убитому злой турецкой пулей...

Еще я любил, когда мать пела цыганскую песню про ворожею:

Положите мне золота в ручку,  
и всю правду я вам расскажу...

Про цыгана:

Лишь один цыган не пьет, не гуляет,  
он да на цыганку скоса поглядает...

Я любил все, что пели мама и гости. И про моряка: «Лет семнадцать поневоле моряк все плавал по волнам...», и «Разлука ты, разлука, чужая сторона, никто нас не разлучит, ни солнце, ни луна...» Особенно любил слова:

Моя рука писала,  
не знала, для кого,

а сердце подсказало:  
для друга своего...

Любил: «Помнишь ли, милая, ветви тенистые, ивы над сонным прудом...» и «Любила меня мать, уважала, что я ненаглядная дочь. А дочь ее с милым бежала в осеннюю, темную ночь...»

А отец добавлял: «Тир-дир-точь, тир-дир-точь...»

Эти песни звенели либо в залитой ласковым светом просторной, с высокими окнами комнате, либо в степи, при таинственном свете костра и голубом мигании далеких звезд, под задумчивый голос гитары в волшебных отцовых руках, который пел задушевым бархатным баритоном.

Когда отец и гости, мужчины и женщины, пели песни, их лица становились какими-то особенными, красивыми и одухотворенными, словно тихий гений добра благословлял белыми крыльями души уставших тружеников земли... У женщин дрожали слезы на длинных и печальных ресницах, а мужчины были бледные, словно им чего-то было жаль и перед кем-то стыдно, и они становились тогда особенно красивыми, и я их всех любил, даже того длинного и худого, что вытирал губы кусочками хлеба... Ведь он не виноват, что у него такая плохая привычка. И моя детская душа, полная восторга и всепрощения, готова была обнять весь мир, со всем добрым и злым... Для меня тогда все злое исчезало и оставалось только доброе... Отойду от людей, лягу на пахучую траву, смотрю на далекие звезды, о которых мне говорила мать, что это «очи ангелов», и плачу, плачу... После слез мне становилось так покойно и легко на душе... Я словно вырастал и летел в звездные миры, бешено мчавшиеся в вечность, а за спиной у меня шумели могучие, во все небо, крылья... И всегда после таких «полевых каш» с костром, музыкой и песнями я не помнил, как оказывался в своей теплой и уютной постели, и просыпался под радостное щебетание птиц за окном, весь обсыпанный золотым дождем утреннего солнца...

К нам приехали из Воронежа мамины братья Костя и Лень. Костя был кудрявый, красивый и разговорчивый, а Лень — курносый и злой. Они часто спорили. Костя был умнее Лени, и тот, когда у него не хватало слов и вообще нечем было крыть, хватал Костю за грудки своими злыми и сильными руками и бил моего кудрявого



дядю спиной и головой о стену. Так ссора всегда увенчивалась «победой» дяди Лени.

Они наговорили моим родителям столько баек о богатой жизни на Кавказе, что отец взял в конторе расчет и мы выехали...

Перед отъездом мать продала всю мебель, а я бегал за вещами, которые чужие люди навсегда выносили из наших опустевших комнат...

Особенно мне жаль было рукомойника, я плакал и умолял мать, чтобы она хоть его не продавала... А мать, бледная, со сжатыми побелевшими губами, ничего не отвечала мне и ходила по комнатам, как черная и гневная судьба...

Я навсегда прощался с моим дорогим рудником Лозовой Павловкой, станцией Алмазной, рельсами, вагончиками, цветами, прудом и звездами. Звездами моего золотого детства, моей беспечальной жизни, Колей Канарейкиным и заплаканной Соней.

Стояла осень, но не поздняя, а тихая, золотая и печальная...

Вечернее солнце заливало безбрежные просторы донецких степей, а мы с Соней все шли и шли в угасающее небо...

Мы прошли мимо больницы и ряда красивых домов, вздымавшихся ввысь, с окнами, залитыми кровью зари... Где-то за одним из этих кровавых окон плачет мой смуглый друг Коля (с ним я уже простился), а мы идем, маленькие и одинокие, в большом, полном слез мире... Слез моего прощания с первой детской любовью и жизнью, которая потом будет мне только сниться...

## II

Все грохочет и пестро пролетает мимо открытого вагонного окна, а потом кружит, плавно и медленно...

Ветер шумит и дует мне в лицо, а я хочу, чтобы поезд летел все быстрее и быстрее... Я высовываюсь из окна, лицом по ходу поезда, и всем телом и желанием словно подгоняю его...

Отец выходил на каждой остановке, чтобы купить нам сладостей или воды, а больше — выпить водки.

Я очень волновался, что поезд уйдет без него, плакал, а Коля меня успокаивал:

— Не плачь. Папа скоро вернется, он пошел прогнать курицу.

Я все не мог успокоиться... Мне казалось, что папа отстал от поезда... Что вот он стоит одинокий в страшном и неведомом поле... И мне так жалко, так жалко было его, что безудержные рыдания сжимали горло и слезы заливали щеки...

А когда отец приходил, я успокаивался... И так всю дорогу...

Кавказ...

Ночь.

Поезд идет по берегу моря... Оно глухо и грозно шумит и бьется за окнами, а перед нами туманно убегает вверх каменная стена, волнистая и жуткая...

Это — гора Арабат.

Черкешенки, под черными чадрами, все плачут и плачут, стонут печально и страшно... Это они так поют, как мне сказала мама.

На одной шумной станции была пересадка. Подошел поезд. Я стоял в суетящейся, встревоженной толпе. Ударил второй звонок, а в вагон еще не пускают. Ужас охватил мою душу... Я всплеснул руками и полным отчаяния голосом закричал:

— Ой боже, мы ж опоздаем!

Все вздрогнули и посмотрели на меня...

Это был как электрический ток.

Нам дали дорогу, и мы первыми вошли в вагон.

Я очень понравился одному красивому грузину с черными, словно залитыми дегтем, глазами...

На каждой остановке он мне покупал кучу восточных лакомств.

Особенно мне понравились гранаты.

Грузин часто брал меня к себе на колени и учил считать по-ихнему до пяти:

— Эрти, ори, сами, охти, хути...

Но матери почему-то не понравилась моя дружба с грузином. И когда на одной из станций он пошел за новой порцией лакомств, она спрятала меня на верхней полке.

Грузин пришел, а мать сказала ему, что я в другом конце поезда.

Он несколько раз оббегал весь состав, все искал меня, а пробегая мимо нашего купе, заглядывал в него и взволнованно спрашивал:

— Дэ Волода?

Мать говорила, что меня нет, и грузин бегал, как сумасшедший, по всем вагонам и кричал:

— Вы не видэл такой смуглый, хорошенкий малчик?..

Ему отвечали смехом, и он бежал дальше...

Наконец его отчаянные крики прекратились. Наверное, он сошел на своей станции. И мать разрешила мне сидеть на нижней полке и снова смотреть в окно.

Посреди словно рассеченной горы я впервые увидел море... Почему-то оно было как синяя стена, не лежало плоско, а синело, как стена гигантского дома... И я подумал, как же в нем плавать?.. Наверное, надо карабкаться вверх, а потом, как на санках, лететь вниз... Но так можно разбиться об острые камни...

Мы быстро приближались к морю, и оно медленно укладывалось сине и широко...

Над поездом нависали огромные и страшные каменные глыбы, державшиеся на могучих боках гор, словно на ниточке, и мне казалось, что они вот-вот упадут на нас и раздавят, как мошкарку...

Но глыбы не падали на нас, и поезд с тяжелым грохотом пролетал под ними.

Мы ехали в городок Кульпы, где жил мамин двоюродный брат Радя Локотош, который был там приставом.

Ночью в наш вагон вошли два горца. Отец и сын. Отец, словно весь медный, с оголенной волосатой грудью. На его голове была большая лохматая шапка. А сын — смуглый, черноглазый — был одет в какие-то лохмотья. Это были дети нищеты, но чем-то буйным, диким и гордым веяло от них... Они внесли в наш вагон горы с их грозными скалами, шумными и быстрыми речками, вечным шепотом листьев и пением птиц, с их тучами и орлами...

Мы с мальчиком сразу же подружились.

Он говорил мне: «Якши».

Мне пояснили, что это значит «красивый, хороший». А «яман» — «некрасивый, плохой».

Мальчик был похож на меня, только он был сильнее, и глаза у него пылали огнем его родины, Кавказа, грозного и хмурого, в вечных снегах и туманах, полного солнца, ветра и воли.

После поезда мы ехали на бричке сто километров до Кульпы — ехали по багряной и бесконечной пустыне...

Перед нами синела близкая гора, такая близкая, что казалось, ее можно коснуться рукой...

А мы ехали до этой горы, так близко и сказочно синющей перед нами, сто километров...

Так прозрачен был воздух Кавказа.

Длинная и пыльная дорога. Иногда из ям на обочинах выбегали нам навстречу оборванные, смуглые и черноволосые, похожие на цыганят дети, кричали что-то непонятное и грозили нам вслед черными, худенькими кулачками...

Громыхая, мы проносились мимо них, а они долго еще бежали за нами, тоненько и протяжно крича что-то гневное, и все грозили кулачками...

Я не сердился на них, мне было до слез жаль, что живут они в ямах, такие худенькие и оборванные, и глаза у них были такие родные...

Наконец мы въехали в Кульпу.

На крыльце стоял дядька с черкесами и о чем-то с ними по-ихнему разговаривал. Он был в черкеске, высокий, стройный, красивый, с пышной, раздвоенной золотистой бородкой.

Горцы стояли вокруг него в черных бурках и папахах, как хмурые орлы, и кинжалы их в серебряных ножнах холодно и грозно блестели на солнце...

Дядя Родя был очень добрый и простой. Он мог задаром брать рыбу у горцев, но не делал этого и платил деньги. Его комнаты были увешаны коврами, на которых красовались изящно изогнутые сабли и вообще разное оружие...

У него был лакей, который ходил словно тень и в точно назначенное время бесшумно появлялся в комнате и монотонно говорил: «Улжин гатов...»

Я любил сидеть у окна и смотреть на красные горы за его голубыми стеклами... Горы были очень близко, а из их боков тонко и жалобно поднимались в небо синие завитки дыма из ям, в которых жили люди...

Мимо окон часто проходили верблюды, они покачивали добрыми и покорными головами на косматых вытянутых шеях, словно здоровались со мной, и звенели маленькими круглыми колокольчиками. Длинными караванами они каждый день проходили мимо окна... Иногда проезжал на гору на маленьком ишаке, худеньком и длинноухом, огромный, толстый и пузатый горец. Его ноги едва не волочились по земле, и бедный ишачок из последних

сил карабкался на гору, а толстый горянин, небось чтоб ишачку было еще труднее, мотал своими ножищами. Мне было жаль бедненького ишачка. А толстого горца я ненавидел за его пухлые и лоснящиеся от жира щеки, за веселые песни, которые он напевал, раздувая от надути свое жирное и черное горло, и не обращал никакого внимания на страдания несчастного четвероногого мученика.

У меня был телохранитель с кинжалом.

Однажды ко мне пришел его маленький брат-горец и повел показывать Кульпы. Мы ходили с ним по лабиринту узеньких и кривых улочек, а по сторонам стояли глиняные, с плоскими крышами сакли. На саклях паслись козы и спали женщины и дети.

Мы вошли в саклю, где жил мальчик. На полу лежали его родители, их головы были обмотаны полотенцами. Я подумал, что кто-то пробил им головы и они обвязали их и лежат больные. А оказывается, они просто отдыхали, и головы у них не были разбиты, и обмотаны они были не полотенцами, а чалмами. Это такие головные уборы. Я потом об этом узнал. А тогда мне их было очень жаль.

Я спросил мальчика:

— Почему они спят?

— Потому что голодные, — ответил он и посмотрел на меня сухими, горячими и гневными глазами...

У дядьки на столиках было очень много разных красивых вещей из хрусталя и горной кристаллической соли. Я всегда просил у него разрешения, когда хотел взять что-нибудь с его чудесных столиков. А Коля не просил у него разрешения, он просто брал. Дядьке нравилось, что я всегда просил у него разрешения, и не нравилось, что Коля все делал, как хотелось ему, вроде бы дядьки вовсе и не существовало на свете. Коля не любил его, и дядя отвечал ему тем же. А меня он очень любил.

Часто он ласкал меня, прижимал к себе и, глядя мне в глаза, говорил маме:

— Из этого мальчика получится что-то значительное.

Он решил взять меня на воспитание, потому что не был женат.

Мать согласилась, а потом вернулась вся в слезах и забрала меня у дяди.

Он подарил мне на прощание саблю.

Она была длинная, выше меня. На шумном вокзале, заполненном раскачивающимися и что-то бормочущими

женщинами в чадрах, отец продал за четвертак дядькин подарок и напился за его здоровье водки, а я — горьких слез.

Баку...

Мы с отцом стоим на берегу Каспийского моря, у большого медного якоря, врытого в землю. Я смотрел на море, которое было похоже на огромную и бесконечно беспокойную ветрено-синюю гору.

Волны добежали почти до моих ног и оставляли на песке серебряные воланы ажурной пены...

В порту было много кораблей с шумной рощей парусов, и они очень качались, а от берега отходил и медленно взбирался на синюю и гремющую гору моря белый и красивый, похожий на город, пароход. Далеко-далеко голубыми мотыльками в расплавленной синеве неба были разбросаны кораблики...

Мы с отцом бродили по бесконечным узким и запутанным улочкам Баку, и мне было странно, что он ни у кого не спрашивает дороги и все знает, куда идти, на что смотреть...

Мать говорила, что Баку — «город миллионеров». Еще она говорила, что в Баку продают снег...

Мы там прожили целый месяц в гостинице и платили по рублю в день за номер. Мне казалось, что это очень большие деньги.

Матери Кавказ не понравился. Она говорила, «из-за разбойников». На самом же деле ее, как и отца, заставила покинуть этот чудесный край и вернуться в дымный, суровый, но родной Донбасс тоска по родине.

### III

Это был уже не Брянский рудник, а село Чутино. Странным и диким казалось мне жить в селе. У меня была красная рубаша, а мальчишки были вредные и сильно дрались, и собаки тоже были очень вредные. Мы жили в непривычной нужде, на чужой квартире, и я играл с братиком и сестрой на глиняной и шершавой печке. Мать часто плакала, а отца почти никогда не было дома.

Он приходил редко, усталый и злой. Все искал работу и не находил ее. Он стал много пить. А как напьется, становится бледный-бледный и все молчит.

Мать часто грустно пела:

Потихесеньку, помалесеньку,  
мої дітки, йдїть...  
Спить п'яниця в рубленій коморі,  
глядїть його та не розбудить...

И дальше:

Ой п'яниця та не робітниця,  
день і нічку п'є,  
а як прийде із корчми додому,  
мене, молодую, б'є ...

Пьяный отец хрипло, тяжело и прерывисто дышит на постели, а голос матери жалобной чайкой бьется в бедной и печальной хате и дрожит слезами:

Спить п'яниця в рубленій коморі,  
глядїть його та не розбудить...

Особенно я любил, когда мать пела:

Місяць з хмари виглядає,  
світить у хатину...  
А там жінка молодая колише дитину...

Или отец:

Віє вітер, ще й буйнесенький,  
та на той садок зеленесенький...  
А у тім садку живе удова,  
а в тії вдови — дочка молода...

Мы с Колей вышли за село и забрали на чужую бахчу. Какой-то страшный дядька, наверное хозяин или его сын — худой, высокий, черный и в золотистом соломенном брыле, — налетел на нас и стал ругаться. Я испугался и убежал. А Коленька остался с этим страшным дядькой. Я отбежал далеко, а потом остановился. Мне стало очень стыдно, что я убежал, а Коленька не убежал. И еще я думал, что дядька убивает Коленьку, и мое сердце обливалось кровью от страха.

Я понуро и испуганно возвращался обратно и вдруг увидел, что навстречу мне как ни в чем не бывало идут Коля и страшный хозяин бахчи. Коленька радостно кричал и звал меня к себе, а «страшный» дядька был совсем не страшный и приветливо улыбался мне.

Я словно пробудился от кошмарного сна, когда увидел, что братик живой.

...Мы снова вернулись в Третью Роту и жили у нашего родственника, железнодорожника Удовенко.

Однажды отец напился пьяный и поссорился с матерью. Он выгнал ее и заложил дверь медным прутом, чтобы мать не смогла открыть ее.

Коля сидел на печи, а я лежал возле пьяного отца и боялся пошевелиться, чтоб не потревожить его сна. Я любил его и был сердит на мать за то, что она его ругала. Мать в холодных сеньях жалобно просила меня открыть ей дверь. Но я не открывал и Коле не позволял.

Коленька упрашивал маму, чтобы она подождала, когда я усну,— и тогда он ей откроет.

Наконец я уснул.

Сквозь чуткий, тревожный сон я услышал какое-то сопение, а потом что-то треснуло, и кто-то тяжело упал на пол. Это Коля всем своим маленьким тельцем повис на пруте и переломил его. И только крикнул:

— Чуть-чуть не упал!

Это у него была такая привычка — всегда, как упадет, почему-то радостно кричит:

— Чуть-чуть не упал!

Он говорил так, чтобы мама не волновалась, что ему больно. Он очень любил мать, не позволял ей убирать в комнате и все делал сам. И плакал, если мать не давала ему убираться.

Сын моей тетки Гаши Холоденко, Ульян, часто бил меня. У него это почти вошло в систему. Однажды он меня бил, а Коля, вдвое меньший его, терпел-терпел, а потом как подскочит к Ульяну, как закричит на него:

— До каких пор ты будешь бить моего брата? — да как треснет его по носу, у того кровь брызнула фонтаном, и нос стал синеть и распух, как груша...

А Коленька, как гневная молния, вьется вокруг Ульяна и молотит его железными, от праведной злости, кулаками и под бока, и в живот... А потом со всего маху шибанул под ложечку так, что Ульян охнул и бездыханно шмякнулся в пыль...

#### IV

Юзовка<sup>4</sup>.

Мы жили у маминой подруги. В такой же квартире, как была у нас на Брянском руднике. Мимо окон часто пробегали веселые английские дети в белых, накрахмаленных рубашках, с галстуками, в мужских сюртуках,



только штанишки у них были до колен, ну и носки, штиблеты. И в очках, не все, конечно. Такие чистенькие, заносчивые, они никого не замечали, а на нас смотрели как на нечто не стоящее внимания и гоготали как гуси...

У маминой подруги было двое детей. Они лежали в другой комнате, болели скарлатиной. Мы жили бедно, а больные мальчики не ели своих булочек и отдавали нам с Колей. Они только надкусывали их, мы же с Колей доедали.

И вот однажды, когда я проснулся, мать сказала, что Коля заболел.

Он лежал на полу и жалобно смотрел своими темными, добрыми, бархатными глазами и тихонечко стонал...

Я сказал:

— А... Это он прикидывается...

Мы всегда, когда хотели, чтобы мать давала нам побольше и посытнее поест, по очереди «болели». Но Коля не «прикидывался»...

Пришел высокий, красивый и солидный, в пенсне и с бородой военный врач.

Он осмотрел Колю и сказал, что у него скарлатина.

Колю уложили в постель. Он весь был красный и горячий...

Врач приходил несколько раз и грустно смотрел на Коленку, давал ему лекарства, но лекарства не помогали.

На третий день, утром, Коля стал умирать.

Он очень любил маму и все просил ее не отходить от него. Мать наклонялась над ним, а он смотрел на нее мутными уже глазками и все снимал у нее с волос на затылке какие-то «катышки».

Перед смертью он умылся, а потом попросил икону Козельской божьей матери, перекрестился, поцеловал ее и снова лег... И еще он попросил, чтобы его положили на пол.

Его положили... Мать очень плакала, а Коля, чтобы она не плакала, даже сдерживался и не стонал... Так он ее любил...

А отец сбегал... Он не мог видеть последних мук своего сыночка.

Коля умер ночью.

Как живой лежал он в большой комнате, и из его носика выглядывала прозрачная пена...

На пухленьких ножках были теплые носочки и туфельки.

Я не верил, что он умер, мне казалось, что вот сейчас он встанет, откроет свои бархатные глаза под густыми и длинными, красиво изогнутыми ресницами и скажет: «А я буду хохленком!» Но Коленька тихо, как серебряный звон, лежал перед нами...

А потом его везли по городу на дрожках в белом, некрашеном гробу, а мы шли следом...

Равнодушно дымили трубы, проходили чужие, жестокие в своем равнодушии люди, а мы все шли и шли за белым гробом Коленьки, шли и плакали...

Потом мы въехали на кладбище, и чужие люди опустили гроб Колечки в яму и засыпали землей.

Крест на могиле братика, как и его гробик, был белый, некрашенный.

Потом, перед отъездом из Юзовки, мы пришли на Колину могилу попрощаться с ним.

Мама сильно плакала, а папа стал на колени у могилы, и из его глаз капали мелкие, мелкие слезы, как осенний дождик, что сеял над нами...

Мы ехали обратно, и долго у нас за спиной не исчезал, все виднелся крест над могилой Коленьки...

Ох, это не крестик, то Коленька протягивал нам вслед свои бледные дорогие незабываемые руки...

Как я потом корил себя, что был неласков с Колей, что иногда бил его... Как бы я теперь любил его, защищал от мальчишек и собак!..

## V

Села, все села... Иногда рудники... Но рудники — как быстролетные сны, милые и неповторимые... И шахты, клетки, стволы, шахтеры, запах от угольной руды, рельсов — запах детства, и призрачное мелькание вагонеток, и «страдания», тонкий плач или буйный разгул золотых ладов под пьяными пальцами коногона, чубатого и отчаянного.

Отец работал на рудниках чаще всего чертежником, иногда шахтером, а в селах учительствовал, был и сельским писарем. Работал и землемером, а в основном — сельским адвокатом, писал селянам «прошения», начиная от волостной управы и кончая царем. Но об этом потом.

На Кавказе я заболел малярией, и она часто меня трясла.

Но еще до малярии я каждый год по пять дней болел какой-то чудной болезнью.

Утром, после мутного и тяжелого сна, я просыпался вялый, сам не свой. Все неслоь перед моими глазами слева направо... Весь мир куда-то неудержимо мчался... Ходить я не мог, а лежать было мукой — это не избавляло меня от головокружения, хотя немного и уменьшало его... Я закрывал глаза, но и это не помогало... Я словно проваливался в какие-то пересекающиеся бездны, распадаясь на куски. Не мог ничего есть. Все шло обратно... Часто меня тошнило...

На пятый день я просыпался без головокружения, но не мог быстро повернуться, особенно влево, а когда я это делал, то падал на землю... Приходилось поворачиваться всем телом медленно-медленно. Левая половина головы всегда была как в тумане...

Годовалого, меня поклевало стадо гусей. Служанка, оставив меня одного во дворе, пошла к хлопцам на улицу. Наверное, я лежал на правом боку. А гуси клевали меня, и все в голову, все в голову... Я не кричал... И об этом ничего не помню... Это со слов матери.

Вся левая сторона головы после нападения гусей была в шишках величиной с голубиное яйцо...

А в два года я до пояса обварился кипятком. Это я помню. Я стоял в низком коридоре, а за спиной у меня служанка поставила медный таз, полный кипятка. В это время по коридору проходил папа. Уступая ему дорогу, я сделал шаг назад и... уселся в таз с кипятком...

Будто сквозь кошмарный горячий туман вижу все это... Папа быстро разрывает на мне черные бархатные штанишки, а мать рвет на себе волосы и то поднимает, то опускает руки. Крика ее я не слышал... Это было как во сне...

Затем — тьма...

Дальше — со слов матери.

Лечил меня наш третьеротский фельдшер Трофим Иванович.

Я обварился так, что остался последний слой кожи, за которым, если бы облез и он, — смерть.

Мать платила фельдшеру за визит тайком от бабушки по рублю ежедневно, а бабушка (тайком от матери) давала столько же.

Он подсыпал к моей мази какую-то гадость, которая снова вызвала воспалительный процесс, и я едва не умер.

Родители дали эту мазь на анализ врачу, и после анализа стала ясна причина, по которой я чуть не погиб. Фельдшера прогнали.

А еще до этого бабушка, которая часто ругалась с матерью, желая дать ей понять, что значит любовь к сыну и тревога за него, взяла меня, закутанного в пеленки (мама куда-то ушла), и сунула под кровать в темный дальний угол.

Мать чуть не умерла со страху, не найдя меня нигде. Искала весь день, а я все это время лежал на голом, холодном полу...

Мать потом никак не могла понять, почему я целых шесть месяцев непрерывно кричал, и она ничем не могла меня успокоить.

Ну конечно, это был ревматизм. На Брянском руднике, перед сном, у меня часто ломило ноги, и мама делала мне массаж, натирала ноги лампадным маслом или керосином, потом укутывала их теплым шерстяным платком...

Да, мне повезло.

Перед тем как попасть в село, мы приехали в Харьков. Жили на Петинской улице, 110. Приют нам дал дедушка по матери. А деда по отцу уже не было в живых. У маминого отца было две дочери и три сына: Клава, Нина, Леня, Костя и Ваня.

Дедушка часто выпивал, и тогда он становился буйным. Ужасно ругался с бабушкой и детьми, с мамой — тоже. На меня эти ссоры действовали как гроза без грома... Бесконечными молниями они опаляли мою душу... Так бывало часто.

Только мне казалось странным, что они все ругаются да ругаются, а не дерутся... Это было жутко — ожидание драки, наверно, с топорами и прочим.

Дрожа от ужаса, я все ждал, когда же начнут драться... А они не дрались, только ругались... Комната наполнялась наэлектризованной бурей, разрывающей на части мое сердечко. Это — как перед выстрелом. Не так страшен выстрел, как его ожидание.

Все они, кроме моего отца, были отчаянные неврастеники. Все как туго натянутые струны, полные угрожающего звона, готовые вот-вот порваться...

Я бегал на улицу и на шумных, пестрых тротуарах  
пел с мальчишками:

Вставай, поднимайся, рабочий народ!..

Только вместо «крик мести народной» мы пели:  
«крикместер народный».

Это был 1905 год.

Дядя Ваня учился в мастерской жестянщика, но  
мечтал стать машинистом. Еще маленьким он пел:

Тут, тут  
поезд стоит пять минут.

Его мечта осуществилась.

Но об этом позже.

А когда мы вернулись в село, в родную Третью Роту, я  
видел рабочую и крестьянскую манифестацию.

Через площадь на Красную улицу шли молодые  
парни в пиджаках и ярко начищенных ботинках.

Они шли медленно и пели:

А у Питере, на троне,  
сидит чучело в короне...

Они пели против царя.

А полицейские попрятались.

Рабочие шли к содовому заводу...

Так и стоит она перед моими глазами, яркая, смелая  
и спокойная, не боящаяся никого манифестация.

Я тогда не понимал, зачем это делается, но мне  
нравилось море людей в ярких под солнцем рубахах,  
подпоясанных красивыми шнурками с кистями. Они шли,  
твердо ставя ноги на пыльную летнюю землю, эти  
светлые и до слез родные мне хозяева нашей земли.

Мама говорила, что они идут завоевывать свободу, а у  
папы глаза были светлые-светлые, как у орла, глядящего  
на солнце.

## VI

Харьков, снова Харьков...

Несмолкаемо шумный и большой.

Я уже хожу в школу.

Воскресенье.

Учительница ведет нас смотреть «туманные карти-  
ны»... Мы долго, долго шли. Я очень устал. Наконец мы

вошли в просторный зал. Темнота. Потом — свет, и перед нами на экране бегают маленькие человечки, и нам очень смешно. Потом все исчезло, как прекрасный сон, и «туманные картины», и школа.

Иногда мы жили в городах, но недолго.

В Луганске я прыгал вниз головой в речку Луганку с железнодорожного моста у Гартманского завода. В Воронеже дрался с мальчишками, которые смеялись, когда я вместо «арбуз» говорил «кавун», а в селе смеялись над тем, что я, приехав из Воронежа, говорил вместо «а що ж» — «дык што»...

Зато в Воронеже я научился кататься на санках лежа на животе, правя не каблуками, а носками. Так никто не умел, и я был героем. Летал на санках там, где никто не мог.

Любил кататься с заводской горы по дорожке, по которой ходили рабочие, спускался по ней аж до железнодорожной насыпи. Я лечу, а мимо мелькают столбики, мелькает смерть...

Пролетал на страшной скорости мимо чугунного крана, из которого брали воду, и мчался прямо к насыпи. У крана расплескивали воду, и она замерзала. Постепенно вокруг крана образовывалась ледяная корка. Санки у меня были на острых железных отполированных от езды полозьях. Я лечу с горы. Стремительно приближается чугунный кран... Хочу его объехать. Но полозья на корке льда скользят, и санки мчат прямо на чугунную колонку...

Еще немного — и моя голова расколется.

До крана остается несколько метров.

Я разжал руки и выпустил из-под себя саночки.

Они помчались передо мной, стукнулись о кран и отлетели в сторону.

А я на сумасшедшей скорости, скользя по льду животом, налетел на кран и стукнулся об него вытянутыми перед головой руками — смягчил удар и защитил голову. Мои согнутые руки пружинисто уперлись в холодный чугун, и я чуть коснулся головой крана.

Я перехитрил смерть.

Мне было десять лет...

С двух лет я начал рисовать. Уже взрослым я видел у бабушки свои рисунки, рисунки двухлетнего начинающего художника... Я больше рисовал паровозы и вагончики, паровозы с тендерами, вагончики товарные, эшелон

ны... Словно знал, как много грозного будет у меня связано с ними, как много радостного и грозного, как много грозного и радостного.

Но об этом, о кровавом,— потом, позже...

Кроме Зои у нас уже был Олег, мой любимый брат.

Он еще на рудниках и в городах пять раз болел воспалением легких. В памяти моей он бледный и тихо-покорный лежит на кровати, в Юзовке, с пятым воспалением легких. Его печальное и спокойное личико горит в крови моих воспоминаний бледным факелом, и ветер нужды и горя веет мне в лицо из далеких и скорбных дней нашего тяжелого детства. Костлявая рука смерти хочет погасить этот факел, но он горит, чтобы потом засиять ровным светом победы.

А вот сестричка Зоя, в Юзовке или на другом руднике, страшно распухшая от воспаления почек...

## VII

Сметановка.

Это небольшое село, почти хутор.

Отец там учительствовал. С каждого ученика он ежемесячно брал полтинник и буханку хлеба. За зиму его ученики умели читать, писать и знали четыре действия арифметики...

К каждому ученику у отца был индивидуальный подход.

Я тоже начал учиться. У меня были тетради, карандаш, ручка, чернильница, грифель и грифельная доска.

Сначала мы писали на грифельной доске палочки, потом буквы.

Отец учил нас не по старинке: «аз», «буки», «веди», «глагол», а учил буквам, какие они есть и как связывать их в произношении...

Мы старательно мычали хором и скрипели грифелями, учились считать и начали решать задачи.

Как-то я написал на доске: «Папа... Мама...» Мать радостно закричала у меня за спиной:

— Коля! Посмотри, Володечка уже может писать «Папа» и «Мама».

Чудная. Я уже мог писать все слова, которые знал, и целые фразы, даже письмо мог бы написать, конечно, без знаков препинания. Но мама не спрашивала меня об

этом. Ей было достаточно и той маленькой радости, что ее старший сын уже пишет «папа» и «мама».

Наши хозяева часто приглашали к себе в гости соседей и знакомых, богатых селян. И в зимние, белые от снега и наполненные завывающими ветрами лунные ночи они пили водку и пели чумацкие песни... Красные и бородатые лица стоят передо мной с открытыми и звенящими от песен ртами, а полные женщины, румяные и толстошекие, подперев подбородки руками, тонко и жалобно влетают свои голоса в гремящие басы длинноусых мужчин.

Я с мальчишками часто бегал на замерзшую речку, где мы играли в «ковиньки» и гоняли по звонко поющему под нашими ногами тонкому и прозрачному льду «свинку» — от кона до кона... Лед волнисто гнулся под нашими ногами, а мы мчались над холодной смертью со сладко замирающим от ужаса и веселья сердцем. От беготни нам становилось жарко и хотелось пить. Мы палками пробивали во льду дырочки и припадали к ним, руками ритмично надавливали на лед, и вода из крохотной «проруби» толчками била нам в рот. Мы пили ее — сладкую и холодную. А потом снова серыми воробышками разлетались по звонкому льду...

Ах, этот соломенный запах дыма из труб, такой родной и незабываемый, и пышные снега с петлями заячьих ног и птичьих лапок, и задубевшие от зимнего ветра лица мальчишек, и стихи Кольцова:

Ну, тащися, сивка,  
Пашней десятинной,  
Выбелим железо  
О сырую землю...

И Никитина:

Вырыта заступом яма глубокая,  
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,  
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,  
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая.  
Долго она, моя бедная, шла  
И, как степной огонек, замерла.

Особенно мне нравился конец:

Тише... О жизни покончен вопрос.  
Больше не нужно ни песен, ни слез...



Кольцов, особенно Никитин...

Я его очень любил, и теперь всем сердцем люблю. Я и Кольцова любил, но у него больше радости, а у Никитина — грусти, и потому он мне роднее и ближе. О эти тетрадки с лучшими стихами русских поэтов на обложках, бедные синенькие тетрадки «для народа»...

И церкви с серебряным гулом колоколов, и золотые ризы священников, и голоса, ангельские голоса под голубым сводом, с распростертым на нем богом Саваофом... И все это тоже, как и синенькие тетрадки «для народа»... Золотая отдушина горю народному, единственный выход для его мятежной, скорбящей души, а иного выхода и не было. И у нас тоже — из страшной и беспросветной бедности.

Родилась сестричка Оля. Ее крестной матерью была помещица. Такая красивая, полная, румяная и темно-окая. Я бывал у них в имении. Ходил по просторным комнатам, смотрел на красивые столики с разными безделушками и разбросанным на них серебром, и мне становилось больно-пребольно...

Ведь у нас этого не было и у бедных крестьян тоже не было.

Иногда к матери помещицы наведывался сын из столицы.

Офицер, красавец. В него влюблялись прекрасные женщины, почти все дочери соседок помещиц. Но он не обращал на них никакого внимания, а любил дочь бедного крестьянина из Сметановки, так любил ее, что плакал от любви.

Был он стройный, благородный и культурный, а девушка, которую он любил, — грубая и некрасивая, почти уродина.

В лунные ночи я прибегал на огород к возлюбленной сына помещицы. Залитый серебром полной луны, чернел тонкий и красивый силуэт офицера. Бархатно стонал его благородный голос:

— Горлица моя сизокрылая... Ласточка моя ненаглядная...

А ему в ответ басыла его «Дульцинея»:

— Пошел прочь от меня! Отцепись... Я люблю платки и деньги, которые ты мне даришь. А тебя не люблю, не люблю и любить не буду. У меня есть хлопец. Он тебе печенки отобьет. Пошел прочь от меня!..

— Ясочка моя золотая, хоть засмейся своим серебряным голоском...

А в ответ слышалось громоподобное ржание:

— Гы-гы, гы-гы-гы!..

— Боже мой, как я тебя люблю, ты мой бог, звездочка моя, небо мое...

— Ну хватит, хватит... Всю обслюнявил... Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты не приходил ко мне, когда от тебя воняет всякими одеколонами... Они противны мне, как и ты сам. Вот мой Василь, так он пахнет кизяком, молоком и медом. Пошел прочь от меня!..

Она со всего размаха толкала его в грудь своей богатырской рукой, толкала так, что он отлетал, как темная, печальная тень, в голубой глубокий снег. А сама с громовым смехом убегала в хату.

И я еще долго слышал под запорошенным снегом узким, темным окошком безутешный плач молодого красавца.

Ничего не помогло. Ни мольбы и слезы матери, ни ее угрозы, ни даже нападение «хлопца» с друзьями на офицера — ему тогда чуть не отбили печенки. Ничего не помогло!

Так и умер сын помещицы от любви, от неразделенной, проклятой любви.

А весной мы выехали из Сметановки.

Каждое лето мы жили в Третьей Роте, а зимой — в селах, где отец либо учительствовал, либо служил сельским писарем.

## VIII

Переездная... Село Переездная... Химовка. Это — хутор неподалеку от Звановки, где при тетке жила бабушка, а у тетки была казенная винная лавка. Тетка была «сиделкой». Она имела красивый дом под зеленой железной крышей, с комнатами на деревянных полах, старинными комодами, стульями, буфетами и коврами. Просторный двор, полный птицы, а в углу, у ворот, деревья, кролики, голуби.

А у нас не было никакого дома. Мы жили в полуразрушенной мазанке с тарантулами в покинутом саду помещика у таинственных пустынных и уродливых сараев.

Лето. Меня страшно мучит лихорадка. У меня высокая температура. Ни врача, ни фельдшера, ни мамы. Никого. Я один, мое тело какое-то странное, словно его много-много, и весь я большой-пребольшой, больше всего мира. Потом я потерял сознание, и будто какое-то желтое и звонкое море плещется вокруг меня. А вода горькая, плохая...

И еще эти тарантулы, мокрицы, чернохвостки, ползающие по мне, а я ужасно боюсь, что чернохвостка залезет мне в ухо.

Как я ни берегся, одна все-таки заползла в ухо и внесла в него нескончаемый грохот, да такой, что я чуть не сошел с ума от крика и ужаса. Ухо мне залили «оливой» (лампадным маслом), и чернохвостка сдохла. Еще долго гремели громы в моей голове, но это только казалось. Вместе с чернохвосткой сдохли и они.

Я очень любил лазать по деревьям — высоко-высоко. Мать внизу кричит, ругается, а мне смешно. Она думает, что я упаду, а я совсем так не думаю и залажу, куда захочу. Только мне не нравилось, что мальчишки такие жестокие. Заберутся на явор, вытащат из гнезд голых желторотых воробышков и всех убивают, да еще и смеются. А я плачу. Мальчишки большие и сильные, а я маленький и не могу защитить бедных птишек, потому и обливаюсь горькими слезами.

Еще мальчишки нехорошо ругались и курили, а их матери, когда я им говорил об этом, только смеялись.

Отец часто ходил со мной к бабушке и тете. Бабушка всегда что-нибудь давала отцу, чтоб тетка не видела, ну там денег или водки. Тетка же, когда мы уходили, всегда обыскивала отца и меня. Мне было тяжело и стыдно, не за себя, а за тетку. Ну разве ж я мог что-то украсть у нее?

Вот я стою перед ней в маминой теплой кофте, повязанной веревкой, в рваных башмаках, а на дворе трескучий мороз, такой мороз, что мне и выйти страшно. А тут так тепло, светло и уютно. А тетка шарит дрожащими от злости руками у меня в карманах...

## IX

Весна. Я бегаю по узким грязным улицам Третьей Роты. Шумят ручьи, звонкое синее небо над Донцом колыхается дрожащим маревом заводского дыма. Ветер отно-

сит его направо за Донец, за голубеющие леса, к русским селам, что стоят среди песков и сосен.

На Красной улице, центральной улице нашего заводского села, ко мне подбежали двое мальчишек, смуглые, курносые и веселые. Как и я, они были бедно одеты, но весенней радостью пылали их задорные черные глаза. Старший крикнул мне:

— Давай бегать!

— Давай!

И мы побежали.

Это были дети часового мастера Дмитра Гороха — Ларя и Федя. Они жили в бедной, неогороженной чужой хате. Мать стирала белье у Ванвинкенрова, или Жилы, как называли в народе бельгийца, владельца фабричной мастерской около завода. Отец Лари и Феди, как и мой, был алкоголиком, каждое лето он шел на рудник и бросал семью на произвол судьбы, а зимой возвращался в Третью Роту почти раздетый: на одной ноге — онуча, на другой — драная калоша. Его жена Наташа фактически содержала пьянчугу. Обмоет его, оденет, а летом он снова исчезает, чтобы зимой вернуться грязным, оборванным... У него тогда по воротнику целыми армиями лазают паразиты, а он не разрешает уничтожать их:

— Воша тоже хочет жить. Не тронь их!

Он страшно скандалил, когда напивался, выбрасывал иконы из хаты, топтал их ногами и гонялся с ножом за своими детьми.

Он выбегал босиком на снег и кричал мне:

— Володька, почему земля крутится? Я не хочу, чтоб она крутилась. Я ей запрещаю это!

Но земля не слушалась Гороха и не переставала крутиться. Горох хотел смастерить, как и муж сестры моего дедушки, гигант-столяр Холоденко, вечный двигатель; только Холоденко — деревянный, а Горох — железный «перпетуум мобиле».

У них ничего не получалось, но несчастные изобретатели упрямо продолжали свое безнадежное дело.

«Добрые люди» посоветовали маме и Горошихе напоить своих мужей водкой, настоящей на «божьих коровках», чтоб отучить их пить.

Мама с Горошихой так и сделали.

Отец едва не умер от нескончаемой рвоты, а Гороху — хоть бы что. Желудок у него был железный. За это он хорошенько отхлестал свою женушку. Горошиха была

молдаванкой, вернее — валашкой, и очень любила своего несчастного мужа. Она была настоящая труженица. День и ночь работала и содержала всю семью.

Удивительно жестоко относился Горох к своим сыновьям, а дочь Серафиму любил. Когда четвертый сын — маленький Василь — упал лицом на раскаленную плиту, отец даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти его. Сказал только:

— Пусть горит... Черт его не возьмет.

У Василя ужасно обгорел левый глаз.

Старший их сын Петро уже ходил на завод. Мне нравилось их трудолюбие, этих Горошенят, трудолюбие и бережливость. Нравилась их смелость, когда они дрались с мальчишками, особенно сила, храбрость и выдержка Феди. Он дрался молча, от ударов никогда не плакал и всегда выходил победителем. Противников пугало железное и грозное молчание Феди, подкрепленное, конечно, сильными толчками и стальной хваткой рук.

А Ларя рисовал, как и его отец. Он мечтал стать художником.

Мы часто купались в Донце, переплывали на ту сторону, в лес, и крали у лесника Паримона арбузы и дыни на бахче, рвали дикие груши и кислицы, собирали дрова, а больше крали их; разбирали плетни у Паримона, ходили на озеро ловить рыбу и выкорчевывали пеньки для костра, рвали ежевику и собирали грибы.

На свалке за магазином «Общество потребителей» при содовом заводе мы часто шарили в поисках разноцветных бумажек, ягодок и конфет, ярких лоскутков...

Как-то мы рылись на этой проклятой свалке, и я, не заметив, наступил босой ногой на половинку разбитой бутылки: острые концы ее врезались мне в пятку. Я дико орал и никак не мог остановить кровь. Тогда Ларя Горох оторвал от своих штанов карман и перевязал мне ногу. Потом я лежал дома.

...Вот мы катаемся на дрезине, на которой рабочие возят шпалы для ремонта колеи возле завода. Я схватился за железные ручки спереди дрезины и бегу по шпалам — спиной к станции. Когда дрезина разгоняется, я вскакиваю на нее и мы смеясь тарахтим по рельсам, а потом все начинается сначала. Но как-то раз я не успел вскочить на бешено мчащуюся дрезину. Ноги мои попали между шпал, и дрезина ударила меня выше колен. Однако я не выпустил железных ручек, хотя тело

мое оказалось под дрезиной, между рельсами. Горошенята никак не могут остановить дрезину, она мчится, а я кричу, волочась под ней, но железных ручек не выпускаю из окаменевших рук.

Наконец дрезина остановилась. Меня вытащили из-под нее, я пытался встать, но не сумел. Страшный удар, наверное, парализовал мои ноги, и коленные чашечки свернулись на сторону. Мимо проезжал крестьянин с арбой сена, меня подняли и уложили на это сено, привезли домой. Я два месяца не мог ходить. А потом все прошло, только коленные чашечки у меня и поныне острые.

Мы собирали на шахтах уголь и железо, медь и жест, чугуны, но больше — крали на заводе и продавали металлолом нашему родичу Удовенко, который жил на глухой улице, над Донцом, и прозывался по-уличному — Железняк.

Он платил нам за фунт меди 8 копеек, за фунт железа — копейку, за фунт чугуна — полкопейки и копейку за три фунта жести. Как-то мама взяла меня за руку и повела в заводскую бондарную мастерскую, где я стал работать учеником. Пантелей Плыгунов, цеховой бригадир, платил мне ежедневно 5 копеек, а я за это собирал гвоздики по цеху. Потом квалификация моя повысилась: я стал «заовтаривать» бочки для бикартоната, то есть вбивать гвозди в маленькие обручи над дном и сверху бочки с внутренней стороны обода и вбивать кольца в днища этих бочек.

Еще в Седьмой Роте, где отец был сельским писарем, я, когда пас с сельскими мальчишками и девочками телят и коров, кроме игры «в кремешки», научился играть пальцами на губах. Делается это так: большим пальцем правой руки, повернутым и загнутым книзу, упираешься в подбородок, под нижней губой, но не сильно, и вытягиваешь сомкнутыми остальные пальцы, потом, охватив большой палец левой руки правой рукой, начинаешь быстро вертеть вверх и вниз ладонь правой руки. Когда крутишь ладонь и при этом мычишь, то мычание превращается в непрерывное «би-би-би», или «ми-ми-ми», или же «ма-ма-ма» — словом, как захочешь.

Я знал много мотивов вальсов, маршей, песен, и Пантелей Плыгунов заставлял меня играть для рабочих на губах.

Я садился, заложив ногу за ногу, на бочонок и почти

целый день играл рабочим на губах, а им от этого лучше работалось.

Иногда я получал гривенник «на конфеты».

Мне очень нравилось работать в бондарне, а играть марши надоело, от них у меня болели губы и немели руки.

Все рабочие были весельчаки и много пели.

Ходят вокруг бочек на верстаках, забивают в обручи гвоздики и все поют, смеются и поют:

Он по горнице похаживает,  
Балалаечку налаживает...

А румяный и красивый Панько Плыгунов, наш цеховой бригадир, только похаживал своей легкой походочкой по цеху и приветливо и весело всем улыбался. Он был ласковым человеком, задушевным, искренним и поэтичным. Никогда ни на кого не кричал и не бил, и работа вокруг вся в песнях и солнечных лучах так и кипела.

Возможно, и бывали у него конфликты с рабочими, но я такого не помню. Мое детское воображение было наполнено песнями и радужными картинками труда... Всем сердцем отдавался я работе... Очень я полюбил ее и хотел быть как взрослые.

Но я был мал, а детский труд запрещался на заводе, и когда приходил инспектор по труду, Панько Плыгунов прятал меня в большую бочку, а когда инспектор покидал цех, я вылезал и с радостью погружался в звонкий и светлый мир труда.

Но недолго продолжалось мое счастье... Пришлось мне оставить завод, потому что малолетним не полагалось работать в этом коптящем и громыхающем гиганте.

Часто мне снилась залитая радужным солнечным светом и песнями бондарка, и я плакал во сне от тоски, невозможности вернуться в этот чудесный и манящий мир.

А зимой мы выехали в село Переездная, где отец стал учителем. Я уже красиво писал, на пятерки и без ошибок, решал задачки на все четыре действия, умножал трехзначные и даже четырехзначные числа.

Х

Зима. Яркая, пушистая, лунная зима в селе.

Я выбежал за ворота, и ко мне подошли две хорошенькие девочки. Одна в шубке с меховым воротничком,

смуглая, черноглазая и ласковая. Луна над нами серебряно смеется, а мы смотрим друг на друга, эта смуглая девочка и я; мне сладостно и [приятно] смотреть на нее. Сердце мое трепетно, певуче сжимается, и я веселой серебристой птахой лечу в черные, полные звезд озера ее глаз...

У меня не было пуговиц на пальто, и девочка вытащила булавку из своей шубки и заколола мне пальто, чтобы я не простудился. Когда она касалась меня, я весь замирал от сладостного и жуткого восторга. Мне хотелось, чтобы она никогда не убирала от меня своих рук... И еще у меня не было носового платка, и она подарила мне свой, такой душистый и чистенький.

Потом мы втроем играли в фанты — завязывали рожки на платке. Только когда я целовал эту девочку, то никак не мог попасть в губы, а все тыкался носом в ее душистый и ласковый воротник. Потом эта девочка начала у нас учиться. Ее привела к нам мама, полная, статная, смуглая и красивая. Она была слепая, но по ее глазам этого никак не было заметно. Она смотрела на нас своими темными безднами и словно видела все вокруг. Но она не видела ничего. В глазах у нее была «темная вода».

Я очень любил ее дочку. Но мне не нравилось, что она представляет напоказ нашу любовь.

Из-за этого она мне опротивела.

Вообще все девчонки тогда мне были противны. Я даже удивлялся, как я смог влюбиться в эту смуглянку. Но странное дело, девчонки хоть и были мне противны, однако в каждом селе я влюблялся в какую-нибудь из них, и они в меня...

Однажды мы колядовали: ходили со звездой и пели в хатах, а за это нам давали конфеты или деньги. Мы вошли в одну хату, очень бедную хату. Нам открыла дверь девочка с таким красивым лицом, что у меня застыла душа от внезапного счастья. Я молниеносно в нее влюбился.

Больше я этой девочки не видел никогда, потому что мы снова уехали в Третью Роту.

Все любви мои в разных селах никогда не заканчивались и не росли вместе со мной, потому что мы переезжали из села в село.

Вот Звановка.

Я в церкви и влюблен в дочку дьякона.



Она поет в церковном хоре и, когда проходит мимо меня, словно бледный и скромный ангел, опускает ресницы и вся краснеет. И мне так жутко от этой тайны...

## XI

Вот Седьмая Рота. И опять любовь, и опять дочка дьякона. Только та, первая, была худенькая, стройная, а эта — румяная толстушка, как просвирка, залитая вечерней зарей, с темными, как и первая, глазками.

Разумеется, моя любовь к этим дьяконовым дочкам ограничивалась вздохами и грезами, чистыми, детскими.

Ах, Седьмая Рота!..

Она, как и Третья, на берегу Донца, на его правом и крутом берегу.

Шумящий лес пьяно качается по ту сторону серебряной дороги в Дон. И запруда, а на ней дядьки в широкополых соломенных брылях «водят» в глубокой воде щук.

Удочка туго согнулась, и леска вот-вот оборвется от метаний хищника, проглотившего вместе с наживой смертельно острый крючок. Как борется за жизнь щука! Туманной молнией пронзает она глубину и бросается, как обезумевшая, то влево, то вправо, то вверх, то вниз... А дядька, такой себе длинноусый Сковорода, прищулив хитрый карий глаз, спокойненько то отпустит леску, давая щуке обманчивую свободу, чтоб она еще больше утомилась, то вновь подтянет, пока эта обессиленная гроза плотвички и себелеков не сдастся на волю победителя в белой полотняной сорочке с неизменной люлькой в зубах.

Дядьки мои, дядьки!

Как я вас любил и люблю!

Может, потому, что и родственники у меня такие же, как вы, селяне, которые спокойно живут и работают и спокойно умирают, если нужно, на поле боя, под рев пушек, или в бедной хате на земляном полу под плач и причитания близких.

Я пошел по воду к колодцу на перекрестке двух улиц. Но у меня не было веревки. Подошли две хорошенькие девочки с синими ведрами, посмотрели на меня, с

улыбкой переглянулись. Одна сказала другой: «Давай наберем ему воды». Они вытащили воду и перелили в мое ведро, потом вытащили себе... А я, растерянный и благодарный, стоял и как зачарованный смотрел им вслед, на их загорелые и стройные ножки, которые не шли, а плыли над землей, наполненной веселым зеленым звоном лета.

С мальчиком нашего соседа мы пошли на Донец. После купания он повел меня в вишневые сады над Донцом. Мы вошли в радужное марево солнца, пчел и цветов, и мальчик весело и громко запел, размахивая руками, всем существом своим показывая нескончаемую радость жизни.

Я ему сказал: «Не пой так громко, а то нас услышат и побьют!» Но он стал петь еще громче.

А потом обернулся ко мне и сказал гордо и независимо: «А что? Разве я на своей земле не могу петь?!» И весело притопнул ногой по земле, зазвучавшей как голубой аккорд счастья...

Отец и здесь был писарем.

Как-то раз на подворье правления привезли связанного и избитого конокрада. Он лежал на дрогах, а дядька тяжело бил его, почти бесчувственного. И никто не запрещал этого. Напротив, даже сочувственно поглядывали на него. Вы знаете, чего стоит в селе конь и как по-черному бьют за украденного коня, так бьют, что конокрад после этого долго и не протянет. Но так, как бьют конокрадов немцы-колонисты, никто из украинцев еще не додумался.

У нас их бьют дугами, оглоблями, а больше кулаками да каблуками, а немцы бьют «культурно», чтобы следов не оставалось.

Они укладывают конокрада боком на землю, а к спине и животу по длине всего тела привязывают две доски, потом ставят конокрада на ноги и с отмашкой бьют тяжелой дубиной по доске спереди или сзади. Конокрад с досками тяжело падает на землю. Потом вора, у которого уже отбиты печенки, снова поднимают и снова бьют. Ну ясно, что после этого человеку запокот «Вечную память» травы и птицы или же хмуρο летящий снежок в глухих степях Украины.

Я очень любил книжки.

Герои Жюль Верна из «Воздушного корабля» ярко жили в моем детском воображении с именами, запо-

мнившимися мне тогда почему-то как «дядя Фрюдан» (а не «Фрюден») и «Филь Эвенс».

Особенно меня увлекала книга «Ветхий завет», написанная как роман, о скитаниях еврейского народа в горячих пустынях юга, когда они искали землю Ханаанскую (в те годы их искания и битвы с ордами филистимлян я мог сравнить с «Железным потоком» Серафимовича... Только там еще величественнее). Я восхищался героизмом Гедсона, братьев Маккавеев, Самсона, а особенно Иисуса Навина, который своим приказом «Стой, солнце!» остановил день, чтобы евреи смогли завершить разгром врага.

Я любил всё героическое и красивое.

Мне попала в руки неказистая с виду и не очень большая по объему книжечка — «В тумане тысячелетий» (забыл автора), и она так увлекла меня, когда я читал ее в траве на нашем дворе, что все происходившее в книге оживало и обретало в моем воображении силу и остроту реальности, и я погружался в эту реальность всем своим маленьким существом, окружающее не существовало для меня.

Я не слышал, как мать звала меня на обед. Буря восторга подхватывала меня на свои огненные крылья и увлекала туда, где:

Белеет парус одинокий...

где:

Рыщут по морю викинги...

где:

Звенел мой меч в тот день ненастный  
среди Британии полей.  
Рассек я шлем вождя по плечи,  
скатилась прядь его кудрей.

И герой романа... Почему-то имя его запомнилось мне как «Святослав», но это, как потом я прочитал через много-много лет в продолжении этого романа — «Гроза Византии», был Всеслав, автор же — Красновский. И этот неручь, страшный и могущественный, и старый кудесник, и любовь Всеслава к Любуше, и его враг Вадим, и друг, северный витязь, которого Всеслав зарубил... Все это так властно и пронзительно захватило меня, что и теперь, седым юношей, я могу в деталях пере-

сказать роман «В тумане тысячелетий», так пленивший мое детское воображение и, безусловно, в тысячу раз лучший, чем роман «Гроза Византии», который понравился мне только благодаря своему интригующему названию. Такое название больше подошло бы другому моему любимому герою, Святославу.

В густых травах нашего двора я так зачитался «Ветхим заветом», что забыл об окружающем меня мире — бродил по желтой бесконечной пустыне под горячим, беспощадным солнцем с героическим еврейским племенем и восторженно смотрел на Гедсона, который умел отличать храбрецов от трусов по тому, как они пили воду — прямо из речки или из пригоршни.

А юноша Давид с его пращой, которой он поразил великана Голиафа, а потом отрубил ему голову его же мечом...

Ну и, конечно, мой любимый Самсон, ослиной челюстью перебивший пятнадцать тысяч филистимлян. Как ненавидел я эту сучку Далилу, которая отрезала Самсону длинные волосы, заключавшие в себе всю его силу.

Печально радовался тому, как отплатил Самсон врагам, когда отросли его волосы. Жаль, что и сам он погиб на горе трупов под обломками колонн и кровли храма, разрушенного богатырскими руками.

А чудо с иерихонскими трубами, от одного рева которых рассыпались в прах стены вражеской крепости и евреи взяли город голыми руками...

Мать зовет меня обедать, а я не слышу, потонув в воображаемом мире золотой легенды человечества.

И вот мой отец заболел воспалением желудка. Долго и тяжело боролся он со смертью, а мать сидела возле него на полу и рушником или его шляпой, как веером, навевала ему свежего воздуха, потому что отцу нечем было дышать.

Мать покупала отцу церковного вина. Это вино я тайком попробовал, и оно показалось мне таким чудесным, никогда в жизни я такого вина больше не пил. Только когда причащался. Но поп давал его в золотой ложечке так мало, что я лишь разочарованно облизывался. Доктор сказал, чтобы отец бросил пить водку, а если не бросит, умрет.

Отец выздоровел.  
Но водку пить не бросил.  
Если бы он знал!

Я дружил с соседскими мальчиками, старший брат которых был кузнецом. Я часто ходил к нему в кузницу и любил слушать, как он весело и виртуозно вызванивал по наковальне молотом, либо помогал его родителям на току.

Я соревновался с моими маленькими друзьями, кто быстрее работает.

Большими корзинами переносили полову. Я нес почти бегом, а взрослые, чтобы я работал еще лучше, нахваливали меня:

— Вот молодец!

— Вот молодец!

А я стараюсь, а я стараюсь...

Была эпидемия скарлатины.

В школе нам сделали прививку от нее.

Мы, мальчишки, хвастали перед девочками, что нам не больно, когда игла шприца тонко и остро входила под кожу на спине, а девочки, когда их кололи, морщились и плакали.

Мы же ходили героями.

У моего друга заболел скарлатиной младший братик. Была зима, и по скованной морозом земле его, больного, смертельно бледного, повели в церковь, что находилась недалеко от их хаты.

А потом его под руки вели по большим каменным плитам от церкви обратно. Он шел, весь прозрачный и словно нездешний, и покачивался, задыхаясь от недостатка воздуха... Так и стоит перед моими глазами его бледное, покорное и обреченное личико...

Потом его хоронили.

И еще.

У одной женщины умерли двое близнецов-малюток.

В хату, где они лежали на столе, молча и торжественно входили люди... Печальное покашливание и траурный шепот стояли в комнате...

Я подошел к маленьким покойникам. Они лежали как глиняные куклы, восковые и тихие.

Я дотронулся до ручки одного из них.

Рука была холодная как лед...

Седьмая Рота!

Я не забуду тебя, колыбель радости и горя в мои далекие и неповторимые дни.

## XII

Мы снова в Третьей Роте. Жили мы у Ивана — портного с деревянной ногой.

Он был красивый и нравился девчатам. А когда ему на руднике в пьяной драке отсекали жестяным чайником кончик носа, он перестал нравиться девчатам. Особенно одной, с которой — до эстетической катастрофы с ним — у него был роман. Со своими младшими братьями он был очень строг и чуть что кричал:

— А где мой ремень? — и тянулся за своим сапожным ремнем, которого страшно боялся его младший брат Макар.

Второй его брат женился на курносенькой и веснушчатой девушке, которая стала ему веселой женошкой, и они очень хорошо жили и все целовались у нового домика, который построили себе, как голуби теплое гнездышко.

Мы тогда были уже очень бедные. Отец продал надел земли, которым владел, кулаку Андрону за 250 рублей, хотя надел — пять десятин — стоил 1100 рублей. Андрон расплачивался с нами золотыми пятерками, расплачивался долго. Но хотя мы и были бедные, я все же иногда покупал фисташки, которые очень любил.

Когда курносенькая птичка, жена Иванова брата, увидела, что я ем фисташки, она при женщинах, пренебрежительно выпятив губки, сказала: «Голытьба, да еще и с перцем!»

Потом мы перешли жить к валашке, вдове Кравцовой.

Я очень подружился с ее сыном Миной и его сестрой, чернобровой и веселой щебетухой Степанидой. Они учили меня своему языку. Я спрашивал, как что называется, они отвечали, а я записывал в тетрадку...

Мы живем у рыбака и сапожника Заливацкого. За черными воротами, направо, в доме живет хозяин со своими помощниками-башмачниками, а налево — в бедной мазанке — мы.

Мне очень нравился старший подмастерье, юноша

высокий, сильный и красивый. Я же был маленьким и завидовал ему. Я мечтал быть таким же, как он, красивым и отчаянным. Я представлял, с какой силой он ударил бы меня всем телом о землю...

И странная штука: словно я напроорочил себе. Как-то я обидел его каким-то неосторожным словом.

Было это во дворе. Отца и матери дома не было. Они куда-то ушли.

Марко схватил меня, поднял и изо всех сил шмякнул о землю всем моим маленьким и замерше-перепуганным тельцем. Все во мне загремело и опало. Я потом едва поднялся... Но никому не сказал об этом.

Я любил смотреть, как Марко с напарником сучат дратву, как молниеносно забивают в тугую темно-желтую подошву деревянные гвоздики, как из разрозненных вещей в их волшебных руках рождается единое и гармоничное целое.

Однажды они шили женские туфельки и заспорили, кто кого обгонит, у кого лучше получатся туфли. Я напряженно следил за их соперничеством. Все горело у них в руках... И когда они одновременно окончили свою удивительную работу, туфельки оказались одинаковыми.

Край села, где мы жили, назывался Валахи. Половина нашего села были валахи. Они очень похожи на украинцев. Та же любовь ко всему красивому, к чистоте, к цветам и к людям. Только они дружнее украинцев. Любовь к людям, гостеприимность и красочность их жизни удивительным образом сочетались в них с дикой, я бы сказал, доисторической жестокостью, особенно у детворы.

Они были храбрые, но только тогда, когда их много, а украинцев мало.

### ХІІІ

Я стою без штанов, в одной сорочке, по колено в зеленой воде Донца, неподалеку от запруды, а наискосок дымит содовый завод, наполненный железным грохотом, и растрепанный дым космато плывет над моей головой высоко-высоко, там, где белые тучки улыбаются солнцу и ветрам.

В нескольких шагах от меня удит рыбу мой товарищ, а я стою у него за спиной и наблюдаю. Когда он забрасы-

вает удочку, а делает он это часто, потому что вода быстрая, крючок с леской пролетают рядом или у меня над головой, и я думаю: «Наверное, он меня зацепит». Так и случилось.

Но зацепил меня он не как-нибудь, а за грешное тело, и так дернул, что крючок застрял по самую головку.

С ревом шел я без штанишек с товарищем, а он — ему было жаль рвать леску — так и вел меня по селу с удочкой, как свою добычу, за терпение подаренную ему Донцом.

Уже знакомый нам вечно молодой и румяный фельдшер Трофим Иванович, увидев нас на пороге приемной, с улыбкой сказал моему невольному палачу: «Что? Бубыря поймал?!»

И стал орудовать надо мной какой-то блестящей металлической ложечкой. Я ужасно кричал, а Трофим Иванович по-отцовски меня успокаивал: «Ничего, сынок! Ничего!..» И наконец, с кровью вытащив проклятый крючок, он победоносно, с доброй усмешкой показал его мне.

Товарищ мой, как очень бережливый и скупой человек, попросил крючок, побывавший во мне, у Трофима Ивановича, и тот отдал его: «Только не лови больше таких бубырей».

Так я побывал в роли худшей, чем дед Шукарь у Шолохова.

#### XIV

Когда мы жили в Воронеже (улица Дворянская... памятники Никитину и Петру Первому, мягкий предвесенний снег... кулачные бои), там я вместо «Дай кавуна!» научился говорить «Дай арбуза», вместо «Так шо» — «Дык што», а когда приехали в село, мальчишки смеялись над моим русским произношением, как в Воронеже смеялись над украинским.

Мать заморочила голову дедушке и бабушке своими коммерческими фантазиями. Ей почему-то казалось, что в Третьей Роте будет огромный спрос на разноцветные китайские веера из бумаги.

Дедушка продал все что мог, накопил несколько сундуков этих несчастных вееров, и мы переехали из Воронежа в Третью Роту.



Разумеется, дедушка «прогорел».

Никто вееров у нас не покупал, и мы бедствовали.

За то, что мы в среду и пятницу иногда ели скоромное, валахские дети, бегая мимо наших окон, кричали:

— Жиды-молоко!

— Жиды-молоко!

А я им кричал:

— А валахи-дуки поели гадюки.

Мы им говорим: «Дайте нам!»

А они отвечают: «Мало и нам!»

Бабуся, дочь Розы, ставшей потом Надеждой, была очень впечатлительной. Она уже однажды немного помешалась, когда узнала, что мой отец — алкоголик и матери с ним живет тяжело. А теперь увидела это собственными глазами. Она не выдержала, и ее разбил паралич. А ведь ей было только пятьдесят лет. Ее мать, уже Надежда, умерла в Харькове.

Бедная моя бабуся!

Как я каюсь, что изводил ее своими настырными просьбами: «Расскажи сказку!»

Она, утомленная дневными заботами, тихая и покорная, лежит на полу. Ей хочется спать, она зевает и крестит рот, а я все донимаю ее своим: «Бабушка, расскажи сказку!»

И она никогда не отказывала мне.

Ее любимый сын Костя целовался со своей девушкой на завалинке под окном, за которым лежала на столе пожелтевшая и уже навеки спокойная бабуся.

А потом на лице бабуся появились зеленые пятна, и в комнате сладко и душно запахло мертвым телом, уже начавшим разлагаться.

Приехал дядя Леня, все такой же курносый, но весь осиянный двумя длинными рядами огромных серебряных пуговиц на черной шинели.

Он работал кондуктором на железной дороге.

А дядя Ваня (Ванюша, который читал мне сказку про Ивана-богатых — что за грозовые образы пролетали в моей голове!) безутешно плакал, весь опухший от слез. Он больше всех любил бабуся, хотя она больше всех любила Костю.

Похоронили бабушку на нашем тихом старом кладбище под вишняком, плакавшим над ней багряными слезами, там, где перед ней навеки заснул мой дедушка Сосюр, где уснули тем же сном, сном вечности, и мой отец, и бра-

тик Коля, и бабушка, родная и милая моя бабушка Вера Ивановна, бывшая мне духовной матерью.

Но об этом дальше.

Дядя Ваня, на три года старше меня, был храбрым и очень сильным. Позже, когда он стал уже юношей и работал слесарем в харьковском паровозном депо — Балашевский вокзал, — то крестился двухпудовыми ги-рями. Однажды, когда мы шли от валахского колодца с водой (Ваня нес воду, а я шел «за компанию», как гово-рится: «Кобыла по делу, а жеребенок — без дела»), к нам подошла ватага валахских парней и стала задира-ть Ваню:

— Да-ши? Да-ши?

А Ваня им:

— А що? А що?..

Они все подбадривали себя криками, а Ваня все мол-чал и только грозно глядел на них.

Тогда они выпустили на Ваню самого храброго и сильного из них.

Перед Ваней встал маленький «ухарь-купец» в плисо-вой курточке и таких же штанцах, в блестящих чебот-ках.

Руки в боки, он стоял перед Ваней как золотистый, задиристый петушок, готовый к бою.

Ваня поставил на землю тяжелые ведра и отцепил от них коромысло.

Я увидел только, как поднялась пыль, а что там дела-лось в этой пыли, не разглядеть. Вихрь какой-то, полный топота, ударов, хеканья.

Потом пыль развеялась, и я увидел... одного Ваню с коромыслом.

Валашат как не бывало.

Лишь откуда-то слышался плаксивый крик: «Еу ши щый цой да...», «Еу ой спуны луй нене!..»

А Ваня снова нацепил ведра на коромысло, и мы пошли домой. Ваня, гордый своей победой, а я — Ваней, настоящим, моим, а не сказочным, Иваном-богатырем.

## XV

Мы переехали жить в село Черногоровку, расположен-ное километрах в восьми от Звановки, где жила бабушка.

Однажды она поссорилась со своей дочкой и решила

пешком пойти к сыну (моему отцу), чтобы жить у него. Но она знала дорогу только до Родионовки, которая находилась между Звановкой и Черногоровкой.

Бабушка помолилась своему любимому святому (кажется, это был Микола-угодник), чтоб он помог ей встретить такого человека, который знал бы дорогу к моему отцу и проводил ее к нему.

Бабуся была религиозной фанатичкой.

И вот какая-то могучая и властная сила потянула меня в поле.

Я бегу по черной и духовитой пашне (попробуй только по ней побегать, дядьки тут же тебе поломают ребра).

Бегу и бегу все по прямой линии, напрямик к Родионовке, а теплый апрельский ветер раздувает и полощет мою красную рубаху без пояса.

Добегаю до плотины через Бахмутку и вижу: из Родионовки идет моя бабушка.

Я взял ее за руку и привел к отцу.

Я очень любил своего братика Олега и часто брал его к себе на плечи и ходил с ним гулять в поле за село.

Но ходил не по пашне.

И вот Олежек заболел оспой.

Перед этим ему сделали прививку, но слишком поздно, и Олежка заболел.

Он лежал весь в язвочках, опухший и терпеливый. Оспинок он не раздирал ногтями, хотя очень мучился, все у него чесалось.

Однажды он попросил у меня напиться воды. На табуретке стоял почти полный стакан. Я дал его братику.

Он выпил, не отрывая губ от стакана, и весь скривился:

— Кисло!

В стакане был уксус.

Я решил, что отравил братика, и сердце мое похолодело от ужаса.

Но все обошлось.

Мне уже двенадцать лет.

Село было дикое и страшное.

Один бедняк украл у женщины кофту и полбутылки водки, их откопали в земле, куда тот зарыл краденое.

Как страшно его били! Лопатой. Ее округлым и широким острием ему рассекли голову, и он лежал весь

окровавленный и сплющенный... Его пинали ногами, били тяжелыми сапогами по бокам и по лицу, а он только тяжело стонал и охал... А потом затих.

Я, чтобы помочь отцу, носил из правления сельскую переписку в село за горой. Идти было далеко, а особенно по тому селу, бесконечно длинному.

В поле меня часто настигала гроза. Я очень боялся молнии, которая убивала людей, и в панике метался по дороге, когда гром багряно рвал надо мной грозные тучи...

Потом гроза проходила, и солнце наполняло мою душу.

Мы, мелкота, за гривенник в день обкапывали деревья у помещика в саду и оббирали гусениц с деревьев, обрезали сухие веточки ножницами на длинной палке.

Помещик, низенький, остроносый и надменный, иногда снисходил с высот своего величия и разговаривал с нами. Он спрашивал меня об отце.

Я сказал ему, что мой отец может быть не только писарем, что он работал и строителем, и маркшейдером, что он знает наизусть все законы, под каким они номером и от какого числа. А помещик, раскачиваясь передо мной на носках своих лаковых ботинок, сквозь зубы процедил:

— Видно сову по полету, какова она.

Я молчал.

Что я мог сказать этому пустоголовому выродку, если он мне не верил.

И вот началась холера.

В селе запахло дезинфекцией, везде были разляпаны белые пятна извести.

Кулаки повели агитацию, что врачи и все, кто им помогает, травят народ.

Особенно один куркуль зверски ненавидел моего отца, натравливал на него темных людей за то, что отец очень активно боролся с холерой и разъяснял людям, что следует делать, чтобы не заболеть этой страшной болезнью.

Дочь у этого куркуля была очень вредная, она дразнилась, показывала мне язык, и за это я бросил в нее кремешком, которыми мы играли на завалинке.

Она расплакалась и помчалась жаловаться отцу.

И вот этот разъяренный бородатый бугай выскакивает и гонится за мной.

Я бегу быстро, хочется еще быстрее, но не могу, от страха у меня немеют ноги. А за мной тяжело ухают куркульские сапожищи, и земля качается подо мной.

Но он меня не догнал...

Как-то он показывал своих лошадей управляющему экономией (Камянский оросительный участок). Тот в белом костюме и такой же шляпе приехал на фаэтоне с женой.

Грузно вылез из него и, заложив руки за спину, толстый и молчаливый, смотрел, как этот куркуль перед ним и перед беднотой, которая тоже потянулась на зрелище, хвастается своими черными, как вороны, скакунами с тугой, блестящей шкурой.

Смотрел управляющий, смотрели люди, но смотрели они по-разному.

В глазах управляющего — барская снисходительность, а у людей — печаль и гнев...

Однажды я отправился на подворье к соседу. Его сын, уже парубок, хорошо относился ко мне, и я по-детски к нему тянулся.

Я стоял во дворе, а он неподалеку от меня раскручивал над головой палку. Палка вырвалась из его рук. Я инстинктивно наклонил голову, и страшная смерть просвистела надо мной...

Девочка Оксана, дочь соседа напротив, очаровала мою юную душу своим задумчивым лицом и черными бровями. Я любил ее.

Конечно, моя любовь была чистой и наивной, как утренняя роса на травах, как голос соловья в кустах, когда веет сладкий предрассветный ветер.

Потом, когда я уже учился в сельскохозяйственной школе при Камянском оросительном участке, я часто встречал ее во время дежурства на ферме, она там работала, и тогда меня по-прежнему чаровала ее гордая красота.

Но я ей ничего так и не сказал.

## XVI

У своих родственников, Сидора Сосюры и его жены, тети Гали, я целое лето работал на току. За это в конце лета я получил пуд муки.

Муку я продал на базаре за 75 копеек и на эти деньги

купил билет на право обучения в нашей «двухклассной министерской школе», в которой надо было учиться пять лет.

Но меня приняли не на первое, а на третье отделение, потому что отец подготовил меня к нему еще тогда, когда учительствовал в селах Донбасса. Я стал учеником.

И это для меня было такое счастье, такое счастье!

Когда нам задавали уроки, например, по истории «от сих — до сих», то меня не устраивало читать «до сих», и я читал дальше. Мне было интересно, что дальше... Вообще в детстве я много читал.

Я уже полюбил бронзовые образы «Илиады» и «Одиссеи», плакал над «Кубком» Шиллера, был увлечен Зейдлицем и Уландом в переводах Жуковского и Лермонтова, ну и, конечно, заливал слезами страницы «Кобзаря» Шевченко.

Сказки Пушкина меня пленяли, как и «Демон» Лермонтова, и это одновременно с «Сыщиком» и «Пещерой Лейхтвейса» и «Индийскими вождями»...

Однако мешанины от всего, что я запоем глотал в то время, у меня в голове не было.

Словно какая-то волшебная рука старательно и нежно раскладывала в моей душе все по полочкам, и душа моя все росла и росла, и крылья ее постепенно обрастали орлиными перьями — крылья знания и фантазии.

У нас в школе раз в неделю был общий урок пения, которое нам преподавал (теорию и практику) заведующий школой Василий Мефодиевич Крючко. На этом уроке всегда присутствовали ученики 3-го, 4-го и 5-го отделений.

Мы часто пели патриотические песни и чаще всего:

Гей, славяне! Еще наша  
речь свободно льется,  
пока наше верное сердце  
для народа бьется!

Там, в этой песне, есть слова:

Пока люди все на свете  
превратятся в гномов!

Василий Мефодиевич спросил, обращаясь к ученикам всех трех отделений (я тогда был на третьем):  
— Кто мне скажет, что такое гномы?  
Все молчали.

Тогда я поднял руку.

— Ну, Сосюра!

— Карлики.

А уже на четвертом отделении, когда Василий Мефодиевич доказал у доски второй случай равенства треугольников и задавал уроки на следующий день, он вдруг спросил:

— А кто сейчас мне докажет эту теорему?

Все молчали.

Тогда я поднял руку.

— Ну, Сосюра!

Я вышел из-за парты и, слово в слово повторяя Василия Мефодиевича, доказал теорему.

Он говорил обо мне ученикам: «Сосюра блестяще владеет литературным русским языком, но он любит иногда задавать такие идиотские вопросы, что у меня просто уши вянут».

А я действительно иногда задавал ему вопросы, только у Василия Мефодиевича уши вяли не от стыда за меня, а за себя. Потому что он не мог ответить на мои вопросы, как когда-то моя мама, когда я пятилетним мальчиком спрашивал у нее: «Почему Бог создал человека таким непрочным?»

Вани уже не было. И я один носил воду в дом.

Но у нас не было веревки.

Мне стыдно просить веревку у людей, и вот я стою зимой на наледи от разлитой воды, в маминой теплой кацавейке и больших отцовских сапогах, и молча мерзну.

И тут подходит полная и румяная, тепло одетая богатая селянка. Она смотрит на меня и, сочувственно качая головой, тащит воду, приговаривая:

— Бедное дитя! Как замерз-то! Уж и ручки и губенки посинели!

Вытащила воду и пошла.

А вот подходит бедная женщина.

Она молча вытаскивает воду, сперва наливает мне, а потом уже себе и уходит, святая и вся сияющая в моем детском воображении, женщина-труженица с большой буквы.

И таких миллионы.

Потом уже, на фронтах гражданской войны, мы идем.

после тифа, в обозе, худые, изможденные, пожелтевшие и голодные.

Идем через село.

А у ворот стоят толстые кулачихи и, скрестив руки на своих высоких, полных сала и молока грудях, сочувственно покачивают своими поросячьими головами.

Дадут ли хлеба?

— Белье давай!

А где его возьмешь, белье, когда мы его давно променяли на хлеб. А бедная женщина молча выносит нам из последних припасов буханку хлеба, а то и накормит кислым молоком с мамалыгой.

Святые и прекрасные женщины нашего народа!

Они молча делали свое святое дело.

А куркулихи — не женщины нашего народа, это уродины без души, не имеющие никакого права называться людьми.

Мне нравится Василь Константинов, который потом, в войну, был добровольцем «батальонов смерти». Красивый, чернобровый и храбрый, он был очень сильным и горячим.

Не нравилось мне только, что он такой жестокий.

Я видел, как Василь с валахскими хлопцами (сам он тоже валах) убивали на глинище возле Донца собаку.

Делали они это радостно и самозабвенно, а Василь даже рычал от наслаждения, когда в залитый кровью глаз собаки вбивал палкой острую кость...

Жил в селе еще один Василь Константинов. У него был могучий бас. Изю всей мочи он колотил себя кирпичиной в грудь, гудевшую как орган, и его дикий рев долетал, наверное, от нашей хаты до завода. Он потом стал красногвардейцем и вел себя геройски.

Мы часто купались в Донце, вели, можно сказать, водяной образ жизни.

Особенно мы любили купаться в горячей воде; вытекающая из заводских труб под землей, она вливалась в речушку Белую, которая впадает в Донец.

Нам нравилось из горячей воды (вода Белой на подходе к Донцу становилась совсем горячей) заплывать в холодные зеленые и быстрые воды Донца. Все тело покалывало множеством иголок от внезапного перехода от горячего к холоду.

Донец... Река моего милого детства. Ты всегда во



мне, в золотых моих воспоминаниях о тебе, о том сладостном и горьком, что снилось и отснилось моим карим и грустным очам, душе моей тревожной...

## XVII

Мы шли от Донца в гору.

Юзефович, мой школьный товарищ, шел последним за мной с выломанной из изгороди палкой, имевшей на конце твердый, как железо, сучок.

Неслышно приблизившись ко мне, он что было силы огрел меня этим сучком по левой половине головы, за ухом.

Голова моя слегка закружилась, и я упал, нет, не упал, а сама земля подлетала ко мне, и почему-то справа, как стена... И я лег на нее, как на теплую, уютную и мягкую подушку.

Пролежал я, должно быть, недолго, но не видел, как удирал «бочонок».

— Что ж вы стоите? — крикнул я хлопцам. Однако все растерянно молчали, а Нестор, тоже мой школьный товарищ, только пожал плечами.

Потом, когда в школе я узнал, как человек ощущает, стоит ли он, сидит или лежит, я понял, что удар Юзефовича на мгновение подействовал на жидкость в полукружных каналах среднего уха. Черепная кость за ухом не треснула, а лишь чуть вогнулась, сдавив слуховой нерв.

Я оглох на левое ухо, и с тех пор у меня в левой части головы постоянный шум, как отголоски звона, то усиливающиеся, то слабеющие.

«Бочонка» я позже поймал на том же Донце и тяжелыми комьями ссохшейся земли загнал в капустник.

Удары глухо лупили по нему, а он, как хищный кот, оскалив острые зубы, прыгал по влажной земле и никак не мог прорваться ко мне сквозь гневный град комьев величиной с детскую голову.

## XVIII

Мы шли через овражек, что у кладбища, мимо которого нам надо было пройти.

Было еще темно, и снег под нашими маленькими ногами скрипел так остро и холодно...

Вдруг нам навстречу метнулись две большие черные тени.

— Давай деньги!

Мы плачем, не даем, а они повыше нас раза в полтора, сжимают нас своими тяжелыми железными ручищами

Тот, что обыскивал меня, сказал:

— Я все не отберу.

Но он отобрал все мои жалкие медяки, и я никогда не забуду хищной куркульской руки в правом кармане моих штанишек, руки с растопыренными пальцами, которая потом зло и победно сжалась в кулак с моим гонораром за колядки.

Ясное дело, что это были куркульские мордатые выродки, дети бедняков на такое дело никогда бы не пошли...

Наша сучка родила много щенят и издохла. Щеночки были слепенькие и беспомощно возились возле мертвой матери, а потом стали сдыхать друг за дружкой.

Мне было тяжело смотреть на их муки, и я взял всех троих (остальные поумирали) в корзинку и понес на кручу над Донцом, чтобы оттуда (круча была очень высокая) побросать их вниз, они долетят до земли и враз разобьются.

Глупый, я забыл, что внизу навозная куча.

Была ночь, беспросветно темная ночь, когда я, маленький и одинокий, взобрался под донецким ветром на кручу.

Я поставил возле себя корзинку, со слезами вытаскивал из нее тепленького щенка, который тоже плакал и тыкался мокрым и холодным носиком в мои руки.

И в черной ветреной тьме я, с разрывающимся от жалости сердцем, поднял щенка высоко над головой, потом размахнулся и швырнул его вниз...

В глухой тьме мягко и страшно что-то шмякнулось о землю и закричало...

Я думал, что он умрет сразу, а он кричал...

Оставшихся щенят я не бросил вниз, схватил корзинку и побежал с кручи на крики моего маленького братишки...

Осенняя ярмарка на выгоне за селом, море цветов и красок, выкриков, и все это многоцветье кружит concentrically расходящимися волнами.

Пахнет борщом и колбасой — тут же, под полотняными навесами, едят озабоченные люди.

Среди лошадей, которых расхваливают белозубые цыгане, важно, с видом знатоков прохаживаются, пощелкивая кнутами с мощными кнутовищами, дядьки. И тут же, в этой красочной и многоголосой толпе, играют в рулетку, даже не замечая в своем зверином азарте эпилептика, лежащего под столом. Щеки его округло и туго надуваются, он тяжело и страшно дышит, а «ближние» грызутся над ним, как волки, за несчастные копейки, забыв, что у них под ногами стонет и мучается в припадке человек. Мы, мальчишки, часто крутили балки карусели, чтобы кружились седоки на деревянном коне. А за это нас по разу в день задаром катали на карусели под мотив песенки:

Где-то ласточки песня слышна,  
ветерочек траву чуть колышет...

А из балаганов выбегают «на раут» бродячие артисты, созывая публику.

Хозяин зверинца на глазах у всех засовывает в рот скользкую и холодную голову удава, который пестрой лианой обвивается вокруг его шеи, пояса и волной сбегает вниз.

Я купил за пятак билет и вошел в зверинец. Мне было 12—13 лет, но я, не глядя на надписи, узнавал всех диких пленников, моих давних знакомых по Майн Риду и Густаву Эмару.

Особенно мне понравились обезьяны и их дети, которые, не обращая внимания на публику, меланхолически занимались пристойными и малопристойными делами.

Был поздний вечер, когда я, покинув зверинец, возвращался в свою родную хату, которую до сих пор часто вижу во сне, хотя мне уже почти шестьдесят два года.

Я научился ходить на руках, как ярмарочные гимнасты.

Сначала это у меня долго не получалось, и я часто расцарапывал до крови о землю скулы и щеки.

Но я упрямо продолжал свое и все же научился. Тогда в селе не было инструкторов физкультуры. Я же не знал меры и поднимал тяжеленные камни на вытянутой руке, а главное, когда ходил на руках, то неправильно дышал, вернее, совсем задерживал дыхание. А потом, поскольку у меня не хватало терпения ждать, пока кровь отхлынет от головы, я подпрыгивал и всем вытянутым телом бился подошвами о землю, от чего все во мне сотрясалось, как от удара грома... И так не раз и не два...

И вот однажды, когда я читал дедушке «Всадника без головы» (сам я был без головы с этими моими прыжками и хождением на руках), в сердце у меня что-то надорвалось, словно лопнула туго натянутая струна... Я захлебнулся... и продолжал читать дальше. А через несколько дней, придя как-то из школы, я потянулся к книжной полке, прибитой к стене у меня над головой, и почувствовал, страшно так почувствовал, что все у меня в груди поползло вниз... И весь я, как связка туго натянутых струн, стал напрягаться все сильнее, сильнее и, не выдержав этой муки, с плачем выбежал на улицу и, поднимая руки к звездному небу, случайно коснулся сердца... Оно билось быстро, быстро.

Я пошел к Трофиму Ивановичу, нашему нестарющему многоопытному фельдшеру, который мог дать сто очков вперед любому доктору с дипломом, хотя диплома не имел.

Он послушал мое сердце и сказал:

— Что же ты так поздно пришел? У тебя больное сердце...

## XX

На горе заводской поселок, а под горой содовый завод и наше село. Узкая и мутная речка Белая отделяет нас от завода. Она течет в Донец, который серебряным поясом протянулся мимо дымной рощи заводских труб и задумчивых крестьянских хаток. А за заводом станция. Железная дорога лежит под горой, золотой подковой пересекает село и исчезает за синими ветряками. А по ней все вызванивают и покачиваются красные змейки поездов, и видно, как под колесами, на стыках, ритмично прогибаются рельсы и шпалы.

Мы цепляемся на ходу, и за нами гоняются кондукторы.

Сколько мальчишек оставили на кровавых и дымных рельсах нашей железной дороги свои головы и ноги.

Но это не останавливало остальных. И считалось героизмом спрыгнуть с поезда, мчащегося с горы к заводу, или лечь между рельсами, а над тобой, громяхая, проносится поезд, смертельно звякая цепями... Его уж нет, где-то далеко стучат колеса, а ты все еще не поднимаешь головы... Все кажется, что поезд пролетает над тобой, и полна грома твоя душа...

А попробуйте-ка пройти по одному рельсу от будки до будки или прыгнуть с высокой вербы в Донец, удариться головой о затопленную лодку и остаться в живых...

Вечно гудит завод, кричат паровозы, шумит за Донцом лес, и летят в дымной синеве вагончики за Донец, к далеким шахтам.

А ночью, если взойдешь на гору, далеко внизу увидишь, словно яркий бриллиант, наполненный гулом и электричеством, завод и смутные каганцы села. Это наше село Третья Рота. Как я люблю тебя, мое бедное село-замарашка, с узенькими окошками и глиняными полами в хатах, с рушниками и красивыми девочками!.. Твои песни, и гармоника, и парубков... Такие села есть только у тебя, моя могучая Украина, цвет мой дивный и нежный! Мои глаза пленены тобой... Твой синий ветер и золотые вечерние вербы, твои лунные ночи, звенящие соловьями, поцелуями, с длинными тенями то-полей...

Третья Рота...

Поют телефонные провода в полях, и по столбовой дороге пролетают авто, а в них сидят люди, в шубах и синих окулярах. Оборванные и замызганные, мы выбегаем смотреть на них, и летят вслед им наши крики и собаки... Автомобиль хрипло и страшно кричит, и от его крика испуганные кони несут селян в бедных свитках, с суровыми и загорелыми лицами под золотистыми брылями...

Это — мои дядьки, это — моя Украина...

Какое счастье, что я — украинец, что я сын моей прекрасной и трагической нации!

В конце Красной улицы, возле хаты валаха Ариффея и пивной Гавриленко, односельчане построили бабке Цыбульчихе маленькую, неогороженную мазанку.

Цыбульчиха, будто истаявшая свечка, вечно лежала на печи, и оттуда выглядывало ее сморщенное, как земля и воск, лицо. Люди приносили ей краюшки хлеба и воду. Однажды хлеб остался несъеденным и вода невыпитой. На печи лежало маленькое и высохшее тело с запавшими глазами и заостренным смертью носом.

Чужие люди обмыли и похоронили одинокую и не защищенную любовью, как и ее хатка тыном, бабуся.

Мы стали жить в этой хатенке. Нас было десять душ: отец, мать и восьмеро детей — три мальчика и пять девочек.

Когда-то мы жили хорошо, но отец очень любил водку, и мы стали жить плохо. Мать вечно бегала за ним, чтобы он не пропил деньги, и мы росли как трава в грязи под солнцем — вечно голодные и немытые.

Оборвыши, мы вповалку спали на своей одежде, во сне мочились на нее и жили как мартышки...

Ночью являлся вечно пьяный отец, и хату заливал водочный перегар, и плач, и ругань матери... А отец, одурманенный алкоголем, не замечал ничего и на упреки голодной матери отвечал:

— Бог даст день, бог даст пищу.

У него было узкое татарское лицо, выпуклые карие глаза, орлиный нос с чуткими и тонкими ноздрями, длинные казацкие усы и безвольный нежный подбородок, бороды не было, а под нижней яркой и полной губой рос кустик волос — буланжа. Пальцы у него были желтые от махорки, задумчивые глаза всегда смотрели вниз.

Он ходил немного согорбившись, в сапогах и рубахе, подпоясанной веревкой, любил петь грустные украинские песни и писал стихи. Говорил он по-русски. Это был феномен и жертва того времени. Пяти лет он стал школьником и на коленях у учителя решал задачи. Потом, в штейгерской школе, он, первоклассник, готовил к выпуску своих товарищей, третьеклассников. Тогда он был стройным юношей с вдохновенными светлыми глазами.

Как тяжело вспоминать эти дни, когда за окнами сто-

нет вьюга, гудят авто и в дыму городских папирос, сквозь слезы воспоминаний, маячит смуглое личико задумчивого мальчугана на деревянных коньках, привязанных веревками...

Мне уже тридцать лет, у меня два сына, и один удивительно похож на меня. Я смотрю на него, на его ручки и капризные губы... и возникает необоримое желание еще раз прожить, хотя бы в воспоминаниях, свою жизнь над золотым Донцом, в тихом шуме верб и осок, в янтарном цвете акаций и церковном звоне, теперь чудом, а когда-то таком мистическом и родном...

О моя Третья Рота... Твой ветер тепло и ласково бьется в мое лицо, я плачу от любви и музыки, от того, что не вернулся к твоим покосившимся плетням, далеким яблоням, к моей молодости.

Моя смуглая и темноглазая мать варит борщ и проклиная свою долю. Мы, замурзанные и оборванные, бегаем вокруг нее, нам хочется есть, мы с утра ничего не ели, и, чтобы не так хотелось есть, мы долго спим... Но это не помогает, и мы терзаем мать своими голодными криками. А она, вся издерганная, в грязной юбке, бьет нас, худеньких своих палачей, и вытирает краем кофты злые слезы.

Мы рано обучились всем премудростям. Пьяные сцены, с плачем и бранью, сделали нас нервными и обидчивыми, старичками с не по годам разумными и печальными глазами.

Кругом жили счастливые люди. Соседские дети были хорошо одеты, покупали на ярмарке кукол, конфеты, они весело смотрели на мир. А мы были вечно в грязи и холоде, мы были похожи на бледные побеги картофеля, проросшего в темных и холодных погребках.

А рядом, в пивной, под ногами пьяных рабочих гудел пол и отчаянный голос выводил:

Получил получку я,  
веселись, душа моя.  
Веселись, душа и тело,  
вся получка пролетела.

Пиво и слезы лились рекой, и золотой рекой плыли в бесконечность смутные огни над селом и над заводским

дымом. И сквозь дым они казались глазами печальных матерей, которые оплакивают нелегкую судьбу своих детей.

По утрам властно кричал заводской гудок, ему хрипло отвечали гудки на шахтах, и серой чередой тянулись рабочие с узелками по вечной своей дороге. А мы, детвора, зимой играли смерзшимся кизяком, разбивали носы, весной пускали в мутных ручьях кораблики из щепок, летом целые дни проводили на Донце, а осенью рвали багряный, сладкий боярышник в балках над «чугункой».

Иногда под окнами шумела свадьба, и разлеталась холодная осенняя грязь под ногами женщин, которые лихо отплясывали, держа в одной руке разукрашенную курицу. Впереди всегда шел гармонист, кудрявый и пьяный, за ним шли «бояре», перевязанные рушниками, и молодые. Бежала детвора и в пыли ссорилась из-за конфет, которые щедро разбрасывали родственники молодых.

А иногда проплывали похоронные процессии с попом в золотых ризах, рыдал хор, и голосили идущие за гробом. А с ними всегда шел Лукьян-дурачок, который не пропускал ни одних похорон. Услышав звон колоколов по покойнику, он бросал работу и бежал со всех ног проводить в царство тишины еще одного гостя. Почему-то ему нравилось собирать крестики, он выпрашивал их у детворы, а то и просто срывал с шеи вместе со шнурком. И ко всем приставал со своим вечным и нудным:

— Дай крестик.

Маленький и плотный, с жилистыми босыми ногами и замутненными безумием глазами, он тихо и покорно брел за траурным шествием.

А по ночам на кладбище можно было услышать рыдания другого дурачка, высокого Анания. Каждую ночь он ходил на могилу своей матери, и по глухим улицам далеко разносилось скорбное и монотонное:

— Ой, мама, мама...

Худой и тонкий, он ходил по селу и бормотал что-то про смерть и пожары. Его мутные глаза всегда смотрели чуть вверх и острая рыжая борода понуро дергалась под его невразумительное бормотание.

Ларька и Федька Горошенята ходили со мной на



свалку заводского магазина. Целыми днями мы копались в мусоре в поисках сладких ягод и разноцветных бумажек. Нам лишь снилась прекрасная жизнь других детей, которым не надо было мечтать о мясе и хорошей одежде. У них и игрушки, и теплые комнаты, они каждое утро пьют молоко со сладкими булочками, а мы, как щенки, роемся в отбросах и чужих объедках.

Я очень полюбил книги. Они заменяли мне тот мир, в котором отказывала мне судьба. Я плавал с капитаном Немо на подводной лодке, был узником на воздушном корабле сумасшедшего ученого, гнался за преступниками с Натом Пинкертоном, оказывался под землей и в звездных мирах, преследовал индейцев на дальнем Западе, в тропических лесах качался на лианах над мутными водами рек, полными аллигаторов и диковинных зверей. У нас не было книжек, и я просил их у знакомых, а то и вовсе у чужих людей. Встречая их на улице, я спрашивал:

— Дядя! У вас нет сыщиков?

Одни смеялись надо мной и прогоняли, другие же проявляли внимание ко мне, и я часами простаивал на жестоком морозе, у их ворот (войти в дом стыдился), пока они выйдут, чтобы поменять книжку.

Но вреднищие братики и сестренки пачкали и рвали книжки, их нельзя было возвращать в таком виде, и за это меня часто били. Били меня на каждой улице, так что мне и некуда было пойти. Помню, была холера и я вполне серьезно размышлял:

— Хотя бы поскорее все поумирали. Тогда бы меня никто не бил.

А однажды парень, которому я не вернул книжки, поймал меня с мальчишками на Донце. Удрать я не мог и покорно стоял перед мордастым великаном с кулачищами с мою голову величиной.

— Ну, чертов щенок, держись! Я тебе покажу, как не возвращать чужие книжки.

И он взмахнул надо мной своим страшным волосатым кулаком.

Но я отскочил в сторону и стал с жаром объяснять ему, что я не виноват, что у меня такие вредные братья и сестры, которые рвут чужие книжки. А я очень люблю их, они для меня самое дорогое в жизни, и меня не надо бить.

Мне было двенадцать лет, но я так вдохновенно и

убедительно говорил, пересыпая речь иностранными словами, я говорил так пылко, что парень только удивленно разводил руками:

— Вот это голова... Ну и голова...

А я, смуглый воробышек, стоял перед ним и ждал приговора.

Тут же был и другой парень, который молча слушал нас. И когда я умолк, он, побледнев от гнева, подошел к моему палачу, взял его за грудки так, что тот потемнел от прихлынувшей крови, и шмякнул его об изгородь:

— Долго будешь мучить этого пацана?

Хлопцы разняли их. И тот парень больше меня не трогал. Он даже пригласил меня к себе и еще дал книжек.

Летом я убежал в поле и там, в аромате шумящих трав, забывал над книжкой обо всем, околдованный неведомыми мирами и приключениями.

О моей любви к книгам узнал заведующий заводской библиотекой Сергей Лукич Зубов и стал бесплатно давать мне читать книжки. Книги заменили мне товарищей и материнскую ласку, еду, они обогатили новыми красками мою душу, и она расцвела, ярко и любовно освещенная свободной мыслью. Они дали мне крылья, дали будущее, они открыли мне огненные пространства, полные золота и крови... Красота и сила открыли мне свои объятия, свое лицо. И после того, как я увидел живые картины в кино, где под волшебную музыку проплывало перед глазами то, что можно вызвать лишь силой воображения, когда читаешь книгу, я так намозолил глаза хозяйке иллюзиона, что она разрешила мне бесплатно смотреть картины. Конечно, моими любимцами стали Нильсен и Максимов. А Макс Линдер доводил меня до колик в животе.

Но вот навалилась тоска. Благодаря кино я еще сильнее почувствовал разницу между своей и той роскошной жизнью, которой живут другие, избранные счастливицы, каким мне не быть никогда, к чему мне никогда не долететь, хоть и есть у меня крылья, но это крылья фантазии, на которых в реальной жизни не взлетишь даже на крышу нашей мазанки.

И когда бархатные аккорды незнакомой музыки заливают темный зал иллюзиона, я плачу едкими слезами обиды так, что мокрыми становятся мой подбородок

родок и мои детские губы. Как птица с перебитыми крыльями бессильно бьется в луже собственной крови и никогда не взлетит в синие прекрасные дали, так и я, маленькая и жалкая песчинка в безжалостном и алчном мире, сидел в темном зале и плакал над своей потерянной радостью.

На шумных ярмарках мы с Федькой Горохом воровали краюхи хлеба и яблоки. Там, где кричали: «И так — питаю, и на выбор — питаю», я склонялся над рядном и делал вид, что выбираю товар, а сам между расставленных ног торговца (когда он отворачивался) подавал Федьке, стоявшему позади меня, украденную игрушку и потихоньку отходил.

Но потом я перестал красть, потому что не видел в этом никакого удовольствия, кроме перспективы ходить с отбитыми печенками.

Однажды ребята поймали суку, которая водила свору псов по огородам, привязали ее к тыну и стали убивать. Били они ее тоненькими прутьями, мучили. И я, весь в слезах, — не знаю, откуда у меня взялись силы, — разогнал мальчишек, отвязал бедную собачку и отпустил ее на волю.

Я любил ходить на свалку над Донцом, куда приходили умирать лошади. Они редко и хрипло вздыхали, судорожно дергали ногами, у них дрожала облезшая, мокрая шкура, и они долго, тоскливо вытягивали шеи к синим и холодным просторам, к осенним звездам.

А потом с них сдирали шкуру, и собаки с воронами делали свое дело на их дымящихся от крови телах.

## XXII

Учитель Василий Мефодьевич Крючко, с добрым, ласковым лицом и задушевым голосом, был необыкновенным учителем. Он жил своей работой, любил нас как своих детей, а мы платили ему невероятным шумом на переменах, поднимая такую пыльную, что лицо Василия Мефодьевича плавало в ней, словно оторванное от туловища, скорбно покашливающее и взирающее на нас подернутыми укоризной глазами. Он никогда не бил нас и только раз больно дернул меня за ухо, когда я

толкнул своего товарища на фанерную перегородку, отделяющую нас от учительской. Спокойно и терпеливо делал он свое скромное и великое дело. К каждому он подходил индивидуально и разными волшебными ключиками открывал наши души.

Я был первым учеником, хотя никогда и не учил уроков. Просто такая была у меня память.

В одном классе со мной училась девочка Лиза, она давала мне пирожков и долго смотрела на меня, будто что-то хотела сказать и никак не могла.

А я в темных углах плакал от муки, что не могу сказать ей, как я люблю ее, что лицо ее, в радуге золотых волос, с синими и печальными глазами, снится мне каждую ночь, что целыми днями я хожу как во сне, полный ею.

И в трепетном рассвете моей души звучало:

Милая, знаешь ли, вновь  
видел тебя я во сне.  
В сердце проснулась любовь,  
ты улыбалась мне.

Где-то, в далеких лугах,  
ветер вздохнул обо мне...  
Степь почивала в слезах,  
ты размышлялась во сне...

Ты улыбалась, любя,  
помня о нашей весне...  
Благословляя тебя,  
был я весь день как во сне.

*А. Белый*

Была весна, и мы с Лизой пошли за станцию готовиться к экзаменам. Разумеется, в учебники мы и не заглядывали, но я никак не мог сказать Лизе про свою любовь. Я лишь неуклюже шел за ней, глядя на нее как на святую, и молился на ее золотой затылок. От нее исходили такое счастье, такой аромат, что я захлебывался словами, когда говорил и чувствовал, как кровь заливает мое лицо, но не мог открыть ей свою тайну. Мы брели в свете и шуме дня, я следил за ее изящными движениями, когда она, томно обращая ко мне свое лицо, поправляла непокорные волосы, которые озорной ветерок разбрасывал по ее розовым вискам.

Когда мы возвращались в село, мальчишки кричали мне:

— Куда это ты ее водил?

Лиза отвечала:

— Не он, а я его водила.

И действительно, я спотыкался и шел за ней с блаженными, полными слез глазами, мне хотелось, чтобы не было больше ни села, ни этих противных мальчишек, чтобы я вечно шел за Лизой, смотрел на ее нежные движения и молился на ее золотой затылок. Моя любовь была как цветок в росе, пьяно покачивающийся в янтарном поле, обращенный с молитвой к далекой звезде и роняющий светлые слезы счастья.

Моя душа была похожа на амфору, и я шел осторожно, чтобы не расплескать своей радости.

Какое-то наслаждение было в моем молчании, ведь я знал, каким счастьем засияют синие и любимые глаза, если заговорю,— часто во время наших игр мы, словно нарочно, прижимались друг к другу и с расширенными глазами, бледные и счастливые, слушали тепло и трепет наших тел.

Только теперь я узнал от Лизиной подруги, что она меня любила.

За окном синяя вечерняя грусть, и заплаканное лицо моей молодости заглядывает в окно... Между нами только стекло... Вот я встану, возьму Лизину дрожащую руку и скажу ей про свою любовь, загляну в бледное восторженное лицо, и мои губы ощутят соленое тепло счастливых слез... Я глубоко вдохну дорогое дыхание... и стану пить с мокрых ресниц слезы — росу первой любви.

Но не стекло между мною и моей юностью, а долгие огненные годы, полные любви и смерти. Иногда обиды, унижения встают передо мной, и проклятое их марево закрывает от меня синие и далекие глаза моей первой любви.

Звонят часы, отбивают минуты, которые уже никогда не вернутся, черные стрелки не прокрутятся вспять через кровь и снега моего прошлого, чтобы приблизить ко мне расширенные любимые глаза.

За окном скрипят шаги прохожих, и плачет моя молодость...

Пушистая и серебряная зима в холоде багряных зорь и далекого солнца поскрипывала по улицам Третьей Роты, когда мы с отцом уезжали искать счастья на Полтавщину. Неподалеку от Черкасс, возле местечка Мошны, в сосновом бору жил наш родственник Николай Уваров. Он был лесным инженером, и отец хотел найти у него работу.

Возле Черкасс нас высадили из вагона, потому что мы ехали «зайцами». Была ночь. Уставший отец лег и уснул у станционного буфета, прямо на паркете. К нему подошел жандармский офицер и носком блестящего сапога пнул его в бок.

— Вставай!

Отец встал. Его лицо налилось кровью от неожиданного оскорбления.

— Вы должны вежливо сказать, что здесь спать нельзя. Как вы смеете бить человека в бок ногой? Неужто только для этого вы получили образование и считаетесь интеллигентным человеком?

Напрасно официант испуганно шептал ему на ухо: «Он тебя засадит в тюрьму», — отец не обращал на это внимания и так отчитал жандарма, что тот стал извиняться, купил нам билет до Черкасс и, прощаясь, горячо пожал отцу руку.

Из Черкасс мы шли шумящим бором тридцать верст к Уварову. А когда вошли в большой белый дом, Уваров, высокий, стройный и темноволосый, заорал на отца:

— Ты почему здесь?

— Я — муж Антонины Дмитриевны Локотеш.

Лицо Уварова сразу стало приветливым, и он протянул отцу руку.

Я попал в настоящий рай. Море книжек и конфет. Дети Уварова росли как цветы, беспечные и счастливые. У них был репетитор, роскошные комнаты и масса развлечений. Они играли на пианино, играли в шахматы и учили меня танцевать. Но я был неловкий и застенчивый. Я мог только читать и мечтать.

Мы ходили на охоту, катались на коньках, и мне казалось, что я вижу сладостный и дивный сон. Казалось, стоит лишь выглянуть из-под одеяла, и я услышу голодный плач братьев и брань матери, натягивающей на себя плохонькую одежонку, и в заснеженные

окна заглянет враждебное солнце, и голубые окна зальет гомон нового голодного дня.

Отцу наскучило жить в лесу, и снова знакомые трубы нашего завода задымили надо мной.

Снова потянулись кошмарные ночи, полные укоров матери, водочного перегара и голодных слез в душевной и тесной мазанке.

Я стал ходить на щебенку.

Еще не вставало солнце, и вместо гудков пели петухи, и холодная заря едва занималась над селом, а мать уже будила меня, и я шел туда, где в грохот «чугунки» и гул поездов вплетались удары сотен молотков, где нам выдавали на завтрак ржавую селедку и тяжелая тачка со щебенкой натирала мои руки до кровавых мозолей.

На щебенке работало много девушек, и часто после работы под холодными звездами в шуме трав и молодой крови они звали меня с собой ночевать в овин, полный золотой соломой и лунного света.

Мы возились до утра и наконец засыпали с бледными и утомленными лицами, оплетая друг друга ногами.

А потом снова грохотал камень, сновали в пыли наши призрачные тени, а мимо каменоломен пролетали поезда, и я мечтательно смотрел на девчат, которые с песнями проносились в шумных вагонах и кричали мне:

— Чернявый, поедem с нами!

Краснощекие и чернобровые, с икрами, словно налитыми солнцем, вишневогубые, они дымно улетали вдаль, и их грудные голоса напоминали мне о румяных степях, приветливом шуме лесов и любви под звездным бархатом неба. Часто я не выдерживал тяжелой и монотонной работы, бросал ее и шел к своим книгам и мечтам. А меня хлопцы провожали маршем, колотя молотками по ведрам.

Вечерами в заводском саду играл оркестр, и мы ходили туда на гулянье, глотали пыль и заигрывали с девушками на главной аллее.

Но мне не нравилось без толку бродить по пыльным аллеям и смотреть на одни и те же лица. Я шел на станцию, где шум верб над Донцом говорил мне больше, чем деланно веселые лица в саду.

За спиной гудел залитый электричеством завод, и огоньки звезд сливались с его огнями. А надо мной

мечтательно качались вербы, и луна набрасывала на их ветки серебряную паутину.

На середине Донца одиноко темнели лодки с влюбленными парочками, смутно долетал звон гитары и поцелуев. Или гармошка рыдала и жаловалась над спокойной излучиной реки.

По ту сторону шумел и качался лес, и далекие теплые зарницы полыхали над ним.

Все так ясно и радостно над рекой. Смотреть бы так без конца на изумруды далеких звезд в воде и на небе и ощущать себя счастливой частичкой любимого и яркого мира.

А потом я шел на печальный свет каганца в окне нашей мазанки и до утра сидел над книгой, где приключения и любовь в средневековых городах или в жарких пустынях Африки брали меня в свой сказочный плен, действительность причудливо переплеталась с мечтами,— и мне казалась сном моя настоящая жизнь, казалось, будто бы я нахожусь не в нашей мазанке, а в роскошном дворце властителей Индии или ишу в тайге сокровища неведомого народа.

## XXIV

Сашко Гавриленко торговал в пивной и часто на лавочке рассказывал мне про бахмутских проституток, вышибал и бандерш, про веселые гулянки, «котов», артисток и вино, что льется рекой под звон чарок в далеких золотых городах.

Я ему играл на гитаре и писал любовные письма к валашкам. Он не мог ходить, и у него были костыли. Вся сила у него из ног перешла в руки, и никому не удавалось вырваться из жутких клещей его пальцев.

В теплые янтарные вечера он плакал и пел об изменах и цыганках, о звездах над тихим Доном, о буйной казацкой воле и слезах дивчины, что «полюбила козаченька, при месяце стоя». И как-то не вязалось его сплевыванье сквозь зубы, разговоры о домах терпимости и вульгарные частушки с невыразимой грустью его склоненного лица и слезами, тоскливо скатывающимися по щекам и капавшими на грязный, залитый пивом пол.



После работы в пивной собирались хлопцы, и снова ухал пол под буйными молодыми ногами.

Потом хлопцы дрались из-за девчат, кольями из тынов и кизиловыми палками проламывали друг другу головы, ломали ребра и вспарывали животы ножами.

Животы зашивали, присыхали раны на головах, срастались ребра, и недавние враги как ни в чем не бывало снова пили бесконечные магарычи, целовались и пьяно клялись друг другу в вечной дружбе.

Был среди них Юхим Кричун, высокий, русоголовый и длиннорукий, с синими наивными глазами и детской улыбкой на полнокровных, словно нарисованных губах. В карьере на него наехала вагонетка и придавила так, что он попал в больницу, а оттуда вышел косоглазым, худым и сплюснутым, словно конверт.

Но вскоре он поправился и перестал косить глазами.

Однажды ему очень захотелось курить. А Гавриленко как раз бросил большой окуроч, его хотел подобрать Заяц, которому тоже захотелось подымить. Но не успел он подбежать, как окуроч очутился в длинной руке Юхима.

— Отдай.

— Отскожь.

И Юхим с наслаждением затянулся.

Разъяренный Заяц хотел вырвать окуроч из железных рук синеглазого великана, но ему это не удалось, и он стал бить Юхима. Но это все равно что бить в железную стену. Юхим даже не пошевелился. Он спокойно стоял себе и покуривал, пока Заяц не выдохся. Потом он выплюнул окуроч и раздавил его ногой.

— Ну а теперь покажу, как у нас бьют.

Гляжу, а его кулак уже гудит у нашей хаты. Он ударил бедного Зайца всего один раз, и тот очутился на земле с полным ртом крови и выбитых зубов.

Его отливали водой.

Но Кричун был ребенком по сравнению с Серегой Дюжкой, которого боялось все село.

Когда он дрался, то не вырывал кольев из тына, а ухватится за тын — и нет тына, ухватится за ворота — и нет ворот. А когда сбивал противника с ног, то брал его обеими руками за штаны и за пиджак и бил о землю.

Иду я как-то по «чугунке». Гляжу, а возле будки куча народу. Подхожу ближе, и — о ужас — наш непо-

бедимый Серега лежит весь мокрый и избитый. Он был пьяный, и какой-то мужик сбил его с ног кизиловой палкой.

У Сереги было два брата. Они работали на заводе, каждый — по сажени роста. Ночью они пришли к хате того мужика, который побил Серегу, и стали его вызывать.

Мужик этот был храбрый и находчивый. Он взял большую макитру и, держа ее перед собой, открыл дверь. От града камней макитра разлетелась на куски, в его руках осталось только донце...

Старый Гавриленко работал в карьере и был большой выпивоха. Он часто танцевал под аккомпанемент моей гитары до тех пор, пока мои пальцы не могли уже касаться струн, и всегда перетанцовывал меня.

Наш сосед, валах Арифей, повздорил с ним, но, будучи слабосильным, отомстил Гавриленко вот как.

Была поздняя осень, и во дворе стояли огромные лужи.

Гавриленко попросил у Арифей четвертак на водку, но тот пообещал поставить полбутылки, если Гавриленко искупается в луже.

И Гавриленко согласился.

Подожел к луже и погрузился в нее по пояс.

Арифей стоит на сухом, пританцовывает от радости и кричит:

— Ныряй с головой!

Гавриленко нырнул.

— Ныряй еще.

Трижды кричал Арифей, и трижды нырял в лужу старый Гавриленко. Так отомстил Арифей.

А Гавриленко выпил и на следующий день как ни в чем не бывало отправился в карьер рубить мел.

## XXV

Дядька Кирилл Науменко, муж тетки Гаши Холоденко, троюродной моей тетки, был спокойный и молчаливый труженик. Он много лет работал на заводе, но имел и клочок земли. Батраков у него не было. Вместо них, фактически как батраки, день и ночь работали его сыновья Ягор и Ульян.

Ульян вечно что-то мастерил на подворье или в

хате, и я никогда не видел, чтобы его руки не были заняты.

Такой же был и Ягор.

Он прекрасно, с мечтательно-соловьиным вдохновением пел: «По синим волнам океана» Зейдлица в гениальном переводе Лермонтова (или, кажется, Гёте в переводе неизвестного автора):

Оружьем на солнце сверкая,  
под звуки лихих трубачей,  
по улицам пыль поднимая,  
проходил полк гусар-усачей.

У него был полный сундук книжек, которые все перечитал.

Он был добрым и отзывчивым, не отказывал мне.

Особенно мне понравилась одна книжка про разбойников и их песня:

Я твой, когда заря востока  
моря златит.  
Я твой, когда сапфир потока  
луна сребрит.  
Я твой...

(тут я не помню)

когда пришлец блуждает  
в горах в седом тумане...

и конец:

И в хоре звезд рубиновых мелькает  
мне образ твой.

Как ни странно, но песня «Оружьем на солнце сверкая»:

А там, чуть подняв занавеску,  
чьих-то пара голубеньких глаз... —

которую пел Ягор, и конец песни разбойников оказались духовным толчком для исканий моего юношеского сердца, когда я в третий раз влюбился, уже не в серые и карие, а в голубые глаза и представлял их себе так же, как тот разбойник в горах, когда в море звезд за раздвинутыми моим воображением стенами казармы ее лицо, огромное, как небо, склонялось надо

мной и теплые, родные губы с ощущением физической реальности прижимались к моим горячим и жадным губам...

## XXVI

Шел июнь 1914 года...

У проходной конторки стояло множество людей, с тревогой вглядывающихся в крупные черные буквы воззвания.

Германия объявила нам войну.

Потом была общая мобилизация, закрыли казенки и по улицам ходили манифестации с портретами царя и оркестром, которым руководил австриец с белым печальным лицом.

Грустные сцены проводов на фронт, станция, заполненная рыданиями и песнями, последние звонки и не последние слезы...

Торжественно прохаживались полицейские, все в черном, с медалями на груди.

Еще маленьким я, глядя на них, всегда чувствовал себя в чем-то виноватым и боялся смотреть им в глаза.

Как-то ночью иду с завода и что-то насвистываю. Подходит полицейский и говорит:

— Не свисти.

— Что же тут такого, что я насвистываю?

— А может, ты кого-то вызываешь.

Я перестал свистеть.

Грузно ходили эти вороны с серебряными медалями по перрону, залитому слезами матерей, подкручивали свои длинные усы и, как коты, поглядывали на осиротевших солдаток.

А где-то шумели поезда, переполненные людьми в серых шинелях, оторванными от привычного труда, с холодными дулами пушек на площадках, мчались на далекие смертельные поля.

Я поступил в агрономическую школу, которая находилась возле станции Яма.

Зимой мы учились, а летом работали в поле и в эконмии.

Я был стипендиатом.

В дымке воспоминаний встает лицо Сергея Васильевича Смирнова, преподававшего у нас русский язык.

Сухой и сдержанный, он, бывало, приходил к нам, когда мы учили уроки, наблюдал и записывал. С ним же длинными зимними ночами мы пели песни, и русские, и наши.

Вот проплывают лица товарищей с глазами, затуманенными песней, а она льется в холодном классе, и нам тепло, тепло...

Україно моя мила,  
краю пам'ятливий.  
Там любив я дівчиноньку,  
там я був щасливий...

И мне кажется, что я уже много пережил и где-то на чужбине вспоминаю свой край, мою далекую Украину, печальные карие очи покинутой девушки, и я вяну от грусти с полными горячих слез глазами...

А то лечу я «Вниз по Волге-реке, с Нижня Новгорода» на «стружке, на снаряженном», где «сорок два молодца удалых сидят». Все веселые, с лихо заломленными шапками, в яркой одеже, в серебряном и золотом оружии. Только я один грущу... По ком?.. «Стружок» летит, и где-то на синих волнах могучей реки ждут нас смерть и слава, где-то кровавые и жадные губы персиянки прижимаются к моим, вернусь ли я к русым косам и синим очам единственной, что где-то там ждет своего «буйна молодца»?.. А песня летит, и колышется река, шумят дремучие леса, и кровавый месяц грустно плывет над ними...

Это — песня.

А товарищи...

Вот хулиганистый Алехин заливает чернилами тетрадку Кривсуна:

— Докажи, что это я залил твою тетрадь.

Мы все смеемся. А Кривсун, длинный и кучерявый, ту-по устался на Алехина и молчит.

Он был не только глупый, но и скупой. От отца, лесника, он привозил полный сундучок сала. Сундучок был объемистый и не влезал в общий шкаф с отделениями для каждого. И он замыкал его на большой замок. По углам, чтоб никто не видел, он уминал свое сало, а мы смотрели голодными волками на его сальные губы и сытые глаза.

Мы решили без спроса Кривсуна взять его сало. Но никак не могли открыть замок. Сундучок находился на третьем этаже, и мы в открытое окошко просто выбросили его на землю. Он разбился, и мы взяли сало.

Кривсун молча смотрел, как Алехин ест его сало. Алехин даже прямо говорил ему об этом:

— А докажи, что я ем твоё сало.

Где ты теперь, мой кучерявый дурачок? Поумнел ли ты или, может, твоё тело в длинной кавалерийской шинели навеки занесли снега нашей великой революции?

Вот Гнатко, с железными ручищами, иссиня-черными волосами и окаменевшими чертами лица. Он очень больно бьет меня, чтобы я не матерился, а ночью мы ходим с ним в кухню спать с девушками.

Вот беленький и нежный Вася Демский в убогом рыжем пиджачке расчесывает пальцами свои волосы. Говорят, его пылко любила дочка помещика, а он ее не любил и женился на простой дивчине с экономии.

Бурдун Даня, чернявый, похожий на индуса, он зажимает меня по углам и таинственно шепчет:

— Думаешь ли ты, Володя, о бедном народе? Как нам помочь бедному народу?..

И его темные, горячие глаза наполняются слезами от великой муки и любви. Его брат, революционер, сидел в тюрьме, и Даня горел его огнем.

В селе Звановке жила моя бабушка, и я у нее проводил каникулы. Она была религиозная фанатичка и имела на меня большое влияние.

Еще маленьким она водила меня в церковь. Над головами селян дрожало марево от их дыхания, пахло ладаном, холодом и свечками. Мне нравилось смотреть на стройные ноги ангелов, лики святых и синие горизонты за ними. Только мне неприятно было молиться богу и чувствовать себя его рабом. Он тяжело давил на мою душу и никогда полно и искренне не увлекал меня. Иногда ночью, когда все спали, на меня накатывало желание упасть на колени и долго молиться, но порыв исчезал, и я засыпал без молитвы.

В школе было много журналов, и меня увлекали

напечатанные в них патриотические стихотворения. Я тоже стал писать стихи.

Сергей Васильевич объяснил мне, что такое стопы и размер.

Первые стихи мои были о боге и Руси. Апухтин и Надсон являлись для меня недостижимым идеалом, и мои тетради были исписаны их стихами.

Начинал я писать по-русски.

Помню первые строчки:

Господь, услышь мои моления,  
раскаянье мое прими.  
Прости мои ты согрешенья,  
на путь святой благослови.

Милая родина, многострадальная,  
милая, светлая Русь.  
Я о спасенье твоём, лучезарная,  
жгуче и жарко молюсь.

Ребенок. Что я мог и что понимал в то безумное и страшное время?

В конце учебного года мать написала мне, что отец заболел и ей не на что жить.

Мне пришлось оставить школу.

Отец сухо и гулко кашлял, у него расширились вены, и он почти уже не вставал. Он прерывисто дышал, лежа на рядне, и удивлялся, почему к нему так липнут мухи. А они уже чуяли мертвечину и черно облепляли его.

Спокойно ждал он смерти. Только глаза его, большие и светлые, были полны муки и ужаса перед неизвестным. Он страшно исхудал и был не в состоянии откашливать мокроту, она душила его, и мать вынимала у него изо рта полные пригоршни вонючей, зеленой слизи.

Ему было всего лишь тридцать семь лет, а он был обречен на смерть.

Он давно уж не говел и говорил, что попы дураят народ. Еще он говорил, что если бы немцы нас побили, было бы лучше, они дали бы нам культуру.

А его ноги уже заливала лимфа, и одна совсем опухла и посинела. Перед смертью он попросил положить его на пол. Солнце садилось, и мы положили его у порога.

Он лежал на спине и страшно подрагивал острыми коленками.

Начиналась агония.

Приехала бабуся. Она плакала мелкими старческими слезами, воздевала кверху руки, и я слышал сквозь ее тонкий плач скорбное и монотонное:

— Ох, Коля, Коля.

Я побежал за врачом, а когда возвращался назад, встретил мать и по ее бледному, залитому слезами лицу понял, что отца больше нет.

Его любили люди, и за гробом шло все село.

Мокрой от слез землей засыпали моего отца.

Дожди смыли печальную надпись на белом кресте, а потом и он сгнил вместе с костями того, кто дал мне горячее сердце и мятежную душу.

Я стал носить рыжий пиджак отца и поступил на завод.

Часто мы ездили с помощником маркшейдера на шахты и в душных, мокрых штольнях делали съемки для чертежей.

Замурзанные шахтеры по колено в воде гоняли тяжелые вагончики и, матерясь, долбили уголь. Иногда под дикий свист коногона пролетала цепочка вагонеток, и мы прислонялись к подпоркам, чтоб вагонетки нас не раздавили.

Самая страшная смерть — в шахте. Я не мог себе представить, как это можно умереть вдали от солнца с горой земли на груди.

Мы ходили согнувшись, и с непривычки я ударялся головой об «матки».

А когда клеть, как безумная, выталкивала нас на поверхность, наступал вечер, и звезды, холодные и далекие, светились над землей.

## XXVII

Сапожника Кривовяза (он действительно был кривошей) провожали на фронт, и его брат пригласил меня на прощальный вечер, потому что у меня была гитара. Он сказал, что у них будет одесская артистка.

Когда я переступил порог хаты Кривовяза, то увидел девушку с красными розами на щеках, тонкими чертами лица и черными бровями, птицей влетевшими в мою душу, и мое семнадцатилетнее сердце сладко сжалось в холодный комок от одного счастья только смотреть на нее.

Меня закрутил сладостный вихрь первой любви.



Было очень весело и грустно.  
Поразила меня песня:

Козак відїжджає,  
Дівчино-о-нька плаче.  
Куди відїжджаєш,  
Мій милий козаче!

А он отвечает:

Я їду на той пир,  
де роблять на диво  
з крові супостата  
червоне пиво.

И мне казалось, что это не Кривовяз едет на фронт, а плачет по мне моя первая любовь (ее звали Докия, Дуся).

И с тех пор, как только зазвучит во мне этот мотив, особенно то место, где «Дівчино-о-нька плаче», сразу же вспыхивает свет того мгновенья, когда меня пронзил молнией холодок счастья первой настоящей любви.

Мы играли в фанты. Пришла и моя очередь исповедоваться.

Я сел, а напротив меня на стуле — Дуся.

Нас накрыли большим платком. И Дуся спросила меня своим задушевым, грудным голосом в той сладкой и таинственной полутьме, где так волшебным светилось ее навек дорогое лицо:

— Грешен?

— Да.

— Сколько раз согрешил?

— Десять раз.

По условиям игры мы должны были поцеловаться десять раз. Но мы потеряли счет поцелуям, целовались до тех пор, пока с нас не стащили платок нетерпеливо ожидающиеся своей очереди хлопцы.

Мы договорились встретиться на следующий день у нашей станции. Дуся жила в Лисичем, но на свидание она пришла с подругой.

Но это ничего.

Я был неизъяснимо счастлив только от того, что смотрел на нее и слышал ее голос. Весь мир светился и пел. Когда же мы простились и они с подругой ушли, весь мир сразу стал темным и пустым, словно на мои глаза опустилась черная завеса.

И потом часто, после работы, я ходил в Лисиче, чтобы только увидеть ее, только услышать, как она скажет своим бархатым любимым голосом, пленявшим мою душу: «Володя!..»

И этого мне было достаточно.

Однажды у ее дома, на Базарной улице, я сказал ей:

— Дуся! Я хочу тебе что-то сказать... Давай отойдем в сторонку.

Мы были не одни.

Она, словно зная, что я скажу, чуть поколебавшись, отошла со мной за угол дома, где было темно и не было людей.

И звездная зимняя ночь услышала мой хриплый от волнения голос:

— Дуся!.. Я люблю тебя...

— Ну?!

Я неловко взял ее за плечи, а она стала на цыпочки и припала горячим ртом к моим жадным губам...

Она целовала меня не так, как в игре в фанты, а враскорячку и так крепко, что даже стало больно зубам и голова закружилась от огромного, как мир, счастья.

Три года я любил ее, как никого и никогда не любил до нее.

И пришла ночь, которая стала золотым, полным радости и цветов днем.

Был апрель 1917 года.

Приближалась пасха, и Дуся назначила мне свидание у церкви, она выйдет с исповеди — и мы встретимся.

Я снова был учеником сельскохозяйственной школы и пришел в форменной шинели и фуражке, на которой были золотые грабли, коса и колосья.

Ночи еще стояли прохладные и сырые.

Мы пришли на Дусин огород. Я снял шинель и постелил на влажную черную землю, и мы с Дусей сели на нее.

Я обнял ее и прижал к своему сердцу, задыхаясь от любви, а она заплакала и стала просить меня, чтобы я не покидал ее, чтобы поклялся ей в верности, что я с радостью и сделал, поклялся ей, как Демон Тамаре.

Только почему, когда она плакала, ее ресницы под моими губами были сухими?..

Потом она спросила:

— Ты завтра придешь?

— Нет, у меня болит голова.

— Все вы такие!..

Ее девичий венок еще до меня был растоптан, хотя она уверяла меня до минуты слияния, что никогда и никого до меня не любила.

Так разбилась моя первая любовь.

Она, как подстреленная жестоким охотником чайка, волочила перебитое горячим свинцом окровавленное крыло по терниям и камням моей муки и никак не могла взлететь в небо...

В ночь, когда разбилась моя любовь нежной головкой об острые камни, Дуся показала мне дорогу к Донцу через яр, чтобы я не шел по улице, где меня могли встретить лисиченские хлопцы, верные давней шахтерской традиции.

Встретив чужака, к тому же не поставившего им магарыч, они берут его за руки и за ноги, поднимают над головой и со всего маху — местом, что пониже спины, — бьют, как трамбовкой, о железную донецкую землю.

Ну а после этого у человека все внутри отшибется или повисает как на волоске, и вскоре погребальный звон по нем холодно звучит в синих и безразличных небесах...

Идя от Дуси из Лисичего, где все пахло углем и юностью, я по дороге заходил в помещение нашей станции погреться после путешествия по холоду, потому что одет я был не очень-то тепло.

В толпе людей я часто видел смуглую девушку с широкими бедрами и полными стройными ногами.

Она украдкой смотрела на меня, но когда я заглядывался на нее, она тут же отворачивалась, делая вид, что не видит меня.

И вот пришло лето. Осокори и вербы над Донцом в зеленых своих платьях гляделись в зеленое зеркало вод и мечтали, как девушки, любуясь своей красотой в волшебном стекле, отражавшем их в зыблящейся глупине.

Каждый вечер мы ходили на станцию встречать пассажирский поезд, который подлетал к перрону с синими искрами, сыпавшимися из-под колес.

Ровно в семь он тяжело дышал, отдыхая от бешеного бега под уклон от полустанка Вовчегаровка до Переездной, как называлась наша станция.

Однажды в толпе я увидел Дусю, которая стояла спиной ко мне и сладостно-знакомым жестом поправляла тонкими пальчиками волосы у нежного, милого уш-

ка. Она обернулась, и на меня глянула сестра Дуси, очень на нее похожая.

Я так любил Дусю, что, когда видел ее, у меня враз, как у боягуза на фронте перед атакой, схватывало живот... И это после того, как мечта моя разбилась вдребезги и осколки остро впились в сердце, полное любви и сожаления...

Проводив поезд, мы, заводская и сельская молодежь, шли к скверу, расположенному между станцией и заводом, и под залиvistые звуки заводского оркестра гуляли по пыльным аллеям. Парни заигрывали с девушками, а детвора швыряла в третьеротских красавиц репейником, который цеплялся к их юбкам...

Мы ходили взад-вперед по главной алее двумя длинными рядами, и головы первого ряда были повернуты к головам второго ряда.

Мой товарищ сказал мне:

— С тобой хочет познакомиться одна загорянка.

Загорянами у нас называли всех, кто жил в заводском поселке на горе.

Я спросил:

— А она красивая?

Товарищ усмехнулся:

— Как на чей вкус. Да вот она идет!

Напротив нас шла та, что частенько украдкой поглядывала на меня на станции черными, полными любви глазами. Мы познакомились.

Ее звали Татьяна.

Рядом с большим сквером был сквер поменьше, куда почти никто не заглядывал.

Мы пошли с Таней в тот скверик. Сели на скамейку.

Долго молчали.

И вдруг Татьяна в томной истоме склонила свое лицо мне на грудь...

— Володя!.. Я люблю тебя!.. — прошептала она и почти без чувств застыла на моем плече...

Поздно ночью я провожал ее на гору мимо татарских казарм.

Приближалась гроза, и травы страстно и пьяно шумели на ветру...

Молнии пронзали небо, а сердца наши пронзали другие молнии...

Я не любил Татьяну. Мне просто было приятно, что она меня любит.

Потом мы долго сидели на крыльце ее хаты. Целовались в сполохах молний. И Татьяна, разгоряченная и растрепанная, все не давалась мне, боролась со мной, любящая и страстная...

А потом гроза ударила о землю рысеными слезами неба...

И Татьяна в темных сенях, горячо дыша мне в лицо, сказала:

— Ты же не говори никому.

Мы часто ходили с ней в каменный карьер за поселком, и я любовался ее покорной красотой, залитой морем серебристого сияния небес...

Мне было странно и диковато-сладко оттого, что она, такой же человек, как и я, но вот я могу повести ее куда захочу и делать с ней что захочу.

Моя работа в шахте лишала меня возможности помогать матери, как я хотел бы, и я решил продолжать учиться в сельскохозяйственной школе.

Я сказал об этом Татьяне. Она грустно посмотрела на меня:

— Тогда я тебя потеряю.

Когда я гулял с Дусей по центральной улице Лисичего, за нами всегда ходили стайки девчат, и за спиной я слышал их комплименты в мой адрес:

— Хорошенький!..

— Хорошенький!..

И мне приятно было это слышать. А то еще у нас на «чугунке», около завода, где мы прогуливались по путям, валахские девчата от души хлестали меня верболозом в вербную неделю.

Так они выражали свою симпатию ко мне. Словом, я был ничего себе хлопец. И даже сестра Зоя говорила, что я красивый.

И вот, когда я гулял в садике кинотеатра, возле шахты «Дагмара» в Лисичем, парнишка передал мне записку, в которой было написано, что со мной хочет познакомиться одна девушка.

Я посмотрел, куда показал мне парнишка. Навстречу мне шла пышная смуглянка, настоящая библейская красавица.

Мы познакомились.

Ее звали Юлия.

После кино я проводил ее домой.

Было уже поздно. Пошел дождь. И мы остановились под козырьком базарной будки.

Я стал ее целовать.

А она как-то чудно раскрывала губы, так что вместо поцелуя получался лишь свист, и я целовал ее дыхание...

Я рассердился и оставил ее одну.

После каникул в каменскую школу пришло пространное письмо от Юлии, в котором она писала, что «Ваш поцелуй прожег меня насквозь...», «хоть бы гром неба разразил мою душу...».

Я думал: и какой уж там поцелуй, и как он ее мог прожечь насквозь, когда его и не было, а только пустой свист...

Мне было неприятно, что Юлия написала письмо со стихами Бальмонта и Северянина на бланках своего отца, который служил управляющим на угольных складах.

И снова Лисиче...

На улице Камни по вечерам гуляла молодежь, гулял и я.

В толпе я увидел Юлю. Она была в белом, как вишневый сад, платье и шла с подругой.

Я пошел ей навстречу. Юлия что-то шепнула подруге, и та исчезла в толпе.

Мы пошли за село.

И вот... В лунном свете лежит на камнях роскошная Юлия с огромными черными очами и от нетерпения рвет белыми, красивыми зубами лакированный ремешок моей фуражки...

Вся душа моя рвется к ней, а я, точно каменный, стою над нею, смотрю на ее наручные часики и говорю:

— Поздно. Мне пора домой.

А она не поднимается и властно ждет.

Меня возмущало то, что ее глаза имели надо мной какую-то почти необоримую власть.

Потом она писала мне в школу, что я — ее мечта и она хочет с этой мечтой «реально столкнуться».

Но до «столкновения» не дошло, потому что я не любил ее.

Юля поднялась с камней, отдала мне фуражку и пошла провожать меня за Лисиче, в противоположную сторону, к Третьей Роте...

Когда мы вышли за село, она смотрела мне в глаза грустно-грустно...

И этот взгляд был такой властный, что душа моя едва не рассталась с телом, чтобы навеки слиться с ее душой... Но я стоял как вкопанный.

Тогда Юля подошла ко мне близко-близко и спросила:

— Значит, надежды нет?

И с моих равнодушных губ холодно слетело:

— Нет.

Юля черной тенью повернулась с опущенными плечами и руками и, сгорбившаяся, полная скорби, ушла в ночь. Мое сердце рванулось за ней, но я был словно каменный.

## XXVIII

Маленьким я очень любил читать разные «декламаторы», литературные хрестоматии и рецензии на стихи в приложениях к «Ниве». Конечно, любил и переписывать в тетрадку, а то и просто заучивать наизусть стихотворения, которые мне понравились.

Я очень хотел стать поэтом, считая, что поэты — это необыкновенные люди: к ним, в благоухающие комнаты, приходят влюбленные и робкие женщины, непременно с жертвенной и тихой любовью, и, конечно, у этих женщин синие небесные очи и золотые волосы... Особенно меня восхищало стихотворение Дмитрия Цензора «Любил я женщину с лазурными глазами...».

Есть такие поэты, которые за всю жизнь смогли написать лишь одно-два замечательных стихотворения. Таков и Дмитрий Цензор.

Не могу не привести это стихотворение:

Любил я женщину с лазурными глазами,  
не знал я женщины безмолвной и грустней.  
Загадка нежности меня пленяла в ней  
и грусть покорных глаз с их тихими слезами...

Покорно, как дитя, пошла она за мной,  
на нежность и любовь ответа не просила...  
И в этом чудилась непонятая сила,  
томившая своей безмолвной тишиной...

Однажды вечером, под шелест листопада,  
она безропотно ответила: «Прощай...»  
И думал я: «Судьба как будто невзначай  
сроднила нас... Прости. Так суждено. Так надо».

И жадно я искал... И много, много раз  
любовь была как сон, как призрак, как вериги...  
И женские сердца я изучал, как книги,  
но позабыть не мог печаль покорных глаз.

Когда мне больно жить, мне хочется сначала  
молитвенно прильнуть к душе ее простой.  
Ведь я не знал тогда, что нежной красотой  
цвела ее любовь и жертвенно молчала.

Почему мне понравилось это стихотворение?

Мне кажется, по двум причинам. Здесь изображен образ идеальной для меня женщины (такой была жена поэта Феофанова). Во-вторых, я сам в каких-то глубинах души походил на Дмитрия Цензора, вернее, на того донжуана, которым хотел быть Дмитрий Цензор, ибо теперь я убедился, что поэты всегда лгут и гиперболизируют либо хорошее, либо плохое в человеке.

Когда-то я гадал на оракула (не смейтесь, мои дорогие читатели, я ведь был глупый, маленький — двенадцать лет) пшеничным зернышком и на мой вопрос: «Кто меня будет любить?» — получил ответ: «Женщины».

Значит, психологическая подготовка, хотя и на мистической почве, — но я уверен, что на то имелись соответствующие психо-физиологические причины в формировании моей личности.

Может, потому, что еще в детстве я жил в городе и звуковые и зрительные впечатления каким-то таинственным образом отложились в глубинах моего подсознания, я всегда страстно мечтал о городе: там контрасты, движение, нежность и жестокость переплелись в такой могучей гармонии, что она, как магнит, увлекала мое воображение в далекие, огромные, полные разных приключений и любви города. А я жил в глухой провинции под вечным гулом завода, под крики поездов, пролетающих мимо нашего села, особенно по вечерам, когда пассажирские вагоны с яркими, веселыми огнями и незнакомыми людьми все мчали туда, в неведомые и прекрасные города, и вслед за ними гналась моя маленькая душа, как рыжий есенинский жеребенок, и теперь, ретроспективно, сквозь смешные и наивные слезы, наворачивающиеся на глаза, звучат мне слова поэта:

Милый, милый, смешной дуралей!  
Ну куда он, куда он гонится?



Но жеребенок стал большим поэтом Украины, он догнал железного коня и слился с ним в неистовом устремлении в Будущее.

Писали стихи и мой дед, и мой отец (по-русски и по-украински), я тоже стал писать стихи, и не потому только, что их писали мой дед и мой отец, но еще и потому, что вот люди могут быть поэтами, а я не могу. Что это значит?

Когда-то к нам на ярмарку приехали акробаты. В балагане они ходили на руках, а я с восторгом глядел на них и думал, вот они ходят на руках, а они такие же люди, как и я. Значит, и я научусь ходить на руках.

И я научился ходить на руках.

Правда, я содрал себе до крови скулы, едва не выбил правый глаз, но научился. Мальчишки смеялись надо мной, били меня, но я не обращал на них внимания и чувствовал себя героем.

Однажды, когда я (четырнадцати лет) писал свое первое стихотворение, у меня было такое идиотское лицо, что бабушка, проходя мимо меня, сказала: «Брось писать стихи, не то сойдешь с ума».

Я испугался и бросил писать стихи.

Но когда началась империалистическая война, лавина патриотических виршей в тогдашних журналах захватила и окружила меня.

Я окончательно решил стать поэтом.

В какой-то книжке я прочитал: «Какой же он поэт, ведь у него нет еще и сорока стихотворений!» И я подумал, что когда у меня будет «сорок стихотворений», я стану настоящим поэтом.

Вообще люди в определенном возрасте начинают писать стихи, когда влюбляются, я же начал писать стихи на религиозной почве.

Есенин находился под большим влиянием своего религиозного деда, а я — своей религиозной бабуши.

Вообще я хотел стать монахом.

Вот мое первое стихотворение (я начал писать по-русски, потому что учился в русской школе и читал очень много русских книжек):

Господь, услышь мои моления,  
раскаянье мое прими,  
прости мои ты согрешенья,  
на путь святой благослови.

Я ж хотел быть святым, как «Иоан Кронштадтский», произведениями которого я, между прочим, увлекался и потому не любил читать Толстого.

А вот про войну:

Друг друга люди бьют и режут,  
забыли, что придет пора,  
прервется грешной жизни нить,  
и все их грешные дела  
придется богу рассудить.

Когда я писал стихи, то думал, что они гениальные и каждое стихотворение стоит десять тысяч рублей...

А это про коллективное творчество. И снова о ярмарке и балагане. Бродячие артисты всегда пели в балагане:

Живо, живо! Подай пару пива!  
Подай поскорей, чтоб было веселей!..

А у нас, если кто напьется, хлопцы говорили: «Что?! Нагазовался?»

На нашем содовом заводе работать приходилось в хлоре: там очень тяжело, и рабочий мог выдержать всего два часа — после этого его почти без чувств за ноги вытаскивали на воздух.

От этого и пошло (про пьяных): «нагазовался».

Тогда я и сочинил, собственно, переработал «Живо, живо подай пару пива!»: «Живо, сразу! Подай пару-газу, подай поскорей, чтоб было веселей». И все стали петь.

Когда же я говорил хлопцам, что это придумал я, — они не верили мне и даже били меня, считая, что это их: «созданное тобою уже не принадлежит тебе».

Я очень любил читать про сыщиков: Ната Пинкертон, Ника Картера, Шерлока Холмса, Пата Конера, Этель Кинг, Арсена Люпена и т. д.

Вообще я очень любил читать о приключениях и совсем не любил поэзии. Когда шло описание природы, я переворачивал эти страницы и читал дальше: меня интересовало развитие действия — «что дальше...».

## XXIX

Еще когда я работал учеником в маркшейдерском бюро нашего завода, я никак не мог даже во время работы не грезить о своей любви к Дусе. Она так и стояла всегда перед моими глазами. Гипноз любви!

Однажды я так раз мечтался, представляя лицо моей первой любимой, что, забыв обо всем на свете, дунул на волосинку, чтобы дыханием сдуть ее с рейсфедера, который я держал над раскрытым планом выработок шахты, готовясь перенести его на кальку.

И — о ужас — я сдул не только волосинку, но и тушь, черно и густо забрызгавшую план.

Наш начальник, Розвал, покраснел, как петушинный гребень, и заорал на меня: «Болван!»

Я спокойно подошел к вешалке, снял свой пиджак и, одеваясь, сказал:

— Я сюда пришел не для того, чтобы мной помыкали.

И пошел за расчетом.

Товарищи говорили мне, что скоро мобилизация моего года и меня возьмут на войну, но я не слушал их.

Управляющий заводом Вульфийус хорошо ко мне относился, он позвал меня к себе.

— Что же вы, Володя, как изнеженная девица. Я позвонил Розвалу, и он перед вами извинится. Идите наверх.

Розвал с улыбкой посмотрел на меня:

— Ну что, Володя, давайте помиримся.

— Давайте.

Но я не зарабатывал себе даже на башмаки и вместо того, чтоб помогать матери, сидел у нее на шее.

Я взял отпуск и поехал в ту школу, где раньше учился.

Управляющий Григорий Павлович Фиалковский сказал, что меня могут принять только в первый класс и надо сдать конкурсные экзамены. Я же в числе самых лучших учеников перешел во второй класс, и вот — экзамен.

Выхода не было, и я согласился.

Экзамены я выдержал, но на медицинской комиссии у меня нашли анемию, и я должен был ехать домой.

Я решил идти на войну добровольцем. Мать меня благословила, товарищ дал денег на дорогу к военному начальнику.

На одной станции я встретил школьного товарища Жоржа Науменко, и он посоветовал мне обратиться к железнодорожному лекарю. Может, у меня нет анемии, и тогда меня примут в школу.

Со свидетельством, что у меня нет анемии, я приехал в школу.

Управляющий глянул на меня.

— Сколько заплатили?

Я ничего не сказал.

— Но ваше место занято кандидатом, и мы не можем вас принять.

— Я готов жить в сторожке, лишь бы учиться. Вы же знаете, что у меня умер отец и единственная надежда помочь матери — это закончить ваше училище.

— Хорошо. Я поставлю вопрос на педагогическом совете.

Я едва не сошел с ума, пока шел совет.

Наконец выходит управляющий.

— Вы приняты, но будете учиться за свой счет и не должны болеть.

Это же все равно что меня не приняли, ведь даже при живом отце я был стипендиатом. А как же теперь?..

Я отправился на завод к Вульфису, и он, немец, совсем чужой мне человек, согласился платить за меня. Он знал, что я пишу стихи, но когда я говорил ему еще на заводе, что хочу учиться, он одобрял мое намерение. Говорил:

— Лучше быть хорошим агрономом, чем плохим поэтом.

Я снова стал учеником. Но постоянно опасался, что заболею и тогда меня исключат из школы.

Мне даже так и снилось, что я болен и должен ехать домой. Я рыдал во сне. А утром товарищи спрашивали меня:

— Чего ты плакал, Володя?

За несколько дней до рождественских каникул я не выдержал постоянной тревоги. Когда в шесть утра позволили на работу, я не смог подняться.

Я заболел.

Пришел управляющий.

Его ненавистные, в кровавых прожилках пороссячьи глазки издевательски уставились на меня:

— Вы же обещали не болеть.

Я молчал.

Что я мог сказать этому палачу, от которого зависела моя жизнь?

Мы его прозвали «Плюшкин».

Во время летних и весенних работ он следил за нами в бинокль с балкона, собирал ржавые гвоздики и клал их в карман своего белоснежного пиджака.

Сына своего Павлика он тоже заставлял собирать гвоздики и платил ему по копейке за дюжину.

Он часто приходил смотреть, как мы работаем. Были хлопцы, которые начинали яростно копать, как только появлялся управляющий, а когда его не было, ничего не делали. А я работал и отдыхал, хоть был управляющий, хоть его не было.

И хлопцев, работающих только у него на глазах, он хвалил, а меня ругал.

А вокруг шумели посадки шелковицы и диких маслин, и я часто писал там стихи.

Управляющий издевался надо мной.

— Вот вы, Сосюра, поэт. Почему бы вам не написать про поросят. Это так поэтично...

\* \* \*

На заводской площади грозно шумели митинги, охрипшие агитаторы в перекрестьях пулеметных лент призывали в красные отряды, но рабочие стояли хмурые и смущенные и мало кто шел в смертники революции.

И зачем им идти, если в заводском магазине пшено, мясо и растительное масло продаются по ценам мирного времени, например, буханка на восемь фунтов стоила 18 коп., а если чего-то в магазине не было, то рабочим сверх обычной платы выдавали деньги на эти продукты по рыночным ценам.

Завод принадлежал иностранцам, и директор Теплиц знал, что делает.

Только отдельные герои шли в красную гвардию.

Я приезжал на один день домой и узнал, что ученики штейгерской школы скинули своего управляющего, человека несправедливого и зловердного.

Ну, думаю, если они это сделали, то и мы можем сделать.

Я пошел к латышу, комиссару станции Яма, поведал ему все об управляющем, сказал, что хочу сделать так, чтоб его скинули.

Он посоветовал мне связаться с рабочими экономии, а если дело не получится, то он сам за него возьмется. И предложил мне организовать в школе кружок социалистической интеллигенции.

Когда я пришел в школу, гнев напрочь выбил из моей головы совет комиссара. Я переговорил лишь с несколькими товарищами, которые обещали поддержать меня, схватил колокольчик и стал звонить на сбор.

Все бегут, спрашивают, в чем дело.

— Сейчас узнаете! — кричу я и еще громче бью сбор. Собрались все ученики.

— Зовите управляющего, — распорядился я, и хлопцы побежали за ним.

Управляющий вышел в парадном мундире, бледный и спокойный.

Я выступил вперед:

— Товарищ Фиалковский. От лица всех присутствующих предлагаю вам удалиться из школы, иначе вы провалитесь, и провалитесь с треском.

Вдруг слышу сзади:

— Мы тебя не уполномачивали.

Обернувшись, я посмотрел на тех, кто обещал мне поддержку, но они молчали, опустив головы. Помню из них Ваню Шарпова и Степана Кашеева.

От гнева кровь так бурно прилила к моей голове, что казалось, ее напор выбьет темя и кровь тугим фонтаном ударит в потолок.

— Тогда я говорю от себя лично. В вас с молоком матери всосалось сознание рабов, и у вас язык исчез при виде блестящих пуговиц и зеленого мундира нашего учителя. — Поворачиваюсь к управляющему: — Помните, когда вы вновь приняли меня в школу с вашим условием не болеть и когда я, не выдержав моральной пытки, заболел, вы приходили и издевались надо мной, напомнив мое обещание не болеть. Я тогда хотел броситься и задушить вас. А теперь времена переменялись. Уходите отсюда и дайте дорогу новым светлым и могучим людям, которые будут учить нас не гнуться в три погибели, не дрожать при виде ваших ярких петлиц и звуках вашего голоса, а прямо и светло смотреть в глаза новой жизни. Я сейчас пойду к комиссару станции Яма, и тогда посмотрим, как вы провалитесь. Вы не ведете нас к прогрессу, а, наоборот, вы духовный контрреволюционер.

Бледный и испуганный «Плюшкин» попросил воды.

— Хорошо, я согласен не быть управляющим, но оставьте меня при школе педагогом хотя бы на то время, пока я не подыщу себе место.

Он принялся перечислять все комитеты и комиссии, в которых председательствует, и тут поднялась целая буря протеста против моего выступления. Особенно возмущались старшеклассники, которым нужна была подпись Фиалковского на выпускном аттестате. Собственно,

то был протест не против меня, они хотели, чтобы Фиалковский оставался управляющим.

Я побежал к комиссару. Почти у станции я услышал астматическое дыхание моего любимого учителя Дмитрия Куприяновича.

— Зачем вы это делаете, Сосюра? Теперь Фиалковский в наших руках, и мы сможем с ним сделать все, что нам надо.

А немцы уже захватили Харьков.

Я согласился с ним, да и, по правде, мне стало немного жаль управляющего, ведь лектор он был замечательный.

«Плюшкин» подал заявление в педагогический совет, пожаловался, что я назвал его контрреволюционером.

Меня вызвали. Забыв, что я на педсовете, я засвистел. Меня призвали к порядку.

Я сказал, что назвал управляющего всего лишь духовным контрреволюционером, рассказал обо всем, в чем упрекал управляющего, сказал, что подобным же образом он относится не только ко мне, но и к другим.

— Да, это — издевательство, — согласился один учитель, и меня отпустили, не сделав даже выговора.

А немцы подходили все ближе.

Детей бедных родителей весной отпускали на три месяца домой для помощи по хозяйству. Отпустили и меня.

Демобилизованные солдаты организовали секцию при Совете депутатов и, воспользовавшись восстанием кулаков, обезоружили заводской отряд красногвардейцев, поклялись Совету, что будут верны революции, и стали нести охранную службу.

Я записался в этот отряд.

Секции выдали оружие с условием, что она будет отступать вместе с последними отрядами красной гвардии.

Бои шли уже у Сватовой.

Мы несли караульную вахту на железнодорожном мосту через Донец. Ночью я стоял в карауле и тревожно вглядывался в кусты, в темноте казавшиеся живыми существами, врагом, который коварно подкрадывается с динамитом, чтобы поднять в воздух железную громаду, гудящую и колеблющуюся под моими ногами, слитую с симфонией звездной ночи. Тихо плыл в дымке молодой месяц над могучими горами, над лесом и водой, и свет его

осторожно касался штыка и печально дрожал на затворе моей винтовки.

Был теплый, погожий день. И вдруг тревожно и пронзительно закричал заводской гудок. Бесконечно долгий крик, бьющий по нервам, он звал к бою. Я схватил винтовку и побежал на улицу.

На заводе уже гремели выстрелы и гулко ухали пушки. А по «чугунке», протянувшейся полукругом через село, грозно и бесшумно двигались броневики. Они открыли огонь по заводу и селу, они оборонялись от солдат и спровоцированных заводской администрацией рабочих, которые не дали им сжечь паром через Донец.

Красногвардейцы тесными рядами стояли на открытых платформах с винтовками к ноге и все падали и падали под пулями своих обманутых братьев.

Я не захотел стрелять по ним и отдал свою винтовку одному из солдат.

Тут ко мне подлетает на коне мой родственник Холоденко, начальник отряда солдатской секции.

— Ты чего без винтовки?

— Сейчас пойду за ней.

Он с подозрением посмотрел на меня и помчался дальше.

Когда я бежал, переулки были заполнены стрельбой так, что казалось, стреляют совсем рядом, я не выдержал и послал пулю в далекий эшелон. Теперь я знаю, что эта пуля не убила никого, потому что я целился в крыши вагонов, но она поразила мое сердце.

Красные броневики отошли от Лоскутовки и стали бить по штабу.

После каждого выстрела в воздухе тонко шумели снаряды и вздымались облачка взрывов, а когда снаряд попадал в железнодорожное полотно, то казалось, что грохочет и разлетается весь мир.

Им отвечали заводские пушки за горой.

Бой прекратился, и красногвардейцы прислали к нам делегатов. Они ехали в фаэтоне в золотом мареве дня, подтянутые и спокойные.

В штабе я увидел нашего красногвардейца Михаила Вельцмана.

Он стоял, перепоясанный пулеметными лентами, и слушал члена Совета Ажипу.

Тот страстно и горячо говорил:

— Дорогие красные орлы! Вас не поняли. и вот вы,



разбитые и озлобленные, отступаете по окровавленным полям Украины. Вас никто не поддерживает. Но придет время, когда вас позовут и вы вернетесь сюда — могучие, светлые и непобедимые.

Я ушел, но долго еще перед моими глазами стояло печальное лицо красного героя.

## XXXI

Хмурый, стоял я на «чугунке», а мимо меня гроыхали обозы немецкой армии. Грозно чеканили кованный шаг бесчисленные синие колонны баварской пехоты, и мерно покачивались в седлах кавалеристы.

Меня поразили один красивый юноша-офицер. Он был стройный и нежный, как девушка, и ему очень шла желтая каска.

С грузной неумолимостью ползли тяжелые пушки, тупыми дулами хищно уставившись туда, где вместе с кровавым солнцем исчезали люди, перепоясанные пулеметными лентами.

И снова вернулся прежний страх — и прежний заводской пристав. Сверкала штыками гетманская стража после разгона немцами Центральной Рады<sup>5</sup>. И высасывали в Германию длинными эшелонами муку и сало.

В селах карали крестьян, возвращали имущество и землю помещикам и без конца расстреливали красногвардейцев и матросов.

Я нигде не мог найти работу, ходил с хлопцами к девчатам и в чаду самогонки все мечтал о какой-то синеокой, которую непременно встречу.

Начал увлекаться Олесем<sup>6</sup> и Вороным<sup>7</sup>. Иногда писал украинские стихи.

Я не мог так просто пить самогонку и зажимал пальцами нос, чтобы не слышать этого ужасного запаха. А потом плакал пьяными слезами над «Катериной» Шевченко, над своим прошлым и лез целоваться к товарищам.

Какой-то немец полез к девушке Сереги Дюжика. Она начала кричать, немец был толстый и сильный. Но Серега сбил его с ног, схватил за штанину и блузу и стал бить об пол. У немца уже безжизненно болтается голова и кровь перестала идти из горла, а Серега все колотит его об пол.

Девчата сказали, что сюда идут немцы.

Сергеа выскочил — и наутек. Немцы, стреляя на бегу, бросились за ним. Они загнали его на кручу над Донцом.

Было уже холодно, и Серега с разбега прыгнул вниз головой в Донец. Под огнем он переплыл осеннюю реку и вышел на берег. Пули шмякались в песок у самых его ног, а он, усмехнувшись, снял свою кепочку, вежливо поклонился немцам и исчез в лесу.

Один из немцев тоже прыгнул в Донец, переплыл его, добежал до леса, но идти дальше побоялся и вернулся назад.

## XXXII

Был май, и в село съехались тайные организаторы восстания против гетмана. Они предложили нам записаться в Бахмутскую комендантскую сотню, чтобы иметь в руках оружие и, когда разразится взрыв, присоединиться к повстанцам. Я записался с несколькими красногвардейцами.

Мы решили, ежели сотня подберется не из того материала, разложим ее.

В Бахмуте нас привели в казармы на Магистральной улице, и мы стали нести охранную службу.

Бунчужного, одного из тех, кто сагитировал нас вступить в сотню, вдруг сняли с должности, и он исчез неведомо куда.

Мы написали сотенному заявление, чтобы нам вернули бунчужного, потому что он хороший и нужный нам человек. Четверых нас делегировали к сотенному.

Он только глянул на наше заявление и от злости налился кровью. Зрачки его глаз стали колючими. Он холодно посмотрел на нас.

— Вы все арестованы. Вас отправят в австрийский штаб.

У меня похолодело сердце.

— Пане сотнику, мы же не знаем, в чем дело. Вы нам объясните. Просто был хороший человек, и нам его жаль. Можете нас арестовать, но знайте, что все мы были под пулями красных.

Выражение его лица смягчилось:

— Ваш бунчужный не может быть с вами, потому что у него сифилис. Я отпускаю вас, но знайте, что это вам

не вольное казачество, и чтоб больше подобных заявлений не было.

Мы ушли, бледные и довольные.

Стали приезжать офицеры в золотых погонах. Они пренебрежительно смотрели на нас и говорили, что теперь их время. Мы хмуро глядели на них.

Казаки были покорные и забытые. Нам стало ясно: если их пошлют на крестьян, они хоть и с плачем, но будут расстреливать своих братьев. Мы стали примером и словом расшатывать дисциплину.

Был у меня товарищ, бывший шахтер, он матерился и ходил к батрачкам, но только запоем — море мурашек окатывает меня, и я млею от наслаждения.

Был вечер, и мы стояли с ним у открытого окна.

Напротив виден тихий домик с вишневым крылечком и синими ставнями. На крылечке сидит девушка и читает книгу.

Товарищ мой запел, и девушка подняла голову. Меня будто что-то ударило, я вздрогнул и, хотя не увидел ее глаз, сразу почувствовал, что у нее те самые синие глаза, что так давно мне снятся...

А песня на своих огненных крыльях несла меня туда, где идут хлопцы с поля и «через тын склонилась голова дивчины...». И я представлял, как томно и нежно пере-клонилась она через тын и слушает песню хлопцев... Нет, то не хлопцы поют, а заря, что залила небо над яворами, и на ее фоне одинокая девичья фигура у тына. Нет, не у тына, а вот сидит на крылечке в лиловой шали, такая незнакомая и родная...

Я написал ей записку и передал с казаком.

Написал так:

«Я не спрашиваю, кто вы, не надо знать, кто я. Но мы будем писать, видеть и не знать друг друга. Это будет так хорошо.

*Жемчужный».*

Она мне ответила:

«Это будет так хорошо. Мы будем чувствовать друг друга. Это лучше, чем знать. Я буду писать вам изречения моих любимых философов и писателей.

*Констанция».*

И мы стали переписываться.

Мы допереписывались до того, что уже не могли не

видеть друг друга. Когда все засыпали, я раздевался донага и писал ей стихи, каждый вечер по семь штук. А потом, лежа на спине, представлял себе до физической боли ее губы и глаза. Вот ее лицо склоняется над моим, исчезают стены, и синие глаза заливают все небо... Губы, теплые и вечно знакомые, прижимаются к моим, и, как в молитве, замирает моя душа...

И в один из вечеров я вместо казака, обычного нашего почтальона, подошел к калитке, где стояла Констанция.

— Вы уже приготовили ответ моему товарищу?

— Нет еще.

Я больше не мог играть и подошел к ней.

— Мне хотелось пооригинальничать, но из этого ничего не вышло. Давайте знакомиться.— И я протянул ей свою руку.— Жемчужный.

Она тихо вздохнула и едва не упала мне на грудь.

— Какие у вас глаза?..

И будто сквозь дымку далекого сна, как музыка всех моих порывов и исканий, с губ ее тихо слетело:

— Голубые.

Но ее позвала мать, и она ушла от меня.

Отлетел новый день, и вечер тихой голубой походкой пришел на землю. Теплом шумели деревья, и батрачки гуляли с казаками. Я на противоположном тротуаре увидел Констанцию. Она грациозным и нежным поворотом головы звала меня.

Но я не стал переходить улицу, а продолжал идти по своей стороне, чтобы никто не заметил, что я иду к ней. Мы шли к деревьям, где было темно и безлюдно.

И когда мы сошлись, я трижды поцеловал Констанцию, и ее губы, как незаживающая рана, остались в моем сердце.

Она познакомила меня со своими родителями и братом. Это была скромная польская семья, и Польша, чтобы они ее не забывали, подарила им на память золотые волосы и синие глаза.

Отец ее, Ипполит Викентьевич, тучный и высокий, с гордо посаженной головой, был подобен золотогривому льву. Он работал в банке и за обедом говорил такие вещи, что все мы краснели и давились от смеха. Он говорил это так просто, это выходило у него так наивно и безгрешно, что нам совсем не было неловко. Я чувствовал себя с ним

как дома, он был такой непосредственный, что его невозможно было не полюбить.

Мать, Полина Васильевна, энергичная и подвижная, все курила и шила женские туалеты. Синеглазая и веселая, она всегда была чем-то занята и не сидела на месте. Она ласково поглядывала на нас с Котей и разрешала ходить, куда мы захотим.

Брат, Броня, точная копия отца, учился в реальной школе, мечтал о розовом чуде и вырезал на деревьях инициалы любимой.

Мы с Котей ходили в поле и подолгу просиживали над овражком.

Мне нравилось, когда под моим взглядом бледное и нежное личико Коти невольно заливалось краской, как зарей... Тогда она склоняла голову и не могла смотреть на меня.

Из-за Коти я каждый вечер пропускал поверку и за это каждое утро получал наряд чистить картошку.

Из окна казармы мне было видно Котино лицо в окне. Она училась в гимназии, и я очень любил, когда она мне читала по-французски, хоть я и не понимал ни слова. Меня очаровывала сама музыка звуков. Часто взгляд мой летел через улицу к склоненному над книгой лицу, мурашки горячо пробегали по моему телу, а из глаз наплывали какие-то мощные волны. Чтобы вызвать их, я задерживал дыхание, приоткрывал рот и весь внутренне напрягался... Котя вздрагивала и поднимала голову. Она всегда чувствовала мой взгляд и боялась его.

Я приходил к Коте, она вслух учила уроки, и, когда я начинал думать о ней, она невольно умолкала, подходила ко мне, брала мою руку и клала себе на грудь. Я целовал ее руки у локтевого сгиба и смотрел на нее, похожую на ангелов с польских кладбищ.

Мы ходили мимо пестрой и шумной карусели в поле, я, Котя, ее подруга Мария и Броня.

Как-то мы были в поле.

Котя сидела, а наши головы, моя и Марии, лежали у нее на коленях.

Я стал думать о Марии так же, как думал о Коте, и почувствовал, что ее рука стала в моей руке вялой и безвольной, а тело покорно подается ко мне.

Я говорю:

— Котя, посмотри, какие чудесные звезды.

Она поднимает голову, и мы с Марией целуемся угол-

ками губ. Котя заметила и руками развела наши головы. А по дороге она сказала мне:

— Зачем ты это делаешь? Мне так больно. Ты превращаешь меня в камень.

### XXXIII

Паровоз летел по бескрайним полям, заходило солнце, и его лучи, как кровь расстрелянных, заливали травы и платформу с пушками, где я сидел, мечтая о Констанции.

За синие горизонты садилось солнце. И в монотонном перестуке колес передо мной плыло бледное склоненное лицо. Я смотрел на него, и оно заливалось румянцем любви, алой кровью. Эта кровь, сливаясь с багряными потоками зари на холодных вечерних травах, шумела в моих жилах.

Констанция...

Вот она стоит босиком, такая родная, у своих ворот. Солнце уложило венки на ее волосах и золотым дождем залило одежду.

Солнце!..

А поезд летит, грохочут и качаются вагоны, холодно поблескивают дула пушек, и маячат вдали синекрылые ветряки, станции и села, залитые вечерним багрянцем.

Неприятно гудят телеграфные провода и пролетают то вверх, то вниз перед моим затуманенным взором.

И вновь тихий Бахмут, и в вечернем шуме деревьев синий взгляд и покорные любимые губы.

В Констанцию влюбился один казак и земляк мой Митя Дыбтан. Он встретил меня в темном углу и схватил за грудки:

— Уступи.

— Кого?

— Котю.

— Да что она — башмаки мои, что ли?

Но он меня не слушал и зарубил бы меня тесаком, если бы я не успел захлопнуть перед ним двери.

Он говорил хлопцам:

— И за что она его любит? У него и каблуки скривленные.

Было уже темно. Я пошел к Коте. В комнате горело электричество и никого не было. Котя повела меня в

спальню и, когда мы поцеловались, выключила свет и упала на кровать. Я упал на нее, и, хотя Котя говорила, что я могу делать с ней, что захочу, я не сделал того, что сделал бы каждый на моем месте. Потому что знал, что могу сгореть в огне близкого восстания, а ей это на всю жизнь. И что будут думать обо мне ее родители, такие добрые и хорошие.

Нет!

Котя заплакала, а я поднялся, ничего не сделав. В июне нас расформировали.

Я попрощался с Рудзянскими и, одинокий, пошел на вокзал.

Котя дала мне промокашку, взяв с меня слово не читать, что там написано, пока я не сяду в вагон.

И когда прозвучали последние звонки, я развернул промокашку. На ней булавкой было нацарапано: «Люблю».

Закончился мой отпуск, и я приехал в школу. Там стоял батальон немцев, и, не будь у меня свидетельства, что я был казаком, меня бы расстреляли.

Один педагог, которого мы прозвали «Артишок» за его манеру двигаться и фигуру, подошел ко мне и сказал: — Хитрость жизни.

Меня исключили из школы.

#### XXXIV

Я снова в селе.

В шуме ветра, в дрожании звезд и волн надо мной плыл, и таял, и снова прояснялся образ Констанции.

По вечерам под горой в черных перекрестьях рам желто горели окна больших господских домов, и на их фоне четкой тенью вырисовывалось дорогое лицо.

Грудь моя, рана моя... Кто налил в вас вечную боль, с которой суждено мне идти до конца моей дороги...

И в кино, в рыдании пианино душа моя разрывалась от крика и, как птица с подрезанными крыльями, билась в крови и муке.

Пианистка всегда играла одну вещь, где был такой аккорд, от которого внутри у меня все гремело и я с безумной ясностью представлял себя птицей, рвущейся

в синий простор, куда ей уже никогда не взлететь, на крыльях у нее следы смертельных ран... Она бьется в тоске, из последних сил тащится по земле, оставляя на ней пятна крови и перья...

Только теперь я узнал, что вещь эта называется «Раненый орел».

И летели дни, полные грусти, забытья, одиночества и буйства молодой крови.

Иногда я забывал о Констанции и тогда становился снова смуглым, веселым селюком.

Нет, нет... Ведь когда я целовал девушку, то, закрывая глаза, представлял, что целую Констанцию.

По-прежнему шумел завод, но в пронзительных криках паровозов уже звучала тревога и гнев миллионов.

Мою тетку Гашку Холоденчиху в молодости соблазнил и бросил один парубок Михайло. Тогда ее брат Федот поймал его и врезал по левому уху так, что из правого брызнула кровь.

Михайло женился на Гашке и вскоре умер.

Федот жил за «чугункой» возле Вовчяевки. Его сосед, сторож заводской бани, выбирал всю воду из Федотова колодца и поливал свой садик, а Федотовой семье не оставалось даже для питья. Они часто из-за этого ссорились.

От слов перешли к делу. И однажды высокий Федот насел на маленького банщика и стал его избивать. Ясно, что банщик долго бы не продержался. Но он вытащил нож и пырнул Федоту в сердце. И великан встал, сделал три шага с ножом в сердце и с криком: «Ох, Химка, меня резали!» — упал на землю.

Банщика судили и оправдали. Он и теперь жив, ходит по Третьей Роте, петухом поглядывая на Федотовых сыновей-великанов.

Федька Горох стал налетчиком и ходил только ночью, вечно озабоченный, бледный и настороженный.

Ларька поступил в художественную школу, жил в городе и рисовал кухарок, а они за это его кормили.

На каждой станции стояли отряды оккупантов. У них были могучие кони, и оккупанты восседали на них словно вылитые из меди. Гордо звучали по городам Украины чужие песни завоевателей.

Я повез свои стихи в большой город.



Одиноким и потерянным, бродил я в гомоне толпы и звоне трамваев, а в голосе все звучали слова полузабытого поэта:

И только кашель, только кашель  
терзает, пенясь и рыча,  
набитое кровавой кашей  
сухое горло палача.

Ночевал я на вокзале, и меня там обокрали. Утащили мои стихи и белье. И я снова вернулся в село.

По перрону нашей станции я шагал так нервно и размахисто, что вооруженный немецкий постовой с гранатами за поясом испуганно повернулся ко мне.

### XXXV

Каждый год 14 сентября у нас бывает ярмарка. А вечером хлопцы идут на улицу к девочкам.

Я не знал, что из Лисичего к нам приехал карательный отряд и что запрещено позже десяти вечера выходить на улицу. Но, очевидно, если бы и знал, то все равно выходил бы. Вы же понимаете — теплые сентябрьские ночи и девочки... Смех под звездами, сладостные пожатия горячих и жадных рук.

Я почему-то смеялся больше всех, смеялся так, что хлопцы говорили:

— Ой, Володька, должно, не к добру смеешься, битым будешь...

Я не обращал на это внимания и смеялся, смеялся...

Расходиться начали в десятом часу.

Иду я по Красной улице. И до хаты уже остается шагов сто, как вдруг вижу, летит всадник и немилосердно лупит нагайкой человека, а тот истошно кричит от боли.

Я иду спокойно. Думаю — кто-то проворовался на ярмарке, а мне-то что... Иду и не заметил, как оказался в кругу всадников...

— Ты кто?

— Володька.

— Откуда?

— Так отсюда. Вот и хага моя. Видите, окно светится?

— А оружие у тебя есть? — говорит всадник и, наклонившись, ощупывает мои карманы.

А другой всадник склонился ко мне да как перетянет нагайкой раз, другой... И все норовит по лбу, а я отклонюсь чуть в сторону, и он попадает по плечу.

— За что?

И наезжает на меня конской грудью их красавец капитан и кричит мне:

— Беги, сукин сын, не то пристрелю, как собаку!..

Я бегу, а он за мной... Да разве от коня убежишь...

Я перемахнул через забор и затаился. И вот слышу:

— Ах вы, буржуазные лакеи, так вас и так...

Кричит уже избитый хозяин гостеприимного двора, где я спрятался, рабочий Свиноаренко.

Рабочие возвращались после десяти с завода, а каратели стали их лупить, как и всех.

Конечно, кричал он это, когда казацкие кони стучали копытами уже далеко внизу по Красной улице.

А наутро... У всех хлопцев шишки, у кого на лбу, у кого на виске. На что уж Сашко Гавриленко, хоть и на костылях, а парень красивый, его любили валахские молодницы — правда, за то, что у его отца пивная, — так и того не пожалели. Он кричит:

— Я инвалид...

А они его шпарят...

Я уж рад и тому, что у меня хоть и багрово-синие подтеки кругом, но под френчем не видать.

Ну а в ноябре — восстание.

Рабочие обезоружили карательный отряд и красавца капитана, что гнался за мной, посадили его на проходной в конторке. И каждый рабочий, идя на работу, мог взглянуть на него, плюнуть и дать свою характеристику — языком и ногами... А у нас характеристики очень меткие.

Потом в село прибыл 3-й гайдамацкий полк. Расстреливает карателей, обезоруживает немцев...

Вам понятно, как это могло повлиять на наивного парня, начитавшегося Гоголя и Кашенко, с детства бредившего грозowymi образами казатчины...

А тут она живая... Воскресла моя синяя вымечтанная Украина, махнула клинком, и зацвела земля казацкими шлыками...

Да еще и говорят:

— Мы большевики, только мы украинцы.

Ну и я украинец. Чего ж еще надо? И записался к повстанцам в такую вот минуту.

Поехали на Сватово обезоруживать немецкую конницу.

Наш эшелон спокойно подъехал почти к перрону... Идет немец с чайником кипятка. И какой-то идиот взял его на мушку... И не стало немца, не стало далекого фатерлянда и белокурой Гретхен... Только мозги, будто кипяток из разбитого и покореженного чайника, расплескались по рельсам... Немцы мирно отдали бы нам оружие, а теперь они: «Цум ваффен...»

Наши — в вокзал... Немцы отступили... А потом начали наступать подковой. Хлопцы же вместо того, чтобы взяться за оружие, стали надевать на себя сразу по несколько штанов и шинелей, распухли, как бабы, и стали жабами...

Немцы с боем прогнали нас от станции...

В бою надо быть быстрым, а куда тут, если на тебе несколько штанов и шинелей... Те хлопцы, которые ворвались в здание вокзала, конечно, не успели выскочить из него...

У двери стал немецкий офицер и каждого, кто выбегал, бил прямо в голову...

А потом немцы вместе с горой трупов отдали нам и свое оружие.

Казаков хоронили с музыкой...

А обезоруженные немцы сумрачно и грозно, спокойными синими колоннами шли на гору к татарским казармам.

И думал я: если бы немцы захотели, только сопли остались бы от моей любимой синей Украины...

Но я еще верил...

Ведь изо всех сел шли к нам дядьки в свитках и с котомками. Записывались и спокойно, как в церковь, шли на смерть... Будто кабана колоть...

И я всегда смотрел им в глаза... Перед боем у одних глаза бывают печальные и слезливо прозрачные, а у других веселые и мутные...

И те, у кого перед боем были печальные глаза, больше никогда не возвращались, а люди с веселыми глазами хвалились, скольких они убили...

Когда же немцы стали нас бить так, что небо и снег становились черными от шестидюймовок, хлопцы начали драпать по домам, конечно, с оружием и обмундированием.

— Пусть придут к нам в село. Мы им покажем...—

похвалялись они, оглядываясь по сторонам: не видать ли немцев.

Вот одного поймали (с Боровского за Донцом — русская колония) и стали шомполовать...

Казаки возмутились.

— Мы революционная армия. Позор. Долой шомпола! Отпустите его!

А сотник Глушенко:

— Без разговорчиков! Сейчас позову старых гайдамаков и всех перестреляю.

И я узнал тогда, что такое «старые гайдамаки».

«Боровчанина» все же отпустили...

Но нас, чуть что, пугали: «старые гайдамаки»...

Это те, что в январе 1918 года расстреляли в Киеве красный «Арсенал», ядро полка.

Я терпел, терпел да и тоже удрал.

## XXXVI

Декабрь 1918 года.

Мобилизация.

Моему году идти.

Мать гонит меня из дому: я скоро без штанов останусь. Говорю ей: «Подождите, красные уже близко...»

А она мне:

— Пока придут твои красные, будешь светить голой... Иди, сукин ты сын, до каких пор будешь сидеть на моей шее...

Что поделаешь...

Пошел.

Только не в Бахмут, а снова в тот же полк, штаб которого стоял в нашем селе. Думал, все равно. Все одинаковые, а Бахмут далеко. Так хоть еще немного похожу к девочкам. (Ох, девочки, девочки! Может, и вы виноваты, что я стал петлюровцем.)

Ну и снова бои. Теперь уже с белыми, на Алмазной, в Дебальцево (где я родился)...

И вот занесли снега дорогу, «чугунку»... И поехали мы на паровозе очищать от снега «чугунку»... И запел пьяный кочегар: «Смело, товарищи, в ногу...» И заплакал я, ощутив так остро и отчетливо, что долго, долго я не буду со своими, буду против своих.

Еще одна мелочь. Собственно, тогда это уже не было для меня мелочью.

Холодный, пустой вагон. Я приехал в Сватово записываться к повстанцам...

Тихо. И вдруг:

— Сосюра...

— Что?

Никого.

— Сосюра!

— Что?..

Трижды меня кто-то окликал, и трижды я отзывался. Старые люди говорят, что не надо откликаться.

А меня три раза звали, и три раза я откликался. Это — к смерти.

Но я записался.

И еще.

Расстреливали стражу. Ночь. Караульное помещение — 11-й класс нашей станции. Привезли обезоруженных карателей и их начальника с синей от побоев, как чугун, мордой, он тыкал нашего есаула в грудь и, покачиваясь, все пытался ему что-то доказать и никак не мог...

Их выстроили. И между ними стояли два белых летуна, хлопцы случайно сбили их аэроплан на станции Нырковой. Один капитан (раненый), а второй — стройный и невозмутимый, с мраморным благородным лицом, потомок графа Потемкина.

Тот, что с мраморным лицом, снял со своего пальца перстень, протянул его нашему есаулу и сказал:

— Передайте моей жене.

Их увели.

## XXXVII

Вагоны. Пахнет самогоном, патронами и подсолнечным маслом, пахнет снегом и кровью...

На меня и теперь иногда зимой... когда снег и я один, бывает, подует каким-то ветром и запахнет... снегом и... кровью... Правда, теперь не так часто... (может, потому, что нэп и меховая кожа...).

Еще пахло овчиной и казацкими онучами...

Нас отправляют на позиции.

И чудно. Я был беспричинно веселым... Будто меня

это не касалось... Только сестра моя стояла возле звонка и грустно, грустно смотрела на меня...

Она умерла в 1919 году, я так ее больше и не увидел.

А мать не пришла меня провожать, потому что не знала о нашей отправке на фронт...

Мы пели «Чумака».

Нам было весело, словно ехали мы не на смерть, а разоружать немцев...

(Только почему нас посылают на Сватово?.. Там же нет врага. Враг в Дебальцево, в Алмазной... Только почему нам вчера по приказу батьки Волоха всем завели оселедцы?..)

Едем.

И уже на сватовском перроне... (Ночь... Снег... Ветер...) Куренной говорит нам (нас приехало три сотни: 9-я, где я, 11-я и 12-я):

— Мы с большевиками не воюем. Но они захватили Купянск. Мы только отобьем у них Купянск, а воевать с ними не будем. Пусть они сами по себе, а мы сами по себе.

Пошли в разведку.

Конечно, селяне нам не говорят, где красные.

Все села — большевистские.

На следующую ночь я был назначен роевым. (Вы не глядите, что я лирик, я боевой.) Я — караульный по службе. Под утро, в пятом часу, мне идти на кухню.

А знаете, что это значит? Это значит: наесться вволю мяса, которое тогда казалось слаще шоколада «миньон». Я представляю, как буду есть мясо, и с этой мечтой засыпаю... Гостиниц для казаков не хватило, некоторых размещали в хатах. Меня и еще одного казака из моего роя — в хату.

Мы с ним будто дома; разделись до белья, бомбы положили на окно, винтовки поставили в угол. Спим.

А сон у меня такой, что хоть из пушки над ухом пали (это тогда...), не проснусь.

Вдруг вбегает хозяйка (2 часа ночи).

— Ой, деточки мои, вы ж пропали!

— Что такое?..

— Ваши все побежали на станцию, стрельба была, пули по садку свистели.

Мы не спеша оделись. Я, как караульный по кухне, засунул за пояс только штык. Идем чистить картошку. Оружия не взяли.

— Это,— говорю,— так, просто паника какая-то. Мне не верилось... немцев побили, стражу побили, Киев наш, а тут на тебе... удрали... бросили... И даже не разбудили...

«Нет! Мы идем чистить картошку».

Выходим. Снег. Туман. Улица ведет прямо к вокзалу. Тихо. Ужасно тихо. Даже собаки не лают.

Только на станции тонко и одиноко кричат паровозы. Из тумана появляется казак с винтовкой за плечами.

— Что такое?..

— Та наши все побегли на станцию... Стрельба была, кричали «слава», «ура».

Мертвая тишина.

Идем чистить картошку.

Я еще не верю, что это конец.

И вот из тумана смутно, а потом отчетливо: «Кони!»

«Не наши»,— что-то сказала мне, и я прижался к плетню.

Мои товарищи остановились на полшага впереди меня. Мы в полукружье всадников.

— Кто идет?

— Свои.

— Пропуск.

— Олена.

— Какая Олена?.. Руки вверх!

Не знаю, подняли мои товарищи руки или нет, но я почувствовал что-то страшное в голосе того, кто кричал «руки вверх», перескочил через плетень за копну... Бегу по огородам... а сзади слышу удары по чему-то мягкому и «ой... ой...» — тихое и тоскливое. А взгляд машинально схватывает кривую черную вишенку на белом фоне снега, смутные контуры плетней, копен и хат.

Шлык я сорвал... но оселедец сорвать нельзя. Да и шапка у меня кавалерийская, лохматая. Ее скинуть? Холдно, да и оселедец сразу увидят...

А если попадешь в плен с оселедцем, церемониться не станут... Смерть...

А какой из меня старый гайдамака? Красные думают, раз с оселедцем, значит, старый гайдамака. «К стенке!» Или: «На рубку!..»

Только во время боев я узнал, почему они не стреляли мне в спину. Просто они подумали, что мы — дозор. а сзади цепи. Они тихо нас и сняли, то есть тех двоих — порубили... У них тоже были оселедцы (а они шахте-

ры...). Об этом я узнал только в 1921 году (что их порубили...).

И началась стрельба...

Ночь то и дело пронзали алые мечи выстрелов... Я вырыл в снегу небольшой ров и лег в него... Проплывали образы Констанции и бабушки, которые меня очень любили... Констанция тогда, а бабушка и теперь — ей 102 года. Образа матери не возникало... Да и все это как миг. Какая-то тихая покорность смерти. Иногда я не выдерживал, вставал и шел прямо на огонь, но снова ложился. Вода капает мне за ворот, стекает по щекам... Потом я вошел во двор и влез под завалинку (в хату не пустили, я стучал, но они по голосу поняли, что я из «побежденных»...).

И вот красные занимают село...

Почти что час гремела улица... Это батареи (между прочим — на волах), обозы, конница... И все цокает, цокает, цокает... Наконец стало светать. Я вылез и снова пошел в город. Сквозь щели в заборе было видно, как идут по воду бабы... И вот ударили колокола. Воскресенье.

Я вышел как во сне на улицу... Там... Там... Там... Стоят кучками красные... А у меня ж лохматая шапка и обмотки побелели от воды (а были зеленые, новые). Я иду прямо на красных, все как во сне... Я даже голосов их не слышал...

И никто меня не окликнул, не задержал...

Все село — большевистское.

Я вошел в крайнюю хату. Дома дядька и его сын. — Остригите мне оселедец.

Сын стрижет мне оселедец.

Но ведь голова у меня бритая.

Я дал дядьке сахару (у меня было немного в платке), а он дал мне хлеба, и я пошел.

Вышел на гору. Смотрю, бежит один казак... Бледный от страха, один глаз больше, другой меньше, и трясется, будто ему очень холодно... Сбежал из-под расстрела.

Это — старый гайдамака.

— Ну, — говорю, — идем на Святые горы (75 верст — вроде в соседнюю хату), а оттуда поездом домой.

И какой же я дурень (а может, хитрый... это такая тонкая штука). Идут бабы с хуторов на базар, а я им кричу:



— Вы не говорите, что мы сюда пошли. Мы — гайдамаки.

— Не скажем, деточки, не скажем.

И не сказали.

Заночевали мы на хуторе. Товарищ мой сказал, что мы мобилизованы Петлюрой, бежим домой. Лежим на печи. А дядька хитро прищурил глаз, подошел к нам и говорит:

— Та признайтесь, хлопцы, вы ж гайдамаки? Вас же разбили на Сватовой?

Я отвечаю:

— Да, мы гайдамаки.

Дядька ничего не сказал.

Но я долго не мог заснуть и все глядел на топор в углу...

А неподалеку от Святогорской станции (кругом красные партизаны), в одном селе, когда мы лежали на полу, вошел лысый старикан — староста — и потребовал у нас «пачпорта».

— Какой «пачпорт», ежели мы мобилизованы?

— Да что там с ними болтать! В штаб их!

А женщины не отдают нас, плачут и приговаривают:

— Та они ж такие, как и мы: и чернобровые, и говорят по-нашему.

И проснулся во мне поэт-агитатор... Я начал говорить и кто мы, и за что такая нам доля, стал читать им свои стихи...

И странное дело... Лысый «пачпортный» староста просит переписать ему на память стихи. Помню начало... (О мои стихи, такие же наивные и зеленые, как моя вечная молодость...)

Пісня ця родилась в темнім, темнім гаю  
І тепер по світу хай вона блукає.  
Хай вона до зброї всіх рабів скликає.  
Пісня ця родилась в темнім, темнім гаю...

1918

Вот такие слова... Но вы бы послушали, как я тогда декламировал. У меня даже мурашки бегали по коже от воодушевления...

Нам дали сала, огурцов и хлеба и отпустили.

Пришли на станцию. Вернее, я один пришел на станцию. Товарищ мой исчез... Его дядьки не пустили... Я и

до сих пор не знаю, где он... Было это так. Когда мы выходили, один дядька, который молча слушал мои стихи, подошел к моему товарищу, взял его за плечи и сказал:

— А ты, хлопче, останься, побалакаем...

И до сих пор балакают...

Спрашиваю на станции у телеграфистов, где красные, где петлюровцы, а мне не говорят...

Подходит поезд (пассажирский). Сажусь. Еду. Поезд — на Харьков. В Харькове с вокзала не выйти. Я ведь не штатский.

И я был вынужден прикомандироваться к Мазепинскому полку<sup>8</sup>.

В Харькове у меня дядька, слесарь Иван Локотош... Но с вокзала-то не выйдешь.

Мазепинцы отбили у карателей две цистерны горилки, и нам выдавали ежедневно почти по котелку.

Как-то нам выдали по целому котелку горилки. Мы выпили. Нас построили и повели в город. Впереди с наганами идут старшины и каждого из прохожих, у кого руки в карманах, заставляют поднимать их вверх... Приходим на какой-то завод. До сих пор не вспомню, на какой, только знаю, что шли мы к нему очень долго... Едва открыли заводские ворота, как грянули выстрелы...

Мы — назад...

Потом снова — к заводу... У нас ручные пулеметы. (Я попал в пулеметную ватагу, но был еще с винтовкой.) На заводе тихо, никого нет... Только грустные черные окна да убитый шальной пулей реалистик во дворе...

Идем дальше... Ну, понятно, котелок горилки весьма повлиял на мой «котелок». Заходим в какой-то двор. В доме в подполе много оружия и листовки с призывом к восстанию.

О мои винтовки, смазанные маслом, мои рабочие винтовки... Это же я своими руками клал вас на повозки и ел абрикосовое варенье... Только мне чудно было, что хлопцы забрали и одежду, и поросенка, и коньки... Ну, сигарки (десертные), ну, варенье... Варенье я с детства люблю. Но при чем тут панталоны и поросенок?..

Потом мы полили улицу из пулеметов и вернулись на вокзал.

Отступление.

На Новой Баварии<sup>9</sup> я встречаю броневик 3-го гайд-полка.

— А, Володька?

— А мы ж сказали твоей сестре, что тебя зарубили на Сватовой.

Между прочим, на Сватовой нас разбили левые эсеры, «сахаровцы».

Жаль, что они отбили у нас тогда вагон с обмундированием. Шинель у меня была рваная и старая... Мне как раз обещали выдать новую, а теперь жди, когда выдадут...

Я все не верю... Думаю, что это недоразумение, что мы с большевиками не воюем.

*Лозовая. Декабрь 1918 г.*

Делегация немцев едет в Москву. Мы ее пропустили. Хотели отбить у Махно Павлоград, не мы, а Павлоградский полк. А Махно пустил казаков в Павлоград, а потом как взял их в пулеметы...

Больше Павлоградский полк не ходил отбивать у Махно Павлоград.

Сотенный Глущенко взял меня и нескольких казаков из моего роя, и мы пошли на базар. Когда мы стояли на углу, к нам подошел мой бывший товарищ по сельскохозяйственной школе Гнатко. Он был в штатском, и мне как-то дико было говорить с ним о прошлом, я только сказал ему:

— Жаль, что мы встретились с тобой при таких обстоятельствах.

— Направо!

И мы беспрекословно отправились делать свое дело. Мы арестовали двух кавалеристов из Павлоградского полка. В руках они держали подметки, хромовые вытяжки и вообще все, что нужно для сапог. Когда мы вели их на станцию, к нам подскочили несколько кавалеристов из их полка. Вид у них был очень воинственный: смуглые, с черными шлыками, за поясом чингалы и кривые сабли. Ну вылитые запорожцы. Они стали кричать на нас и размахивать руками, требуя отпустить арестованных. Сотенный Глущенко хрипло прокричал:

— По бандитам — огонь...

Я вяло и робко сделал то, что требуется. Мы были готовы стрелять. Павлоградцы побледнели, поникли. Их лица враз похудели, и противно было слушать, как они, заикаясь, забормотали:

— Да што, да мы ничего... Да мы ничего... — и жалко попятиться назад.

На станции нас окружила толпа павлоградцев. Размахивая бомбами, они наседали на нас. Наши хлопцы тоже размахивали бомбами. Кричали, что быть того не может, чтоб свои да своих же расстреливали. Павлоградцев было больше, и мы отдали им арестованных.

Еще. Арестованы два еврея — студенты из Одессы. Ехали в Одессу. Настроение у них понимаете какое... Приходят пьяные казаки и бьют их табуретками по морде, а они только заслоняются руками и смотрят как кролики...

И вот им, ведь студенты же, я читаю свои стихи о Констанции, о звездах и ландышах... А они в смертельной тоске улыбаются мне, говорят, что я — поэт. Правда, я предчувствовал, что их не расстреляют, и все время утешал их. Но лезть к ним со стихами, да еще такими... Когда люди уже за гранью жизни...

Этих студентов освободили, но, разумеется, отобрали у них все деньги... И они, бедняги, сидят у стола на вокзале и не знают, что им делать. Я подошел к ним с одним из своих товарищей, и мы отдали им все деньги, которые получили за месяц службы. Они не знали, как нас благодарить, и дали нам свои визитные карточки на всякий случай... Я спрятал карточки в шапку. Но шапку потом отдал какой-то тетке на Подоле за хлеб... (а интересно было бы увидеть этих студентов).

### XXXVIII

*24 декабря. Лозовая.* Вечереет. Я вышел из вагона набрать в котелок воды. И только поднял рычаг на колонке, как вспыхнула стрельба...

Гранаты, пулеметы, винтовки...

К оружию!

Наш бронепоезд тихо отъезжает... А стрельба все не смолкает... И горит электричество... Мне ужасно досадно, что оно горит... Но какое ему до меня дело, если так захотели рабочие или махновцы. Не знаю. Уж во всяком случае, не я.

Мы отступили, потом рассыпались в цепи и начали наступление. Идем по «чугунке», а по бокам посадка... Наш сотенный спрятался в броневик, а нас — в цепи... Страшно идти мимо посадки... А прямо перед глазами залитый электрическим светом и разрывами снарядов вок-

зал. Легли... Я лишь чувствую снег левой ладонью, что под стволом винтовки... Больше ничего... Внезапно гаснет электричество, а с ним и стрельба.

Мы получили приказ охранять с броневиком Полтавский мост. Под утро пошли в обход махновцам... Был туман... И наша цепь широко охватила поле, по бокам тучами — конница... Где-то щелкнул выстрел... Переходим железнодорожное полотно, и так чудно простучали мои сапоги по рельсам... Возле будки я увидел убитого... Он лежал одиноко и грустно, на штанах у него были лампасы немецкого солдата, а в голове — дыра... Это был первый убитый, которого я увидел вблизи... Идем в тумане и по команде то останавливаемся, то снова идем... Входим в село — собственно, в предместье Лозовой... Врага нет, только трупы на дороге. Меня поразил труп дедушки в новом кожухе, привалившийся к телеграфному столбу... Люди говорили, что он шел в церковь. Его не пускали, будто чуяли... а он пошел. И странно мне было, что дедусь хотел спрятаться за телеграфным столбом от пули...

Идем к станции, кругом трупы, стон, а мы бесшабашно распоеваем:

Ой там, коло млину, ой там, коло броду...

Когда мы проходили мимо вагона музыкальной команды, капельмейстер показал нам трубу, почти расплюснутую и изрешеченную пулями.

Павлоградский полк, не приняв боя, бежал, и гайдамаки одни не удержали станцию. Махновцы спрятались в вокзале, и мы захватили в плен 18 махновцев... Они сидели в караульном помещении, и нашей сотне приказано было их расстрелять.

Мы пошли к караулке... Я подошел в числе последних. Наш сотенный Глушенко открыл двери и каждого махновца, выходившего из караулки, бил кулаком по морде и отдавал казаку, который должен был его расстрелять, приговаривая: «Вот это твой... Это твой...» А я все отступаю, отступаю, чтобы он не сказал мне: «Вот это твой...»

Наконец махновцев распределили. Это были обыкновенные сельские хлопцы. Такие же, как я... Только мы в шинелях, а они в пиджаках. Двух штатских, случайно попавших в караулку, отпустили, и они, по-жеребьячи подпрыгивая, побежали от нас... Это было утром 25 де-

кабря 1918 года. В нашем полку был поп. Мы ведем махновцев расстреливать. Подвели к церкви и выстроили в одну шеренгу у церковной ограды... Колокола зовут к молитве... Но вдруг смолкли, словно им стало стыдно...

Из хат вышли бабы, девчата... смотрят... А махновцев по двое подводят к ограде, ставят на колени спиной к нам и по команде: «По изменникам... огонь!» — косят огнем, и они, как бумажки, прибитые налетевшим ветром к дороге, без крика падают... Потом по команде их кололи штыками, да не в спину, а в бедра... Штык, конечно, застревал в кости, и казак, стараясь вытащить его, волочил тело по снегу, а затем окровавленное лезвие вытирал с гоготом о снег... Вызывались расстреливать и добровольно... А один из назначенных казаков перед залпом заплакал, перекрестился и прошептал:

— Прости меня, мать божья, это не я делаю...

Молча раздевались и молча умирали махновцы... А как они шли... Их ножки словно ветер качал... Действительно ножки... потому что это были хлопцы лет по 17. И с каждым махновцем безмолвно подходил к стенке и я, покорно становился на колени, и злобно, недружно гавкали винтовки, и эти звуки впились мне в сердце, словно пули. Я стоял и смотрел. Мне было приторно, но я не знаю, плакать или смеяться хотелось мне. Я стоял. Старшины ходили и добивали в голову... и кто оставался недобитым казаками, лишь вздрагивал, когда пуля старшины разбивала его последние надежды... Самый последний, уже пожилой, в обмундировании немецкого солдата, махновец, раздеваясь, сказал:

— Я сам был три года в плену у немцев...

Его убили не сразу. Когда его кололи, он долго, долго кричал тоненьким и далеким-далеким голосом...

А ведь все это происходило в нескольких шагах от меня...

Потом мы пошли. Сотенный 11-й сотни надел синий диагональный пиджак последнего расстрелянного... А сотенный Глушенко шел пританцовывая и напевал хрипло и радостно... Да, одного махновца, когда кололи, ударили штыком в шею... острие штыка вылезло у него из рта, и он схватился за него рукою...

Мы все еще стоим в Лозовой... Махно должен вот-вот объединиться с красными. Для меня было странным, что

некоторые казаки тащат с собой полные сундуки барахла, стараясь, чтобы его становилось еще больше... Сам я отдавал железнодорожникам все лишнее из одежды, которую мне выдавали: фуфайки, теплые штаны, белье... Вот однажды лезет в вагон казак. Сначала показался его оселедец, а потом уже женская пелерина и сорочка с пятнами крови на ней... Следом лезет второй, показывая пачку «украинок». Это — ночные грабители... А сотенный говорит:

— Делайте что хотите, только не на моих глазах... А если кто попадется, будет наказан...

Для вида даже расстреливали некоторых... Хлопцы ходили к проституткам. Я не ходил к ним. Хлопцы умывались — я не умывался. Зачем? Все равно убьют... Мне не верилось, что я вернусь домой, когда вокруг столько смертей. Часто я заходил в вокзал, вновь заполненный людьми, и гляделся в трюмо... На меня смотрело грустное, смуглое лицо казака в лохматой шапке и рваной шинели, с немецким штыком за поясом и в желтых штиблетах с немецкого офицера...

Поговаривали, что махновцы будут снова наступать и что с ними идет сам батько Махно... На вокзале росла тревога. Людей становилось все меньше. Наконец вокзал почти опустел... Один я в нем с вечной моей мечтой о Констанции... Да одинокий мастеровой с гармошкой.

И вот он заиграл... Заиграл мой любимый вальс «Пережитое», который я часто слушал у окна на нашем базаре... В кино его играли на мандолине под аккомпанемент гитары и балалайки... Иногда я слышал его на улице на гармошке, но его всегда играли неправильно, что меня очень раздражало... А этот играет идеально правильно, именно так, как я хотел.

И в море рыданий широко и безнадежно пронеслась вся моя жизнь. Я чуть не умер от боли...

Где ты, дорогой гармонист?.. Может, ты прочтешь эти строки, написанные нашей кровью.

Наутро мы отправились испытывать новую трехдюймовку для нашего броневика...

Начали стрелять... И откуда-то издали отозвался чужой залп... Махно начал бить по Лозовой, Махно наступает.

Наш броневик стал на Полтавском мосту и открыл огонь по какому-то хутору, где после каждого нашего выстрела суетливо бегали черные фигурки махновцев. Слева, неподалеку от станции, сошлись цепи наши и вражеские... Долго, долго, напряженно тревожно и нестройно лопотали винтовки, и неизвестно было, чья возьмет... Когда мы ехали на этот бой, я видел вдоль посадок наши войска. Бунчужный, молодой красивый хлопец, озорно барахтался в снегу, вроде он никакой не бунчужный, а обыкновенный мальчишка, которому так весело играть в войну...

Махновцы не выдержали и начали отходить... Сколько их побили, не знаю... Но поле все было черное от трупов.

Красная Армия была уже близко... Где-то гремела ее непобедимая поступь... Мы получили приказ оставить Лозовую...

Идем на Полтаву.

У всех надежда, что в Полтаве отдохнем. Тыл...

Но тыла нигде не было... Каждую минуту: «К оружию!..»

Мы спали в патронташах, не раздеваясь, и стоило крикнуть дежурному, как мы тут же хватали оружие и выбегали навстречу смерти.

## XXXIX

*Полтава. 5 января 1919 года.*

Мы только-только приехали. Вот, думаю, хоть раз спокойно засну. Глядь в окно, а все люди бегут с базара... Восстание...

Местные большевики восстали. Они установили пулемет на соборе, и наш броневик начал бить по собору то шрапнелью, то гранатами...

Вечереет... Звезды разрывов осыпают собор... Если после залпа звезда не вспыхивает у собора, значит, снаряд в соборе, там, где золото иконостаса, где бог, в которого я перестал верить... Ведь с нами поп, и поп молчит, что мы лупим по собору нашего бога, поп ничего не сказал и тогда, когда мы на рождество у церковной ограды расстреляли 18... Я перестал верить в бога... И на людей я стал смотреть как на бумажный сор. Особенно не уважал я и жалел штатских.



Бой длился до вечера... А вечером в наш вагон влетает сотенный Глуценко:

— Полтава наша! Слава!

Ему никто не ответил...

Только почему это — «Полтава наша», а с киевского вокзала начали бить неторопливо и грозно... Наш броневик вышел за товарную станцию. Справа лес, в лесу село или предместье... На мутном снегу чернеют казацкие цепи... Наш броневик — только по названию броневик, на самом деле это обычный пульман, стены которого выложены мешками с песком. Когда стреляешь, надо высовывать голову... Значит, если пуля, то только в голову...

Наступает регулярная (Красная) армия... Наша сотня по очереди в карауле, и мы — на броневике... К нам прислали сечевых стрелков<sup>10</sup> в касках и с пулеметами... Ждем... А в селе брешут встревоженные собаки, брешут без конца... Это... идут...

Прибежали казаки из разведки. Наткнулись на дозор «7-го советского полка...». И вот близко, близко от нас показались цепи красных. Они смело, во весь рост, шли прямо на нас...

— Огоны!

Пушка осатанело шарахнула по цепи, и меня закружило в огне боя.

Рядом строчили пулеметы, стреляли винтовки, после каждого пушечного залпа рот мой машинально подергивался... Хорунжий не прятал головы и чуть не пристрелил меня, когда я никак не мог открыть коробку с патронами... Наши пулеметы били с перебоями («засечка»), и большевистский пулемет застрочил красиво, вроде даже на какой-то мотив... Ну так певуче и красиво, что мы все рассмеялись... Я обжигал пальцы о горячее от стрельбы дуло моей винтовки...

А пули поют тоненько и приторно...

Наши винтовки бьют гулко, а большевистские — как бумажные хлопущки: пак, пак... Это обман слуха... Все винтовки стреляют одинаково...

Красные стали стрелять уже с тыла... Броневик наш отступает...

А как же те, в цепи, кто одиноко лежит на снегу, ведь броневик отступает?... Когда мы проезжали мимо водокачки, красные палили по нам уже прямо с нее... Как это они не закидали нас гранатами с моста, я и до сих пор не пойму. Ведь они были на мосту, над нашими головами.

Броневи́к подошел к станционному перрону, где стояли спокойно и важно пулеметы, а мимо них спешно, в тревоге отступала наша пехота... Слышались голоса старшин:

— Не волнуйтесь, панове казаки...

— Не волнуйтесь, панове казаки...

А казаки с сумками и винтовками за плечами уходили во тьму... Наш броневи́к остановился на мосту через Ворсклу. Мы прикрываем отступление.

Нашу сотню сменили, и я уснул в вагоне мертвым сном... Констанция мне не снилась. Вдруг, сквозь сон... пушечный залп... один и второй... Испуганно застрочил пулемет, и я под крики «К оружию!» вскочил с койки...

Слышу... едем... Стрельба смолкла...

А было вот что.

Утомленные боем часовые уснули на броневике, а красные колоннами подошли к нам и уже стали хвататься за поручни броневика. Вот тогда их случайно и увидел наш дежурный, вышедший из вагона оправиться, он и крикнул: «К оружию!»

Под нашим огнем красные отхлынули за насыпь и залегли.

Снега... ночь... поле... и грусть колес... Куда мы едем?.. Старшины нам говорят, что мы воюем за советскую власть, а крестьяне каждые пять верст взрывают нам железнодорожное полотно. В Кременчуге наш полк (2-й курень, наш 3-й) разоружил Балбачана, а газеты писали, что это сделали сечевые стрелки. Балбачан хотел нашу армию подарить Деникину.

В Кременчуге нас повели в баню... Впереди шагали бунчужный и гармонист... Они как-то смешно раскачивались в валенках... Когда мы подошли к бане, уже помылись казаки 1-го куреня (в баню все шли с оружием) и, мерно покачивая штыками, запели:

Ми гайдамаки,  
всі ми однакі..  
Ми ненавидим пута й ярмо.  
Ішли діди на муки,  
підуть і правнуки,  
ми за нарід життя своз дамо...

«За народ?..» Много еще было телят, которые думали, что мы идем за народ. Я тоже думал, что мы идем за народ... Что большевики — шовинисты. Особенно возмущало, когда нас за то, что мы говорим на своем языке, об-

зывали буржуазными лакеями. А низы нашего полка были большевистские... Потому-то он и был самым боевым из всей петлюровской армии и большевики обычно не выдерживали нашей штыковой атаки... Потому-то нас и не жаловал самый любимый полк Петлюры, Мазепинский полк... Несколько раз доходило почти до боя с мазепинцами, у которых мы срывали погоны. Потому мы и не отступали через Киев. Потому и не приезжал никогда в наш полк Петлюра, уверенно чувствовавший себя только среди мазепинцев и сечевых стрелков...

Из Кременчуга мы двинулись на бронепоезде в разведку в направлении Полтавы. Было тяжело и страшно сидеть в вагонах и ждать смерти. Ведь кругом партизаны — и каждую минуту нас могут отрезать от Кременчуга. Мы сидим в вагоне, настроение у всех жуткое. А один казак рядом со мной так жалобно и занудно матерился и ныл, что я не выдержал и сказал: «Да замолкни ты. Тут и без тебя тошно...» А он все ноет... И было противно смотреть на его искаженное страхом, потное лицо.

Бунчужные нашей и 9-й сотни были большевистскими агитаторами. Бунчужный 11-й сотни, невысокий и русоволосый, говорил: «Не ныть надо, а дело делать». Чувствовалось, что вот-вот все схватятся за оружие и начнут бить старшин. Сотенный Глущенко опередил нас. Он выхватил свою кубанскую шашку и, размахивая ею, стал орать:

— Не желаю быть за сотенного у бандитов!

Хлопцы еще не были к этому готовы, безоружные, мы кинулись от него врассыпную, но в дверях застряли. Бунчужный нашей сотни встал в дверях с винтовкой и спокойно ждал. Куренной Линеvский успокоил Глущенко, и тот его послушал. Когда мы приехали в Кременчуг, наши бунчужные исчезли: был отдан приказ арестовать их, но они, узнав об этом заранее, исчезли.

## XL

### *Знаменка. Февраль 1919 г.*

Несколько дней мы стоим в Знаменке. Нас со всех сторон окружили красные... Григорьев нам изменил, перешел на сторону красных... Его штаб на сахарном заводе... Оттуда его броневик стал бить по Знаменке. Наш курень в заставе. Цепь наша движется вперед. Лес. Ночь. Наш

броневик отвечает на далекие залпы... Григорьев бьет по путям, идущим на Цветково, хочет разбить рельсы...

Мы идем, потихоньку пересвистываясь, чтобы не потерять связь друг с другом... И вот кромешную тьму бесшумно и жутко пронзила ракета... Мы снова вышли на железнодорожное полотно. На левом фланге началась стрельба... Мы послушно упали на колени и приготовились... Стрельба как началась, так и кончилась. Оказалось, что на нашу цепь наскочила конная разведка, и во время перестрелки убит выстрелом в голову один наш казак, а у одного из конников нашей пулей сбило шапку... По этой шапке мы потом узнали, что это была разведка нашего полка...

Наутро мы должны наступать на сахарный завод, где стояли григорьевцы. Ходили слухи, что григорьевцы не готовы к бою, что они только пьют да гуляют... Мне не верилось. Я слышал грозу, которую доносил ветер из-за леса. Я слышал, что григорьевцы идут...

От будки машиниста к нам в пульман был проведен телефон.

Броневик наш смело и решительно выскочил из-за леса... У завода дымил вражеский броневик, а сбоку, словно мошкара, григорьевцы. Увидев нас, они быстро-быстро побежали назад... Пулеметчик ухватился за ручки пулемета, но он не работал...

И тут начали лупить по нам.

Снаряды, как ветер, шумели над нашими головами, и с каждой минутой мы все отчетливее понимали, что прицел берется все точнее. Мы присели... Невозможно даже голову высунуть... Ехать вперед нельзя, рельсы уже разбиты...

— Назад!

— Назад! — кричим мы все... Телефон испорчен, а броневик идет вперед, туда, где снаряды бьют прямо по рельсам, и видно, как шпалы черно, взброс летят в небо... Наконец машинист услышал команду, и броневик медленно, под ураганным огнем, стал отходить...

— В цепи!

Казак выскочили и побежали, а я сказал куренному, что плохо себя чувствую, что у меня болит живот, и остался на броневике. Я испугался...

Но мне стало стыдно перед самим собой, и я, взяв две коробки пулеметных лент, понес их к цепям... Шел я по выемке сбоку рельсов... Враг бьет... раз — по броневiku,

а три — по цепи, раз — по броневику, а пять — по цепи...

Передо мной, справа, словно чья-то гигантская рука с силой швырнула на рельсы кучу разбитого шлака... Взрыв... Я упал и чуть не сломал себе шею... Поднялся...

Но уже надо было с коробками идти, нет, бежать назад, потому что казаки и старшины с округлившимися, вытаращенными, полными ужаса глазами бежали обратно...

— Отступай!..

Угрюмо и подавленно, под огнем противника мы стали отходить. Враг бил по дыму... Хорунжий повернул пушку дулом вниз и начал стрелять по рельсам. Григорьевцы нас обходят, может, уже обошли... Они хотят отрезать нам дорогу на Цветково... И пока на станции переводили стрелку, во мне все звучали слова:

Силой прекрасной, могучею...

Силой прекрасной, могучею...

От нетерпения и страха, что мы не успеем проскочить, я не мог устоять на месте...

Стрелку перевели, и мы быстро тронулись...

Когда мы поравнялись с селом, оно находилось слева от нас, все было там черно от григорьевцев... Мы боялись, что они уже положили где-то на рельсы пироксилиновые шашки... Но броневик летит... Видно, как вышли из хат девочки. Глядят, лузгают семечки... Под огнем врага, присев в своем броневике и не отвечая на выстрелы, мы...

Проскочили...

Смотрим назад... А за нами быстро-быстро мчится состав нестроевой части. И так хочется, чтоб он проскочил. Ведь там деньги, обмундирование, раненые казаки...

Снова смотрим назад... Но мчится только паровоз, а состава нет. Григорьевцы не успели подложить пироксилин под паровоз, но под вагоны успели, а может, гранатами разбили сцепку...

Второй курень выгрузился и после нескольких атак выбил григорьевцев из села... До самого сахарного завода бежали григорьевцы... Полк весь проскочил... Только деньги григорьевцы все же отбили.

Когда казаки второго куреня после первой неудачной атаки удирали к эшелону, из одного двора выбежала бабуса и стала их ругать...

На станции Цветково или на какой-то другой ближай-

шей к ней станции наш пьяный сотенный начал стрелять прямо в толпу и ранил какого-то штатского в бедро, просто так, ни за что.

В Христиновке в стороне от нас шла стрельба с броневиков, но мы в бою не участвовали.

Через Жмеринку мы проскочили под видом эшелона сыпнотифозных (на вагонах мелом было написано: «Сыпной тиф»), хотя ни одного больного тифом у нас не было. Мы смеялись, играли в карты и пили спирт, разводя его водой.

Пьяный коптер дает мне кружку спирта. Я спрашиваю:

— Разведен?

— Разведен, разведен...

А в кружке-то не видно. Я залпом выпил, и как внутри все загорится... будто кто-то начал рвать множеством раскаленных железных когтей желудок и кишки... Я проходил когда-то в сельскохозяйственной школе (на ст. Яма): если купоросное масло или азотную кислоту разводить водой, то сила их слабеет. Я быстро стал пить воду, много воды. Полегчало.

Каким бы пьяным я ни был, я всегда оставался тихим, смирным, только плакал украдкой по своему селу и Констанции... И мне было неприятно, когда пьяные казаки начинали разоряться, драться и орать так, что их приходилось связывать.

## XLI

*Проскуров. 15 февраля 1919 года.*

Вечер. Старшины сказали, чтобы мы не раздевались и были наготове. Нас хотят разоружить.

И пасмурным утром, когда закричали: «К оружию», — я в башмаках на босу ногу выбежал последним. Туман. С правой стороны перед нами — пивной завод. Напротив в низине залег враг. Это восстал против нас за власть Советов наш 15 белгородский конный полк.

На правом фланге началась стрельба... В деле — пулеметы, орудия, гранатометы...

Мы еще не получили приказа стрелять... Мне не страшно, но только все напряжено, мои нервы натянуты до отказа, как струны на гитаре... Уже и не нужно, а кто-то их все подтягивает и подтягивает... И кажется, меня вот-вот разорвет...

И вот мы открыли огонь... Пулемет рядом со мной строчил так яростно, что аж лента выскакивала из коробки. Кто-то из наших стал бросать гранаты...

— В атаку!

Когда мы добежали до вражеских позиций, там не оказалось никого, лежали только трупы казаков...

Один из них, к которому я подбежал, был еще жив. Рядом с его головой чернела воронка от разрыва гранаты... Из головы текла кровь, с губ слетели слова:

— Не убивайте... я ж такой, как и вы...

Это были казаки, украинцы, наши...

Старшины агитировали большевиков-украинцев не воевать против нас, ведь мы говорим на одном языке и мать у нас одна — Украина...

Большевики не слушали их и били нас в хвост и в гриву, пародируя слова нашего гимна (мотив которого, кстати, на фоне кошмарного отступления казался мне действительно похоронным):

— Ще не вмерла Україна, а тільки смердить...

И стали приводить к нам казаков из необученной части белгородского полка, захваченных на станции, которые никакого отношения к восстанию не имели, и расстреливали за моей спиной...

Белгородские казаки все были в полушубках. Их раздевали до белья и по приказу куренного Коломийца расстреливали. Командиром полка был тогда Маслов.

Расстреливали добровольцы. Они брали у расстрелянных не только одежду, но и часы, ножички... Один сказал: «За что вы нас расстреливаете? Мы ведь такие же, как и вы...»

А второй, когда его раздели и сказали: «Беги!» — перекрестился и закричал: «Спаси меня, мать божья!..»

— Спасет, мать е... — ответил гайдамака и выстрелил в затылок казаку.

Мне было неприятно смотреть, как пулей сносит почти полголовы. Это так незстетично... Ну ладно была бы просто дырочка, как от японской пули. Японцы культурнее нас... А то лежит расстрелянный на снегу, а голова его, как ломоть арбуза, странно вгрузает в снег...

Мимо меня повели расстреливать кавалериста. Он в длинной шинели невозмутимо и задумчиво шел на смерть, и только шпоры его одиноко позванивали...

Мы идем дальше. Наступаем на белгородские казармы...

Залегли в цепь. Позиция плохая. Вокруг лишь чистое поле.

Позади меня лежат расстрелянные, и я все отодвигаюсь в сторонку, чтоб не лежать напротив расстрелянного.

Да. Когда мы смяли цепь белгородцев, был еще туман, и за углом заводского забора показался казак с винтовкой и в полушубке. Мы думали, что это наш, и зовем его к себе, машем руками... А он робко и нерешительно остановился, потом побрел к нам. Дозорные подошли к нему. Он покорно отдал им винтовку. Они его раздели и расстреляли...

Ах! А я ж махал ему рукой...

Лежим.

И вот прямо на нас быстро мчится туча... черная и грозная.

Конница.

Враг наступает...

На левом фланге, у кургана, стоит полковник и командует:

— Прицел двадцать чety-ы-ы-ри...

И когда левая рука моя тянется к прицельной рамке... «Беги!» — кричит мое тело... Но все лежат, не убегают, и я вжимаюсь, прикипаю к снегу, вытянув готовые к стрельбе руки...

Это пушечный дивизион врага переходил на нашу сторону. Они поставили на путях позади нас батарею и стали бить по казармам... Но первые два раза — видимо, по ошибке — ударили по нашим цепям. Гильза от снаряда едва не сделала меня безногим...

Наступаем...

Так же, как и в Лозовой...

Только перед нами с распахнутыми окнами грозно молчат казармы. Мы идем... В трех шагах следом за нами с карабинами в руках идут старшины...

Нервы мои больше не напряжены, они как струны на расстроенной балалайке, все во мне сникло, мне страшно. Ведь позиция ужасная, казармы над нами... Думаем, это нас подпускают поближе... Странно, почему враг так спокоен... Но мы идем.

Потом с криками «Слава!» бежим в атаку на... уже покинутые казармы.

Во дворе — лишь выстроенные в одну шеренгу те, кто остался сдавать оружие.



Если бы не саботаж старшин, белгородцы бы разбили нас. Все произошло с молниеносной быстротой. За стенами залпы по расстреливаемым, казаки выносят из казарм оружие, а белгородский старшина стоит у дерева, ковыряет носком хромового сапога снег и, изображая спокойствие, задумчиво смотрит на нас. Правда, его никто не тронул.

Из боевых трофеев я взял только русско-украинский словарь Курило. Носков мне не досталось. Старшины говорили, что это евреи сагитировали белгородцев. Говорили, что казаки первого куреня поклялись у знамени денег не брать, а только резать. Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую... голытьбу. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали. Был один казак, который знал еврейский язык. Он подходил с товарищами к закрытым дверям и обращался к перепуганным жителям по-еврейски. Гму открывали...

Одной гимназистке воткнул между ног штык...

А расстреливали так: стреляют, но чтобы не насмерть, дадут залп и бегут наперегонки к еще живым людям и хватают то, что перед залпом каждый наметил себе из одежды на своей жертве...

Один старый еврей перед залпом сказал:

— Вы меня убьете, а из моего пупа выйдет пять мстителей. Стреляйте мне в глаз, а не в пуп...

Грянул залп, и еврей, почти перерезанный пулями пополам, упал...

Все казаки целились ему в живот...

Когда вели толпу пленных белгородцев и штатских на расстрел, я видел, как возле конвойных бегал, крича и ломая руки, наш кавалерист. Его стенания разрывали мне душу. На глазах конвойных дрожали слезы.

Это был кавалерист нашего полка, а среди тех, кого вели на расстрел, находился его родной брат... Старшины были неумолимыми. Я долго смотрел вслед этой толпе смертников, на несчастную фигуру кавалериста, который, плача, бежал за ними...

Я снял лохматую гайдамацкую шапку, залитую кровью украинской и еврейской голытьбы, надел французскую каску и стал санитаром...

Утром окровавленные стены словно все еще гудели криком «Русский?» и собаки лихорадочно и жадно долизывали кровь на тротуарах... Мы расположились в белго-

родских казармах. На кухне на черных досках еще сохранились записи мелом о продуктах, о их количестве. Главный врач полкового околотка не взял бы меня из строевой части, но я стал читать ему свои русские (я писал по-русски) стихи, и он взял меня.

Город вот-вот восстанет... Объявлена мобилизация. Казаки отправились за мобилизованными по селам. Оттуда шли. А рабочие держались на улице группками. И я видел и слышал, как комендант города (инициатор погрома), глядя на них, покусывал свои длинные усы и злобно хрипел:

— То-ва-р-ри-щи...

Город вот-вот восстанет... Селяне ждут, что с ними поступят так же, как в Проскурове, где вырезали пять тысяч евреев (я узнал только теперь от т. Фельдмана<sup>11</sup>, что шестьсот. Он грустно сказал мне: «Дело не в количестве...»).

Пошли слухи, что регулярная армия красных наступает вся на лошадях и с ручными пулеметами у каждого красноармейца.

## XLII

*Март 1919 года.*

Наконец выступаем на фронт. Бои идут под Христиновкой. В Жмеринке я стоял в каске, с красным крестом на правом рукаве, с грустью смотрел и махал рукой казакам моего куреня, которые мчались мимо меня в гремящих вагонах, убранных сосной, на которых было написано мелом: «Смерть тем, кто разоряет нашу неньку Украину».

Мне было страшно за них и стыдно за себя.

Трус. Будто крестом можно заслониться от смерти?..

Неподалеку от Христиновки на какой-то станции мы остановились...

Вечереет. Ветер жутко гнет яворы станционного сквера, сквозь них проглядывает желтая, как лицо расстрелянного, луна... А дальше в вечернем сумраке видно, как проходит дуэль нашего и красного броневиков. Они решительно остановились друг против друга и в упор бьют залпами на залп.

На следующий день я ходил в сарай посмотреть на убитых из нашего броневика... Головы почти у всех ото-

рваны. Трупы беспорядочно лежали на гнилой соломе. Раздетые... Их было пятеро.

Из красного броневика снаряд попал прямо в дуло пушки нашего... и результат я видел в сарае... Лишь одного, стоявшего у пушки как и остальные, даже не контузило. Хлопцы говорили, что он тихий, смиренный и делает только то, что ему приказывают, а эти, убитые, были живодерами, перед расстрелом всегда мордовали пленных.

Под ногами грязь, сквозь завесу весеннего дождя я видел, как наши колонны натужно, словно против ветра, шли в наступление...

На перроне я видел двух еврейских мальчиков, исколотых штыками... Они еще возились в крови... Говорили, что это шпионы.

Казачи пошли в атаку на красный броневик и на платформе захватили в плен немцев — орудийную прислугу. Их привели на станцию и пустили в расход... Я видел труп одного из немцев, еще не зарытого дядьками, у забора...

Христиновку мы взять не смогли.

Матросы «7-го совполка» с криками «Буржуазные лакеи!» оттеснили нас от станции.

Отступаем. А Жмеринку уже захватили повстанцы. Одного казака разорвало на куски его же собственной гранатой. Она была немецкая. Рукоятка без крышки, и шнурок зацепился за плетень, когда казак через него перепрыгивал, догоняя дядек, и его хоронили. Мне было гадко. От злости на его скупость и зловредность (колбасу пожарит и сам съест, попросишь — не дает. А на дурняк всегда у нас ел. Он мне показывал карточку своей жены) я представлял, как его толстая, налитая кровью морда разлетится от взрыва гранаты. Так оно и вышло.

Отступление на Жмеринку отрезано, и мы выступаем через Вапнярку на Одессу. Совет старшин и казаков нашего корпуса (отдельный запорожский) написал воззвание к большевикам о том, что мы тоже большевики, но украинцы, и что воевать нам не из-за чего, потому что мы — братья. Красные прислали к нам делегацию. В ней был казак нашего полка, захваченный в плен красными, когда мы сдавали Полтаву. Его захватили на бронеике. Он был с оселедцем и в широченных красных шароварах. Как редкостный и комичный экземпляр красные его не расстреляли, ограничились тем, что провели пе-

ред строем, и каждый от души дернул его за оселедец.

Я был счастлив, я ликовал. Я не знал, что мы и не думаем переходить на сторону красных. Когда я радостно, взволнованно сказал есаулу полка, что мы переходим к красным, из его сузившихся, как маковые зернышки, зрачков на меня глянула сама смерть... Красные не дураки, сразу же раскусили нас, и под их ударами мы стали панически отступать к Вапнярке.

Я еще раз увидел того красивого хлопца, героя бунчужного, который на Лозовой перед боем с махновцами так радостно и самозабвенно барахтался в снегу. Его принесли в наш вагон. Снарядом у него была вырвана почти вся ляжка, немного задет бок и перебиты рука и ключица. Когда ему делали перевязку, он только кусал руку и молчал, а потом спокойно попросил у врача закурить.

Меня с летучкой раненых и тифозных казаков командируют в санпоезд Отдельного Запорожского полка.

Вагон второго класса. Уже под Раздельной нас окружили красные повстанцы.

Сестра милосердия перевязала пулевую рану на руке у старшины. Этот старшина бежал из-под расстрела. Он был в селе, и повстанец повел его расстреливать в овраг. У повстанца было австрийское ружье, и по тому, как повстанец возится за его спиной с затвором, старшина понял, что тот не умеет стрелять, и побежал...

Пуля угодила ему выше локтя... Бинт алел от крови, и задыхающийся голос старшины врезался в мою память...

Голос — с того света...

Вечер... Повстанцы все ближе... Кругом стрельба...

Я пошел в купе сестры милосердия... У нее были глаза индианки, ее лицо было смертельно бледное.

Я стал читать ей свои стихи.

Она спросила меня:

— Ты не болен?

Я ответил:

— Не знаю.

Она оглядела меня и отдалась мне... В окна заглядывала смерть.

Повстанцев отогнали.

На станцию Раздельная прибежали несколько старых гайдамаков из моего куреня. По инициативе бунчужного Натруса наш курень и 4-й где-то под Вапняркой перешли на сторону красных. Они разоружили старых гайдамаков

и старшин и арестовали их. Кое-кому удалось бежать.

Одесса была захвачена красными, поэтому из Раздельной мы повернули на Тирасполь. Когда мы находились еще в Берзуле, я видел на перроне греческого офицера, который, напыжившись, ходил по перрону и поглядывал на нас как на что-то не стоящее внимания. Их броневик готовился к бою с григорьевцами в Голте.

В Раздельной стояли румыны. Но они удрали, когда фронт стал с обеих сторон (от Одессы и Берзули) приближаться к Раздельной.

Мы в Тирасполе. Вино и мамалыга.

Я пошел поглазеть на французов, которые раскинулись бивуаком неподалеку от города. Они были чистые, румяные и синенькие. Невозмутимо смотрели на нас эти розовые и гигиеничные дети. Они были такие спокойные...

А мы?

Я при санпоезде. Мне дали два вагона тифозных, и сам я заболел тифом.

Меня, как собаку, швырнули на вагонную полку. У меня высокая температура, а санитар целует меня, плачет пьяными слезами и дает соленой колбасы... Я вышел из вагона... Идет главный врач санпоезда:

— Ты почему вышел из вагона?

— А что же меня бросили, как собаку, без всякой помощи? Пока здоров, так и нужен...

— Иди ложись в вагоне.

— Не пойду. Вы положите меня в мягкий вагон.

— Ступай. Не то шомполов отведаешь.

— Не забывайте, что я из гайдамацкого полка...

— А... вон ты как? Ну, я с тобой расквитаться.

Рядом стоит штабной эшелон, и старшины в новеньких галифе, разгуливая у поблескивающих вагонов, кричат в нашу сторону:

— Гоните их в шею!

Я пошел в вагон и лег.

К румынскому королю поехала делегация просить, чтобы нас пропустили в Румынию... Неподалеку — стрельба. Горят подожженные казаками эшелоны...

Наконец едем через мост на Бендеры... Из окон выглядывать запрещено. За невыполнение приказа — расстрел.

В Кишиневе мы долго стояли на станции.

От высокой температуры я говорю тоненьким, жалобным голосом. А перед глазами все плывут какие-то желтые цветы и Констанция... А сестра милосердия вместо того, чтобы подать мне воды или повести в уборную, кокетничает со старшинами-черношлычниками и не обращает внимания на мои слезы и укоры...

И вот за нами приехали автомобили, и меня повезли в городскую больницу...

В бреду мне все мерещилось, будто красные входят в больницу и колют меня штыками в грудь. Кровь моя фонтаном бьет в потолок, а я кричу им, что после октябрьского переворота я был сотрудником газеты «Голос труда» Лисического Совета рабочих и крестьянских депутатов и декламировал им свое стихотворение: «Руку, товарищи, и в бой беспощадный...» Но они не слушают и все колют меня в грудь...

Однажды (то был кризис) сестра послушала мой пульс да как побежит от меня. Быстро вернулась и вприснула мне в грудь у сердца камфару. Я очень мечтал о той минуте, когда с наслаждением буду пить воду. Пока что вода казалась мне ужасно противной. Когда я начал поправляться, я подошел к старшине, у которого было много грецких орехов, и попросил несколько штук. Но старшина не дал мне орехов.

После тифа вместе с выздоровевшими я еду последним эшелоном через Буковину в Галицию.

А румыны... У их конников на постолах шпоры, старшины бьют их по морде, а они только покорно подставляют свои смуглые физиономии, а потом молча утирают юшку из носа. Уж больно покорные эти цыгане. Их старшины — феодальные дядьки: пудрятя и затягиваются в корсеты. Рассказывают по перрону с блестящими стеклами. Нас не отпускают от эшелона даже купить мамалыги. Одного нашего старшину, который пошел купить мамалыги, румынский часовой прикладом пригнал назад. Я радуюсь, что хоть здесь мы равны. Ведь еще в Проскурове была офицерская столовая, и вообще наши старшины были весьма привилегированными. А казаки — это что-то низшее, бессловесное. Да и не очень-то разговоришься — после проскуровского погрома полковник Маслов сказал казакам:

— Даю вам право стрелять в тех, кто станет агитировать за большевиков.

И вообще, что сказал пан сотник — это закон, казаки

же не имели права высказывать свои мысли. Только думали про себя да помалкивали.

После тифа я ходил словно мертвец. Ноги у меня налились свинцом, с трудом даже через рельсы перешагивал, а под вагонами я мог пролезть только на четвереньках. Сил не было держать туловище согнутым.

Дядьки на Буковине летом ходят в кожухах, забитые и покорные. Сбоку, на горе, я видел Черновцы и чудесный железнодорожный мост. Издали он казался таким легким и прекрасным.

Залещики, Тернополь.

Ставили пьесу «Бурлака» с участием Садовского. После Садовского еще никто из артистов так властно не захватывал меня. Галицкие крестьяне ждут большевиков, которые должны дать им землю. Галиция промелькнула как-то грустно, печально...

Только часовни, униатские церкви и приветствие:

— Слава Иисусу.

— Навеки слава.

Я выхожу в поле и пою:

Повій, вітре, з України,  
де покинув я дівчину...

Наступаем через Волинь, через Черный остров на Проскуров. Когда мы снова вошли в Проскуров, на дороге, у белгородских казарм, я увидел труп мадьяра... Одиноко синел он в грязи на дороге... Кажется, на нем были погоны, и один оторван. Почему они кажутся мне такими родными?.. Может, потому, что по матери я мадьяр? Мы дошли до Деражни, а дальше... грехи не пускают... Только налетами овладеваем Жмеринкой. Славится Запорожская Сечь с баткой-божком во главе. Это романтические и глупые фигуры.

Когда их, хорошо одетых, бросили в бой, была роса, и они, чтобы не испачкаться, не пожелали лечь на землю... Много их покосили тогда пулеметы красных.

Пушки тупо, монотонно и все из одного места бьют по железнодорожной линии на Старо-Константинов и Деражню... Это две самые крайние точки, до которых наши сумели основательно продвинуться.

Когда взяли Деражню, казаки окружили у эшелона отставшего мадьяра, заметив их, он схватил гранату, снял с нее кольцо и прижал к щеке... Ему оторвало голову...

Мы все кружили между Деражней и Проскуровом...

Главный врач Акулов был такой: когда красные отступают, он за Украину, когда же мы, он — большевик. А фельдшер Чепурный всегда оставался красным, независимо от того, наступают они или же отступают. Он вдохновенно рисовал мне героизм красных, которых окружили фронтами, а они всех бьют. Он доказывал мне с цифрами в руках, что по сравнению с рабочим крестьянин — мелкий буржуа.

А главный врач, получавший денег больше всех, говорил, что каждый должен стоять сам за себя. Он был очень скуп. Только со мной не скупился, потому что я часто читал ему свои стихи, и ему очень нравилось меня слушать. С нами был и поп. Неприятный, мелочный человек. Когда раздавали хлеб (а давали нам его очень мало), он норовил отрезать себе побольше. Когда же красные приближались, он хватал свой чемодан, заполошенно бежал по хате и кричал:

— Да куда ж его? Ой, боже ж мой! Да куда ж его?..

Врач Акулов относился ко мне хорошо еще и потому, что я выходец из рабочих. Несколько раз мы всем околотком хотели перейти к красным.

Отступаем на Каменец на Подоле. Лето. Наш обоз продвигается медленно. Вдруг низко над землей появляется самолет — и от него отделяется что-то блестящее. Все — врассыпную.

Я же бегу прямо на этот блеск, ведь он бумажный. Радостный, несусь по хлебам, через заболоченный овражек...

Листовки...

Я схватил две. И пока подбежали хлопцы, которые уже все поняли, я успел прочитать.

Одна оказалась воззванием: «Все в Красную Армию», а вторая: «Приказ рабоче-крестьянской Украины по петлюровской армии». В ней было написано приблизительно так: «Сдавайтесь. Вы окружены. Переходите группами с белыми флагами. Мы знаем, что вы обмануты Петлюрой. Если же вы станете защищаться с оружием в руках до конца, то никому из вас пощады не будет».

Подписей не помню.

Отступаем на Каменец.

В газетах часто писали про старшин, которые с большими деньгами убегали за границу. Наш полковник Винogradов тоже хотел с большими деньгами сбежать за



границу. Но казаки арестовали его и расстреляли. Это было так.

По раскисшей дороге два казака вели нашего полковника. Он, словно это его не касалось, шел впереди конвойных с руками в карманах и задумчиво склоненной головой. Он был кубанцем, и очень боевым. Он любил издеваться над красными. Один казак из конвоиров тихо навел карабин на затылок полковника... И не стало Виноградова... Только шапка подпрыгнула вверх и упала, полная крови, на мертвое тело. А две бабы, проходившие мимо, с перепугу сели прямо в грязь.

Большевикам осталось лишь прикрыть отдушину между Смотричем и Каменцем, и нам — крышка. Как вдруг в эту отдушину хлынула галичанская армия, изгнанная из Галиции поляками. Они перешли Збруч, и, когда наши в панике бежали назад, послышалось «Стой!», и в наши цепи синими фигурками влились галичане...

Красные подумали, что это немцы, и стали беспорядочно отступать.

## XLIII

Что пан сотник скажет, то для казака закон. Казаки — телята. Я думал, когда стану паном сотником, казаки будут слушать меня. И я перейду к красным со своей сотней.

По полкам был разослан приказ о том, что национально сознательных казаков с образованием выше четырех классов гимназии направлять в Житомирскую юнацкую школу, которая тогда находилась в Смотриче.

Есаул полка долго не хотел давать мне командировку, но я его упросил.

Конечно, если бы в школе были экзамены, то я бы провалился, но мне поверили на слово, и я стал «будущим старшиной». Случилось это в июне 1919 года. Мы стояли в Смотриче.

Когда проходила мобилизация, меня поставили на мосту проверять документы у селян. Я ни у кого документов не проверял. Все проходили мимо, а я стоял и мечтал о Констанции... Одному дядьке, хотя и знал, что он будет стрелять в нас, а не «в ворон на огороде», как он говорил, я дал обойму патронов. За это он обещал мне принести хлеба, но хлеба не принес. Обманул меня.

Когда мы вместе с деникинцами взяли Киев, было пышное празднование. Нас выстроили на площади, и наш сотенный Зубок-Мокиевский, говоривший с русским акцентом, заявил нам неискренне-притворно, что в Киеве кацапов не осталось. Кацапами он считал большевиков. Кем же тогда, по его мнению, были деникинцы, которые вместе с нами вошли в Киев?..

Этот Зубок-Мокиевский был знатоком своего дела. С помощью цифр он доказывал нам, что войн на планете становится все больше. Он был поэтом милитаризма.

Форма у нас была такая. Желтые сапоги, синие галифе с белыми тоненькими кантами, френчи защитного цвета с наплечниками (обыкновенные погоны «в зародыше») и фуражки немецко-польского образца с тупыми козырьками. У старшин все было такое же, только лампасы на галифе широкие, серебряные знаки отличия на рукавах, серебряные воротники и такие же хлястики на фуражках.

Военный устав, утвержденный Симоном Петлюрой, был просто переводом с немецкого.

Зубок-Мокиевский говорил нам, что армия должна лишь воевать или готовиться к войне, а политика не ее дело. Армия должна быть аполитичной и по военной технике быть армией европейской. В Смотриче юнаки (еще до моего поступления в школу) подавили погром, учиненный нашим конным полком (забыл его название). Было расстреляно 25 кавалеристов. Евреи целовали юнакам руки.

Да. Еще в санпоезде читаю я русскую книжку. Ко мне подходит старшина и говорит: «Почему вы читаете кацапскую книжку? Ведь мы с кацапами воюем».

Я ему ничего не ответил. Не мог же я сказать, что мне просто нечего читать, а книжка интересная. Его не проведешь.

«Учітєся, брати мої, думайте, читайте. І чужому научайтєся, і свого не цурайтєся»<sup>12</sup>.

В азарте борьбы он даже и это забыл. Но со старшиной не спорят.

А Зубок-Мокиевский на учениях, когда можно было отдохнуть и перекурить, говорил нам:

— Спа-а-ачить.

— Можно па-а-лить.

И говорил не «прóшу», а «прóше». Словом, польско-руско-украинская мешанина. Сам он граф. Как-то к нам

приехал начальник школы Вержбицкий. Он картинно и монументально восседал на норовистом коне. И наши сотни под музыку проходили мимо него и на его приветствия и похвалы отвечали:

— Слава Украине!

Наша сотня не в лад (не в такт шагу) ответила «Слава Украине», и Зубок-Мокиевский погнал нас бегом на гору. Он бежал рядом с нами и хрипло кричал: «Загоню, сукины сыны...» (Вишь, когда волнуется, говорит по-русски...) Но ведь и он бежал вместе с нами. Он уже в годах, а мы молодые, полные сил хлопцы (кормили нас хорошо — правда, мало, но мы еще пекли и ели кукурузу). Ясно, что он запыхался раньше нас. Команда:

— Шагом! — И мы, посмеиваясь в душе, вытянувшись в струнку, идем по полям Подолья.

Нас воспитывали декоративно.

Мы постояли еще в Цивковцах, в имении Римского-Корсакова. А осенью двинулись на Каменец.

У меня в этот день, как назло, появился чирей под коленом и очень больно было сгибать ногу. Я положил винтовку на дроги и хотел ехать на них. Но Зубок-Мокиевский, узнав об этом, запретил, отправил меня в строй.

Я шел семь верст и только к Каменцу расхотелся.

Нас разместили в духовной семинарии.

Мы ходили в караул к «высокой директории».

Юнаки очень любили козырять, отдавать честь. Делали даже так. Старшины, которым надо отдавать честь, встречались редко, так юнаки в воскресенье отправлялись в парк и группами ходили, козыряя друг дружке. Будто встречались случайно.

Меня, как недисциплинированного, не ставили у кабинета Петлюры, ставили у него в саду. Была осень, и я «хорошо» стерег Петлюру: залезу в соседний сад да и ем себе груши. Они холодные, вкусные. Я дошел почти до безумия — хотел заколоть этого «украинского Гарибальди», как писали о нем итальянские газеты. Петлюра в профиль очень походил на Раковского.

Когда мы проходили по городу, украинская интеллигенция кричала нам «слава» и осыпала цветами наши стройные, словно из меди кованные, ряды. А Зубок-Мокиевский, если никого из панночек нет, молча идет рядом. Но как только увидит панночек, начинает командовать:

— Головки выше!

— Руки...

— Штыки...

Однажды наш караул подкрепили галицийской жандармерией (охрана республиканского строя), и вот я стою ночью на одной стороне улицы, а галичанин — на другой. Я завел с ним разговор о политике, и мы сошли со своих мест, собственно, это галичанин подошел ко мне. А ведь на посту разговаривать запрещено.

Вдруг слышу из кустов голос Зубка-Мокиевского (он был тогда караульным старшиной):

— А это что такое?..

Подбегает ко мне и кричит, топая ногами, что я не юнак, а баба и что он меня откомандирует обратно в мой полк. Для каждого юнака это было крахом карьеры, а для меня — концом моей волшебной мечты. Я спокойно ответил:

— Пан сотник, вы меня еще не знаете.

Наутро Зубок-Мокиевский шутил со мной и не напоминал о моем полке.

Однажды я увидел в кино Констанцию. Только у Констанции глаза голубые, а у этой черные. Как я умоляюще ни смотрел на нее, она не обращала на меня внимания, глядя куда-то в сторону...

Я стоял в карауле у военного начальника и увидел махновцев, которых отдал нам с обозами Махно. Они были в лохматых шапках. Я разговорился с ними, и когда они узнали, кто я, сказали мне:

— Какого ж черта ты сюда попал? Твое место у батьки Махно.

Они говорили, что воюют «за хлеб и волю».

Однажды сидим мы босые. Сапоги разбили на муштре. Была уже осень. Ждем сапог. К нам пришел Петлюра. Я видел его вблизи. Он сел на подоконник, расспрашивал нас про нашу жизнь и шутил с нами.

В официозе директории<sup>13</sup> «Украина» печатались стихи Стаха<sup>14</sup> (Черкасенко) и Олены Журлывой<sup>15</sup>. Я ужасно завидовал Олене Журлывой, ведь я сколько ни приносил стихов Владимиру Самийленко<sup>16</sup>, он засовывал их в карман и «забывал». Вот хитрый дед. Чтобы не обидеть меня отказом, прятался за свою рассеянность.

Первым поэтом, с которым я познакомился, был В. Самийленко.

Мне было очень приятно прикуривать папиросу от его трубки... Я прямо-таки дрожал от наслаждения. Ведь прикуриваю от трубки великого поэта...

Вот начало одного стихотворения, которое Самийленко «забыл» напечатать:

Червоний прапор в горі сміється,  
І трупи покотом лежать...  
Співають кулі, і серце б'ється...  
Не можу встать, не можу встать...

1919

В школе галицийские профессора и старшины воспитывали нас в сугубо националистическом духе.

В школе я написал на русском языке поэму «1918 год», которую посвятил товарищу Ленину. Эту поэму я читал юнакам. Один юнак сказал:

— И правда. Они нас за это и бьют...

Помню конец этой поэмы:

...Холодный звон минут... нарву я черных лилий,  
из них сплету венок для нашего вождя.  
Целует щеки мне холодный воздух синий,  
и поезда бегут, сверкая и гудя...

1919

Галичане перешли к белым... Наша армия стала таять, как воск. Казаки массами начали переходить к белым. Ведь наш комсостав был из русских офицеров, которые, удрав от большевиков, засели в штабах и только и умели пьянствовать, щеголять в своих галифе и «получать кошты»... Об умиравших за них казаках они под звон бокалов и поцелуи проституток говорили:

— Пусть воюют, этого навоза на наш век хватит.

*Ноябрь 1919 года.*

Наступает армия Слащова. Все панически бегут. Офицерский броневик, первым подошедший к Жмеринке, галичане встречают музыкой.

Сражается только шестая Отдельная Запорожская дивизия, в состав которой входит и 3-й гайдамацкий полк. И вот нас, 800 юнаков, Петлюра бросает на оборо-

ну подступов к Проскурову, а сам удирает в Польшу.

Когда мы выступали, дул ураганный ветер. Мы идем на фронт, а поляки занимают Каменец. Мы — в новой части города, а они уже в старой. Едва не дошло до боя с поляками. Юнаки выставили заставу, и я стоял в дозоре... Темень, ветер...

Польские солдаты высадили из автомобиля наших министров Швеца и Макаренко. Автомобиль отобрали, и наши министры по грязи пришли на вокзал.

И тогда тоже едва не дошло до боя.

Нас погрузили в эшелон. В Проскурове всем нам выдали длинные кожаные куртки с воротниками до плеч. В куртке — не в шинели: тепло. В Проскурове я встретил товарища из бывшего своего 3-го гайдамацкого полка. Они напоили меня «николаевкой» — и я пьяный еду на фронт.

Вгрузили нас в Богдановцах. Сидим на станции... Вдруг — ббамм!

Стрелочник испугался и с криками: «Ой пропал, пропал!» — бросился от нас наутек... Его поймали, спустили до колен штаны, положили на живот, и юнак из гайдамаков спокойно и деловито стал его шомполовать...

Мне противно было слышать мягкие удары шомпола и стоны железнодорожника.

Зубок-Мокиевский кричит:

— Первая сотня, вперед!

Я был в первой сотне.

Рассыпались в цепи и стали наступать вдоль железнодорожного полотна.

Броневи́к «Коршун» отступает и бьет по нам. Идем через леса, овраги, снега... А он все бьет...

Еще в Дунаевцах я набрал полную сумку сахара. Эта сумка все съезжает вперед, бьет по ногам и мешает идти, а я все сдвигаю ее обратно, за спину... Броневи́к стреляет.

Я в дозоре... Ветер, и кругом смерть...

Идем. Спускаемся по косогору мимо села Богдановцы... На снегу множество следов сапог и дорожка от пулемета.

Старшины говорят нам:

— Не волнуйтесь, их мало...

Сзади нас идут два наших броневи́ка «Месть» и «Вольная Украина». Они бьют так бестолково, что иногда попадают не по «Коршуну», а по нашей колонне.

И вот вышли мы на замерзшее болото, что между Коржевцами и селом Богдановцы. Летом болото это было непроходимым, и мы перестреливались с большевиками через него из пушек.

Позиция жуткая. Лес и кое-где кустики камыша... В лесу была батарея белых, и когда мы подошли к линии ее огня, она и «Коршун» стали обстреливать нас... У нас только винтовки.

Это броневик «1-го офицерского Симферопольского полка» открыл огонь по нас. Бьет по водокачке.

Артиллерийское отделение еще где-то на подходе, спешенные кавалеристы — тоже. Даже пулеметов у нас нет. Наша сотня — тридцать три человека.

Между прочим, те юнаки, которые считались самыми дисциплинированными, строили из себя героев, распинались за неньку Украину и пели патриотические песни, почти все дезертировали или заболели животами.

Да! Школа наша стала называться не «Житомирская юнацкая», а «Общая войсковая». У нас было четыре отделения: пешее (где я), конное, пушечное и техническое.

Мы разбежались на тридцать шагов и залегли...

У врага то недолет, то перелет... Вилка... Мне все кажется, что каждый снаряд летит на меня... Голова холодная, а сердце бьется быстро-быстро.

«Перебежка вправо! Занять село Коржевцы!..» И вот под ураганным огнем врага началась перебежка...

Где-то далеко справа от меня поднялся крайний юнак и, согнувшись, побежал. Под сплошным огнем он пробежал тридцать шагов и лег...

По цепи словно бродит великан без туловища... Одни жуткие черные ноги... Это столбы разрывов...

Бежит второй, третий... Вечереет... Огонь достиг такой силы, что мы не выдержали и все побежали вправо, на село Коржевцы. Я бегу и оглядываюсь назад... И вот в юнака, который бежал последним, угодил снаряд... Юнак исчез в черном дыме разрыва.

Нас осталось тридцать два.

Мы заняли монастырь. Выставили заставу и на колокольне поставили часовых. Все юнаки в трапезной. Винтовки поставили в угол. Варят галушки... Я пошел к мона-

ху в келью. Отдал ему почти весь свой сахар, а он мне — курятины... Пьем с ним чай. Я говорю ему:

— Как у вас здесь тихо и бело. Хочется бросить все и остаться у вас. Мне все это так надоело!..

Вдруг вбегает перепуганный монах.

— Ваши все арестованы... Пришли люди с белыми повязками на шапках...

Во мне все похолодело и, словно живое, поползло от груди вниз. Внутри стало пусто и холодно.

Конец. Больше не увижу я ни Констанции, ни крикеньких плетней Третьей Роты, ни старой церкви.

Мой монах хочет влезть под кровать. А я говорю ему, что штык или пуля найдут его и под кроватью. Но он не слушает и лезет...

Открывается дверь, и входит деникинец. Он в студенческой шинели и фуражке с белой лентой.

Я без тулупа в шинели стою.

— Ваше оружие.

— Прошу.

Я отдал ему мою черную винтовку английского образца, снял патронташ. А в распахнутые двери солдаты в лохматых шапках с белыми лентами кричат:

— Выходи!

— Поскорей!

Я надел кожух и вышел во двор, во тьму, где уже были построены наши.

А вышло так.

Настоятель монастыря послал в село мальчишку, будто бы за молоком, а на самом деле с запиской к белым, что мы у него. В селе (а мы не знали этого) стояло два батальона первого офицерского полка. Они тихо прошли с пулеметами, окружили монастырь, сняли наших часовых у ворот и на колокольне. Вошли во двор, подошли к трапезной и с гранатами в руках распахнули дверь...

Хлопцам не довелось поесть галушек, которые уже кипели, соблазнительно щекоча ноздри...

Нас ведут...

Ветер и ночь, как в поэме Блока «Двенадцать»... Я лишь слышу, как стучат о подошвы комья мерзлой земли...

Капитан с тускло поблескивающими погонами говорит:

— Вы думаете, что деникинцы издеваются. Враки все это...



Нас ведут в село... У плетня крайней хаты привязаны двое оседланных коней... Деникинцы бросились во двор. А я вроде за стенкой. И голоса их для меня такие далекие и чужие...

Нас вывели за село и построили в две шеренги, друг против друга, чтоб одной пулей сразить двоих. Они бережливые...

Мне кажется, что сейчас все упадут на колени и начнут плакать и умолять... Но никто не падает, и я стою.

— Взвод, стройся!

Команда врага звучит сухо и отрывисто...

Их капитан подошел к нашему роевому Овсию и сказал:

— Вы пришли нас бить?

Овсий ответил:

— Били и будем бить...

Но тут зацокали копыта и белый листок приказа принес нам жизнь...

Нас не расстреливают и ведут дальше. Мы в окружении пехоты и конников.

Студент, который разоружил меня, пристально смотрит на огонек во тьме и говорит:

— Что-то подозрительное...

Пришли на станцию. Лежим в караулке. Голова у меня раскалывается... Думаю, там не расстреляли, так расстреляют здесь...

На колонне в зале ножиком или гвоздем нацарапано:

«Привет курсисткам Деражни,— красноармеец (такой-то)».

Меня поразила эта надпись — точнее, новая орфография... В ней я почувствовал ту же силу, что и в газетах, которые мне попадались... Одна газета с портретом Шевченко разбила мою наивную веру в то, что красные, как нам говорили старшины, расстреливают за одно украинское слово. Эта моя наивность побуждала меня, даже после проскуровского погрома, на заданный по-русски вопрос: «Скажите, пожалуйста, который час?» — свысока и гордо отвечать: «Я иностранного языка не понимаю».

А на вопрос одного гимназиста в проскуровском театре: «Как вы думаете, займут большевики Проскуров?» — я ответил: «Они развеются как дым».

Когда же старшины говорили о трех тысячах русских детей, которых красные прислали в Киев с голодного

Севера: «Пусть подышают с голода, нам они не нужны», — я думал: «Так. Украина пусть ест вареники со сметаной, а другие пусть умирают с голода!..»

И красное движение вставало передо мной гигантом:  
— За весь бедный люд.

Помню, однажды наскочили мы на красную разведку и на наш вопрос «откуда?» они ответили:

— Со всего света!..

Меня это так поразило: «Со всего света!..»

И какой мелкой по сравнению с этой битвой за голытьбу всего мира казалась наша борьба за самостийную Украину.

Мы лежим и с тоской ждем смерти. Вдруг врываются в караулку с шашками наголо кубанцы, такие же, как и мы, чернобровые и так далее, и хотят нас рубить...

Наша третья сотня ходила в атаку на «Коршуна», и пульей через лок был убит их капитан.

В караулку входит полковник и говорит:

— Пленные нам больше не враги.

Нас стали переписывать. Один юнак, по фамилии Мороз, подошел к столу, отдал честь, щелкнул каблуками и на вопрос: «Ваша фамилия?» — ответил: «Морозов».

Его брат был офицером гусарского полка добармии.

Нас стали раздевать, а галичан нет. По договоренности, галичан, находившихся в наших полках, деникинцы отправляли в галицийскую армию куда-то под Жмеринку. Я с презрением смотрел на этих надднестрянских героев, мой бывший идеал национального самосознания. Галичане, как пример, для меня умерли.

Юнкера нам говорят:

— Зачем нам враждовать? Ведь вы юнкера и мы юнкера.

Они спрашивают нас:

— За что вы воюете?

— А вы за что?

— Мы — за единую неделимую.

— А мы — за соборную Украину.

Старшин наших поместили отдельно и обращаются с ними уважительно. Когда нас взяли в плен, наш ротный спросил их офицера:

— Вы были в Константиновском?

— В Константиновском...

И они пожали друг другу руки...

Мне оставили только одну шинель, все остальное

забрали. Один офицер «купил» у меня за две «украинки» мои сапоги, галифе и гимнастерку, а мне отдал свои громадные английские штиблеты, штаны и гимнастерку из шинельного сукна с погонами. Тут же несколько юнаков откликнулись на призыв полковника и добровольно записались на броневику «Коршун».

Нас погрузили в эшелон — собственно, мы уместились в одном вагоне — и отправляют в лагерь военнопленных на Жмеринку.

Мы едем и поем:

Ревуть, стогнуть гори, хвилі...

У старшин на глазах слезы...

С какой грустью мы выводили:

Де ж ви, хлопці-запорожці,  
сини славні волі?  
Чом не йдете визволяти  
нас з тяжкої неволі?..

И мне казалось, будто наша кавалерия, нет, не она, а отряд запорожцев гонится за эшелоном, чтобы освободить нас. Но освобождать нас было некому.

Симферопольцы говорили, что «Коршун» один захватил в Проскурове два вагона николаевских денег...

Да, когда мы вступили в Проскуров, в газете, специально посвященной нам, я прочитал:

На вас, завзяті юнаки,  
борці за щастя України,  
кладу найкращі думки,  
мої сподіванки єдині.

Хай кат жене, а ви любіть  
свою окрадену країну,  
За неї тіло до загину  
і навіть душу положіть...

И удивительное дело, когда я вступал в бой с красными, то никакого энтузиазма у меня не было, а тут появилось что-то похожее на него — ведь мы хоть и краем, но помогаем красным, с которыми боев тогда уже не вели.

Я думал, мы будем отступать на Старо-Константинов и там соединимся с красными.

...В Жмеринку нас привезли вечером и сразу же повели в казармы. Из открытых дверей казармы ударил такой тяжкий дух, что мы отхлынули назад. Но ударами прикладов нас заставили войти.

Словно дрова, лежали трупы тифозных и больные. У всех от голода восковые лица и тоненькие ножки... Над головой нары в один настил, и оттуда на меня сыплются тифозные паразиты.

Я лег.

Пленный! Такое дикое и жуткое слово... На своей земле — и «пленный»!

Нас отпускали просить хлеб у крестьян.

Да! Когда в Деражне нас переписывали, к столу подошел наш бунчужный с крестом Георгия первой степени на груди.

Полковник сказал:

— Как же вам не стыдно: Георгиевский кавалер — и петлюровец.

— Цэ выпадково,— ответил бунчужный.

— Что это значит?

— Случайно,— пояснили ему юнаки.

Если в канцелярии узнают, что среди пленных есть казаки из шестой Запорожской дивизии, то их расстреляют, как и махновцев, которые где-то под Уманью вырезали и потопили почти весь Симферопольский полк.

Один пленный сказал мне, что он махновец из Успенского полка.

Я не выдал его.

Не расстреливают только беспартийных, большевиков и петлюровцев.

Я же бывший гайдамак.

Что, как Мороз выдаст?!

Но Мороз не выдал, хотя часто этим угрожал и шантажировал меня.

Я заболел тифом.

Одесса.

С вокзала по грязи, босой и с высокой температурой, пошел смотреть море.

Оно почти замерзло, и над ним тихо летали чайки...

Повезли в госпиталь.

Лежу на белоснежной койке покорно и тихо, весь в огне...

Рядом стонет и мечется больной, сиделка ставит меня ему в пример, мол, у меня температура выше, я лежу смирно, он же с меньшей температурой покоя ей не дает...

Обход.

Входят врач и сестра милосердия.

Сестра глянула на меня, побледнела и едва не упала без чувств. Ее поддержал врач и вывел.

Потом она входит к нам, смотрит на меня и говорит:  
— Как же вы меня испугали!

Оказалось, что я похож на ее погибшего на фронте жениха, офицера.

Я — в изоляторе. У меня возвратный тиф, второй приступ. Первый был в дороге.

Она говорит:

— Я вас беру к себе в палату. Хотя несколько дней будете напоминать мне о прошлом.

Она привела меня в свою палату, дала мне еще свое ватное одеяло. (У всех по одному. Влажно, сыро. Рядом со мной каждую ночь по два, по четыре умирают.) Носит мне консервы, конфеты... и все как-то странно смотрит на меня и целует. Ее жених, как и я, учился в сельскохозяйственной школе.

У меня на груди, после тифа, абсцесс — и меня переводят в хирургический госпиталь, расположенный в греческой духовной школе, или семинарии.

В госпитале среди раненых лежали и красные из Таращанского полка и другие. Они рассказывали, что когда белый десант захватил Одессу, то многих тяжело раненых красноармейцев вышвырнули прямо на улицу.

Красные вот-вот захватят Одессу. Эвакуация.

С одним красноармейцем я очень подружился. Он признался мне, что он коммунист и что у него есть документы из ячейки, хотя я и отрекомендовался ему как бывший петлюровский юнкер. (Этот товарищ потом учился со мной в Артемовке<sup>17</sup>.) Он был схвачен белыми и мобилизован. Один из офицеров части пронюхал, что он коммунист, но не имел неопровержимых фактов и вроде бы случайно прострелил ему ногу. Ногу ампутировали.

Когда меня хотели, как «юнкера», эвакуировать в Египет, он не советовал мне ехать, сказал, что я такой же юнкер, как он деникинец. И я остался.

Корабли Антанты бьют по красным лавам...

Над городом свистят снаряды...

Красные близко...

Привозят раненых офицеров, их начали теснить на окраинах.

Один кавалерист колотит обрубками рук в живот сторожа, который от ударов только подпрыгивает всем телом на койке...

Офицеры, которых не успели эвакуировать, лежат бледные, бледные...

А один офицер не выдержал и сказал:

— Ух... страшно...

Мы глядим из окна на улицу, ее перебегают фигурки людей со штыками. Некоторые, не успев перебежать, падают. В тревожной круговерти боя они лежат ужасающе неподвижные. Стрельба не прекращается.

И вот открывается дверь и входят матросы с красными бантами на груди. Они спокойные, подтянутые и коректные.

— У вас офицеры есть?

Они никого не взяли. Только посмотрели документы и ушли.

### *Февраль 1920 г.*

При Четвертой стрелковой Галицийской бригаде, которая перешла к красным, из пленных петлюровцев и деникинцев формируется два полка: 1-й Черноморский и конный Запорожский. Я вступаю в 1-й Черноморский.

Команда украинская. Все старшины и казаки ходят с трезубцами на фуражках. Полковое знамя — желто-голубое. Деникинские офицеры, конечно, теперь за «неньку Украину». Командир полка немец с трезубцем на фуражке. Он говорит:

— Я воевал за неньку Украину и буду за нее воевать до конца.

Я размышляю, какой же это красный полк. Да ведь это желто-голубое пекло, из которого я едва вырвался. Я надел на фуражку красную ленту.

Военкома в полку нет. А есть только военком бригады.

Он на митинге агитировал нас, чтобы мы вступали в ячейку.

— Я знаю, — говорил он, нервно отбрасывая со лба свой буйный чуб, — я знаю, что среди вас есть и такие, кто искал нас, но обстоятельства мешали...

Я едва не упал, забившись в рыданиях... Я же искал!..

А ночью старшины и казаки договариваются убить тех, кто запишется в ячейку. И никто в ячейку не записался.

Я тоже не записываюсь. Ячейки нет. Однажды нас повели в театр, где большевик на украинском языке стал говорить нам об истории Украины совсем не так, как я читал у Грушевского. Наш старшина-галичанин приказывает нам уйти из театра, потому что все это «давно известное»...

Я не хотел, но должен был уйти. Приказ.

Когда был Шевченковский праздник, мы и галичане вышли на площадь с морем желто-голубых знамен, ни одного красного знамени не было.

Красные захотели разоружить нас, но почему-то не сделали этого. Они только ездили вокруг на грузовиках с пулеметами.

Мы перешли на Итальянский бульвар, в дом быв [шей] военной школы.

Однажды на муштре один старшина, бывший денкинец, закричал на казака:

— Молчать! Без разговоров!

Я, несмотря на то что находился в строю, сказал этому старшине:

— Это вам не денкинская армия, а красная. И пожалуйста, говорите по-украински, потому что вы в украинской части.

Он пошел и пожаловался на меня куренному. Куренной, пузатый и спокойный, зовет меня. Читает мне нотацию. Взволнованно и гневно я ему говорю:

— Пане куренной (у нас говорили не «товарищ», а «пане»), я ж так не могу!

Тогда он ласково мне улыбнулся, наклонился ко мне и тихо сказал:

— Еще рано!.. Но вы ведь понимаете?.. Подрыв дисциплины...

Да, меня, как юнака, назначили ротным.

Однажды ночью в караулку вбегает этот куренной и говорит мне (я был начальником караула):

— Вот вам патроны! Нас хотят разоружить коммунисты. Так вы, пане Сосюра, глядите... Стреляйте до последнего!

Я сказал: «Добре....»

Никто нас разоружать не пришел.

Выступаем на охрану Днестра в Тирасполь.

По городу мы шли с огромным желто-голубым флагом, рядом с которым трепыхался маленький красный.

В Тирасполе бригада Котовского, которую мы смени-

ли, взялась за оружие. Они решили, что мы петлюровцы. И не ошиблись.

Старшины агитируют против соввласти. Казаки — те-  
лята.

Приехали военком полка т. Обушный и его секретарь т. Прудкий.

Прудкий надел на фуражку трезубец и ходит среди казаков, слушает.

Я подошел к нему и рассказал все. Он говорит:

— Ты хороший парень. Возьмем тебя к себе.

Он дал мне свидетельство от военкома, написанное красными чернилами, что я член культпросвета полка. И я стал политработником. И почему-то отдал винтовку.

Я организовал читальню. Но казаки не хотят читать газет, а только распевают на улицах:

Ми гайдамаки,  
всі ми однакі...

А старшины говорят:

— Я лучше протяну руку немцу, чем кацапу...

Красных называют «чужинцами».

Ячейки нет. Я чуть не осатанел и, когда один старшина подобным образом агитировал в нашей сотне, сказал ему:

— Запрещаю вам болтать.

Он замолчал.

Организовывают старшинскую столовую. Я сказал, что это то же самое «офицерское собрание», что в Красной Армии не должно такого быть. А один старшина сказал:

— Я не желаю обедать за одним столом с варнаком.

Ага, «варнак»?!

Я пошел и с возмущением рассказал обо всем военкому.

Военком похвалил меня, позвал этого старшину и прочитал ему целую лекцию о разнице между петлюровским старшиной и красным командиром.

И вот ночью:

— К оружию!..

— В чем дело? На кого? — спрашивают некоторые казаки, но входит куренной:

— Без разговорчиков. Коммунисты хотят нас разоружить.

Раздаются голоса, что, мол, если нас хотят разору-



жить, то пусть разоружают — значит, так нужно, есть и такие, кому надо накрутить хвост... Но эти голоса тонут в грозной покорности казаков, взявших оружие.

Я тоже взял оружие.

Меня поставили у двери.

Вдруг из темноты подходят ко мне несколько человек:

— Ваше оружие, товарищ.

— Пожалуйста.

Я охотно, с радостью отдаю винтовку. Это — свои, караульные. Хлопцы пошутили. Смеясь, они исчезли в темноте.

Никто не собирался нас разоружать. Это просто была демонстрация.

Утром я еду в Одессу за газетами. На Раздельной я встретил юнкера из моей сотни, который познакомил меня с т. Старым. Я Старому все рассказал. Он начал успокаивать меня, обещал взять из этого полка, сказал обо мне и моем товарище, что мы «большевистский материал».

В Одессе я проинформировал кого следует (т. Деревяно) о том, что делается в нашем полку.

Возвращаюсь в Тирасполь.

Однажды зашел у нас разговор о полах. Я говорю, что это пройдохы, что они наши враги, такие же, как и полицейские.

А офицеры говорят:

— Как вы смеее оскорблять религиозные убеждения.

Тут же сидит т. Прудкий, молча нас слушает.

Я обращаюсь к нему:

— Т[оварищ] секретарь, почему у нас до сих пор нет ячейки?

Он не успел мне ответить, как закричали: «К оружию!»

Я все понял и тихо вышел. Чтоб не подумали, что я хочу сбежать, спокойно иду по тротуару. Был апрель, а жара стояла такая, как у нас летом.

Мимо меня быстро прошла колонна нашей сотни. У всех на фуражках ленты: желто-голубые и белые.

Я пришел к военкому, чтобы предупредить его. Стучу. Никого нет.

Только я отошел на несколько шагов от крыльца, как началась стрельба.

Улица ведет прямо к вокзалу.  
Рядом со мною бегут двое с красными бантами на груди.

Спрашиваю их:

— Какой части?

— Из триста шестьдесят восьмого.

— Быстрее на станцию, это восстал Украинский полк.

Бежим... А в лоб нам — черная туча конницы...

Я — во двор.

Хозяйка всплескивает руками и кричит:

— Ты большевик?

— Большевик.

— Ой, боже, и мой сыночек в комиссариате служит!

А если бы ее сынок не служил в комиссариате?..

Она спрятала меня в погреб. Стрельба быстро стихла.  
Я подумал, что в погребе небезопасно... Бросят гранату, и точка.

Вылез. Свидетельство засунул под стреху сарая.

Вхожу в хату.

Хозяин, сапожник, дал мне поесть картошки с постным маслом и огурцами...

Он все ругал комиссаров, а я ему поддакивал и говорил, что я сам из гайдамацкого полка.

Наш полк присоединили к 41-й дивизии, и он стал называться 361-м.

Выхожу на улицу.

Прямо на меня, размахивая саблями, летят два кавалериста.

— Какого полка?

— Первого Черноморского!

— Наш.

Они опустили сабли и медленно проехали мимо.

А если бы я сказал, что я из триста шестьдесят первого?..

Выхожу на главную улицу.

На тротуаре, словно поросята, стоят пулеметы, на мостовой кони и казаки.

Галицийские офицеры в польской форме.

Все встревожены. Чувствую, что боятся. На улицы вышел народ.

Один пьяный казак подходит ко мне, обнимает и говорит:

— Ой, казак, я чека разбил и самогонки напился.

У меня была гайдамацкая привычка носить шапку набекрень, и повстанец принял меня за своего.

Подходит с карабином старшина в синем казакине, тот, что говорил «варнак».

— Где военком?

— Не знаю.

— Что... снял красный значок?

Я молчу.

— Ну-ка пошли...

Меня не расстреляли только потому, что куренной был за меня.

Все силы наши были брошены на польский фронт, который уже начал разваливаться. Галицийская конница, которая стояла в немецких колониях, восстала против власти Советов. Они (галичане) налетели на станцию, сняли там караул и вместе с нашим полком захватили Тирасполь. В особотделе был только батальон в 60 человек.

Старшины говорят, что в наших руках уже Одесса, Херсон и Николаев.

Мне дали винтовку и послали в караул на станцию.

Конница повстанцев, как говорили, пошла в наступление на Раздельную.

Ночь.

Мы в телеграфном отделе.

Телеграфирует начальник гарнизона Раздельной.

Мы все в напряжении склонились над медленно разворачивающейся белой лентой, по которой черными точками и тире безумно долго ползли слова:

«П-о-з-о-в-и-т-е к т-е-л-е-ф-о-н-у в-о-е-н-к-о-м-а».

Ему отвечают:

«В-о-е-н-к-о-м з-а-н-я-т, в-с-е с-п-о-к-о-й-н-о».

В окна вместе с нами бархатно и чутко смотрит на эти грозные знаки ночь:

«Неужто еще есть противники советской власти?»

А еще днем низко над станцией смело летит красный аэроплан.

Хлопцы — врассыпную...

Я кричу, что ему нет смысла стрелять по станции, и стою на перроне.

Аэроплан дважды пальнул по крепости, что за городом, и спокойно полетел назад.

По нему даже не стреляли.

Перехвачена телеграмма, что на Тирасполь из Одессы идут два броневика.

Я уже не верил сказкам старшин о нашей победе. Слишком уж неуверенно они себя чувствовали.

Да и катилось эхо о разгроме добармии, иначе — «грабьармии», как ее называли.

Ночью выходим из города.

Белеют на спинах казаков узлы награбленного добра, редкие и приглушенные выстрелы провожают нас...

Моя цель — узнать маршрут, а потом...

Мне страшно. Неужто снова в эту проклятую желто-голубизну?..

Когда мы переходили «чугунку», глаза мои стали широкими, как ночь, от ужаса, куда я иду...

Прошли верст пятнадцать. Привалы делаем не в селах, а в степи.

Наконец я узнал, что мы идем на Бирзулу и там соединимся с Тютюнником<sup>18</sup>. По месяцу я запомнил дорогу назад.

Во время одного привала я признался своему другу-казаку, что хочу сбежать, и его звал с собой. Он отказался, сказал, что не хочет воевать, хочет домой. Мы с ним поцеловались, я отдал ему свою банку консервов и вышел с винтовкой из круга конников.

...Когда мы оставляли Тирасполь, один мой товарищ-казак грустно поглядел на меня и сказал:

— Жаль мне, Володька, что не идешь ты туда, куда зовет тебя твоя мечта...

Я ему не доверял и только загадочно посмотрел на него.

Я выбрался из круга конников будто бы «оправиться» и пошел...

Ночь была лунная. Как назло, ни одна тучка не заслоняла луну, и она холодно взидала на меня.

**Я ШЕЛ ТУДА, КУДА ЗВАЛА МЕНЯ МОЯ МЕЧТА.**

Когда конницу поглотила тьма, я побежал. Это так, будто впервые с высокого берега кидаешься в воду вниз головой... Я побежал от конников не прямо, а по кругу и назад, пересек уже пройденную нами дорогу. Это я сделал на случай погони.

Бегу по пашне, через дороги, по которым сухо и далеко поцокивают копыта конных разъездов.

А сердце надсадно и тяжело бьется... Мне кажется,

что бьется оно не у меня в груди, а где-то справа, рядом со мной...

Налетел на какой-то курень, упал и заснул. Но сон был коротким. Вскочил и снова побежал. Затем устало и обреченно шел. Мне было все безразлично, даже если победили петлюровцы, мне все равно. Я БОЛЬШЕ НЕ СМОГУ БЫТЬ С НИМИ.

Винтовку, уже лишнюю, потому что днем с ней небезопасно, я воткнул штыком в пахоту. Может, какому-нибудь дядьке пригодится.

Тревожно прошел день. Когда мы выступали из Тирасполя, ходили слухи, что там оставили охрану из 25 галичан.

Я обошел стороной Тирасполь, иду на Одессу. Иду уже по дороге.

Поднимаю голову и вижу: прямо на меня колоннами — конница!..

«Точка», — думаю. Но мне ни капельки не страшно, даже радостно. Ведь сейчас меня порубят «за весь бедный люд».

И я спокойно иду.

Оказалось, что это не конница, а евреи, убежавшие из Тирасполя. Они сидели на высоких немецких тачанках. Фигуры их возвышались над лошадьми, и издали казалось, что это колонны конников.

Евреи начали спрашивать меня, кто в Тирасполе, я рассказал им, что знал. Спросил их о красных. Они ответили, что красные, кажется, на Раздельной.

Это был сон тяжкий и радостный, когда я шел на Раздельную.

Иду по балке и ежеминутно жду смерти. Ведь я ничего не знаю.

Наконец показалась Раздельная.

На станционном шпале реял красный флаг.

Пошел дождь. Я радостно бегу уже не по железнодорожному полотну, а напрямик. Машу руками, плачу и смеюсь... Грязь пудами налипла на мои штиблеты.

Но ноги кажутся легкими, как пух...

Добежал до перрона и упал. Ко мне подскочили красноармейцы с командиром т. Финогеновым и военкомом т. Минским Андреем.

Я сказал им, кто я, рассказал о маршруте повстанцев.

За ними сразу же отправились в погоню броневые авто.

Это был новый комсостав для нашего полка.  
Но они не успели.  
Моя неосуществимая мечта сбылась.  
Меня записали в роту, и я стал красноармейцем.

Следователь спросил меня:  
— Вы знаете товарища Старого?  
— Знаю.  
— Он прислал бумагу, пишет, что знает о ваших убеждениях и социальном происхождении. Вы свободны.

Я сквозь смертельный туман удивленно посмотрел на него и так растерялся, что сказал:

— Разрешите пожать вашу руку.

И он протянул мне руку, которая одним росчерком пера могла послать меня под холодные дула стражей революции.

На улице я изумленно смотрел на людей и на дома, и не верилось мне, что я свободно иду по залитой солнцем мостовой, и я кусал губы, чтобы убедиться, что это не сон.словно заново рожденный я бродил по городу и слушал счастливый щебет птиц в синеве над золотыми крышами.

Дорогие большевики! Значит, у вас есть правда, и бог во второй раз обманул меня. Примите же меня в свои светлые ряды для последнего штурма. Теперь я навеки ваш.

Я пошел в свою часть.

#### XLIV

Этот полк был совсем не такой.

У нас пели «Ще не вмерла України», говорили не «товарищ», а «пане»... А тут все товарищи, все такие родные и мне так радостно петь с ними «Интернационал».

Правда, иногда, когда мы пели «Интернационал», военком сердился на некоторых красноармейцев, что у них слишком деревянные лица, а петь надо вдохновенно. На собрании военком выдвинул мою кандидатуру в культком, и красноармейцы избрали меня.

Однажды я писал воззвание: почему красноармейцам

надо ходить в свой клуб, а в конце привел строфу из своей поэмы «1918 год».

И будем мы идти вперед с кровавым флагом,  
где в солнце новых дней со мглою бой кипит,  
застонут камни гор под нашим гулким шагом,  
с протяжным воем зверь в пещеры убежит...

Военком Андрей Минский прочитал воззвание и спрашивает меня:

— А это чьи стихи? Может быть, ваши?

Я сказал, что это из моей поэмы.

Он схватил этот листок и побежал к своему адъютанту с криком:

— Какая у нас могучая поэтическая сила!..

Он был таким энтузиастом, этот военком, и так всем увлекался. Был он молодой, стройный, горячий, в кожаной куртке, в лохматой шапке и с маузером — и почему-то напоминал мне анархиста. У него была такая решительная и романтическая походка. Он всегда смотрел чуть исподлобья и, когда обращался в клубе с речью к красноармейцам, делал большие паузы, и в это время играл оркестр. Это его воодушевляло. А каким прекрасным жестом он отбрасывал со лба свои буйные каштановые волосы. Еще он почему-то любил гипнотизировать бандитов, хотя из этого гипноза, разумеется, ничего не получалось. И приходилось прибегать к более решительным мерам.

Был конец апреля. Поляки начали наступление. Под их натиском наши части дрогнули. Обозы в панике подходили уже к Тирасполю — в тылу лютовал Тютюнник.

По этому поводу у нас был митинг.

На нем выступали и женщины, работницы Тираспольского женотдела. Было оживленно и радостно. Выступала полная, спокойная женщина. Она деловито говорила, что в некоторых местах мы уже переходим в наступление, что ничего тревожного нет.

После нее выступила девушка, вся в черном, с такими же, как у военкома, растрепанными волосами и точно таким же, как он, жестом отбрасывала их назад. На ней были старые стоптанные башмаки, но она не обращала на это внимания. Она сказала всего несколько слов, но сказала так, сопровождала свою речь такой жестикуляцией (у нее были тонкие, бледные руки), что все мы вскочили

с мест и громом аплодисментов приветствовали восторженную девушку.

Я так хлопал в ладоши, что они стали у меня горячими.

После митинга ко мне подошел красноармеец:

— Тебя зовет военком.

Я отправился к военкому. Я не знал, что надо стучать в дверь, и открыл ее без стука. На постели лежали военком и та стройная девушка.

Он спокойно встал, оправил на себе одежду, а девушка осталась в постели, только закурила папиросу.

Военком представил меня ей.

— Знакомься, Ольга. Это — Сосюра, светило нашего полка.

У Ольги было тонкое аристократическое лицо, темно-карие глаза были туманные и глубокие. А на губы ее мне было стыдно смотреть... Они были такие полные, красные и страстные. У меня аж мурашки по телу побежали.

Я с воодушевлением стал рассказывать ей, как мучился у Петлюры, как рвался в Красную Армию и каким несбыточным сном казалось, что я стану когда-нибудь красноармейцем.

— Мне будто снится все это. Вот смотрю я на вас, — говорил я Ольге, — и вы для меня — не вы, а вся Красная Армия...

Она попросила почитать ей стихи. Я читал стихи, а она смотрела на меня мутно и загадочно.

Мне нужно было срочно ехать в Одессу, и я простился с нею.

Она так горячо и нервно жала мою руку, прямо утопала во мне глазами и говорила:

— Мы еще встретимся, мы должны еще встретиться...

## XLV

В Одессе, в нашем политотделе, я встретил своего товарища по заводу. Мы много с ним говорили, и он выхлопотал мне командировку на политические курсы, которые находились тут же, при политотделе дивизии.

И я остался на курсах.

Море было синее и прекрасное. На лекциях говорили, что «бытие определяет сознание», что душа «продукт



производственных отношений...». И мне стало жутко, что вот я, человек, который управляет своими мыслями и поступками, оказывается, нахожусь в подчинении какой-то табуретки и вообще мертвых вещей.

Мне не хотелось больше жить, и я договорился с одной курсанткой, что мы повесимся...

Но море было такое чудесное и по вечерам на Дерибасовской улице золотой нитью мерцали в небе фонари, воздух был нежным, теплым и бархатным — и я передумал умирать.

Я познакомился с одесскими поэтами, они приняли меня в свой кружок. Раз в неделю мы собирались и читали стихи. Я был очень застенчив. Особенно я стыдился своих белых обмоток. Однажды я читал стихи, а из-за пианино на меня смотрела смуглая девушка в буржуазной одежде, с янтарными бусами на шее.

Вообще на меня смотрели многие девушки, и от этого я еще больше смущался. Девушка с бусами попросила у меня прикурить. Я протягиваю ей зажженную папиросу через пианино, но она не берет, а хочет, чтобы я дал ей прикурить изо рта. Я взял папиросу в губы и наклонился к ней через пианино, и наши глаза почти сблизились... Когда ее папироска зажглась, она сказала:

— Как хорошо жить!

Вечером, после чтения стихов, она провожала меня к политотделу дивизии. Когда мы целовались, меня поразило, что у нее такой большой рот, мой рот потонул в нем, и мне стало неприятно. Потом, когда увидел ее голой на пляже, я совсем разочаровался в ней. У нее было полное смуглое тело, и на нем, точно на тесте, оставались ребристые отпечатки камешков, к которым она прижималась. И вообще все эти буржуазные женщины, которые любили мои стихи, на меня смотрели как на дикаря, наивного дикаря, напоминавшего им героя Гамсуна, и это отталкивало меня от них, ведь я был красноармейцем и душа моя вовсе не такая, как они представляли: я тоже любил красоту и понимал ее. А они подходили ко мне дико и страстно. Им, наверное, надоели все эти рыжие форсуны, которые их окружали и которые только и умели поднимать платочки и говорить с французским прононсом. И их кавалеры не пахли кровью, как мои губы. Они говорили, что у меня «одухотворенное лицо бандита», и не верили, что я не убил еще ни одного человека. А в лунные ночи они ходили со мною

к морю. Стояло лето. Природа была такая незнакомая и так глубоко меня волновала. И влюбилась в меня девочка. Маленькая девочка. Она ходила со мной к морю, слушала мои стихи и все просила, чтобы я поцеловал ее, но я не хотел, потому что она была такая маленькая. У этой девочки были черты женщины. Она ревновала меня, особенно к девушке с янтарными бусами. Одна поэтесса с революционной фамилией ходила ко мне на курсы. Я жил в отдельной комнате с бархатной малиновой мебелью, а окно закрывалось ставнями изнутри. За окном был коридор. И мимо часто пробегали курсанты. Так я, чтобы они не заглядывали в окно, закрывал его ставнями. И мне было странно, что поэтесса смеялась, когда я брал ее... Она говорила:

— Товарищ Сосюра, давайте жить вместе.

Мне было неловко:

— Как же мы будем жить вместе, я ж красноармеец — сегодня здесь, а завтра там?

Приближался выпуск. Однажды я пошел в политотдел армии за назначением. Я вошел в приемную и увидел на диване... Ольгу... Она была в кожаной куртке Андрея, в лохматой шапке и с маузером. Чудно выглядела: верхняя половина мужская, а нижняя женская. Черная юбка и те же самые стоптанные башмаки.

— Здравствуйте.

Она смотрит на меня и не узнает. Нам выдали костюмы из мешковины, и еще на мне была французская шапочка с маленькой красной звездочкой.

Я уже был членом партии.

Случилось это, когда поляки захватили Киев.

— Не узнаете?

Глаза ее вдруг стали теплыми и ясными, и вся она аж подалась ко мне. Но ей нужно было идти на прием, и мы успели лишь договориться о встрече. Я сказал ей свой адрес. Она пообещала прийти ко мне в два часа дня.

Но мне не верилось, что она придет, она же такая аристократичная и с высшим образованием, а я всего лишь красноармеец. Я не пошел на курсы к двум часам и до вечера бродил по городу. Было уже темно, когда я вошел в свою комнату. В углу сидела Ольга, а на столе возле нее лежало бог знает сколько окурков.

— Что же вы меня обманули?

Я сказал, что не поверил ее обещанию прийти ко мне. Она засмеялась, и мы сразу же перешли на «ты».

Она курила папиросу за папиросой, я тоже стал курить папиросу за папиросой. Мы очень волновались и все говорили про любовь. Она про свою любовь к Андрею, а я к Констанции. На следующий день я не пошел на лекцию. Ольга снова пришла ко мне. Когда она смотрела на меня, губы ее словно наливались кровью. Она говорила, что с закрытыми глазами может узнать человека, если возьмет его за руку, и брала мою руку. Нам вместе надо было ехать в политотдел армии в Жмеринку.

Ольга говорила:

— С тобою опасно ехать,— и смеялась.

Она почему-то стала гладить мои волосы, а я был такой инертный и чувствовал себя словно девушка. Ее лицо близко склонялось к моему, и мне стало жутко и сладостно, когда она стала меня целовать. Она целовала меня так долго, что у меня перехватило дыхание. Мы встали с дивана и, словно во сне, ходили по комнате, опрокидывая стулья, а Ольга все целует меня: и шею, и руки. Она встала передо мной на колени и стала целовать мою одежду. Я подумал: «Равенство и братство» — и тоже стал на колени. Уже вечерело, и мы вышли из гостиной. Ольга зашла к себе переодеться. Она вышла в той же кожаной куртке, и я подумал: что же она переодевала? Мы пошли вниз к морю. Над нами на Николаевском бульваре шаркали подошвы гуляющих. Ведь это юг с теплыми вечерними огнями и шумом моря. Мы подошли к разрушенной стене у моря. Под нами бездна. Волны били в руины какого-то здания, где испуганно метался огонь. Я сел на стену. Ольга сказала:

— Давай ляжем.

Я почувствовал, что кустарник колет мои щеки, а Ольга снова стала меня целовать. Это был какой-то огненный смерч. Он закружил меня в своей круговерти. Ольга распахнула куртку, под ней сверкнуло молодое, белое и упругое тело. Мы начали дрожать. Все сильнее и сильнее. А потом я забыл обо всем. Я утонул в горячем тумане. Меня не было совсем. Были только расширенные глаза Ольги, ее частое дыхание, и все... А потом мы снова стали целоваться и дрожать. Это было какое-то безумие. Я даже испугался. Может, это от моря?

Ольга:

— Я хочу выстрелить.

Я:

— Зачем тратить патроны — они пригодятся для пат-  
нов.

Но Ольга выстрелила в ночь, в море, прямо в огонь разрушенного дома... Огонь испуганно заметался и погас. Утомленные и счастливые мы шли вверх. А Ольга все целовала мои руки. А я не целовал ее рук. Я только, как девушка, позволял ей целовать свои.

Приехали итальянцы, привезли пленных солдат бывшей царской армии. Одна итальянская миноноска наско-  
чила на мину. Хоронили итальянцев на Куликовском по-  
ле. Выступал Серрати<sup>19</sup>. Мы не понимали итальянского  
языка, но мы ощущали революционный огонь и кричали  
«ура» и «даешь» под траурные залпы орудий.

Ольга шла со мной по городу. К ней прицепился  
итальянский лейтенант, но она что-то сказала ему по-  
французски, и он отскочил от нее как ошпаренный. Как-  
то грустно любила меня Ольга. Она все отбрасывала  
волосы жестом Андрея и хмуро глядела перед собой.

Однажды она не пришла, хотя и говорила, что придет.  
Мне было так тяжело, будто изрубили меня на куски и  
я весь сочусь кровью... Я уже не знал, кого я люблю боль-  
ше — Ольгу или Констанцию. На следующий день Ольга  
пришла. Но я все время был грустным. Она спросила  
меня — почему я грустный? Я долго не хотел ей гово-  
рить, а потом сказал: потому что не было ее. Она радостно  
и счастливо засмеялась, заключила меня в объятия —  
и снова был тот огонь...

Она сказала, что ходила к портнихе.

Приближался день отъезда. Получилось так, что Оль-  
га едет раньше меня.

Наступил вечер. Мы пошли к морю через Александр-  
овский парк. Стоял золотой октябрь. В парке было так  
хорошо, что мы остались там.

У Ольги уже не было юбки. Она сшила себе синие га-  
лифе и красные сапоги. Когда я давал ей свою шинель,  
она напоминала мне юнкера с тонкой, подвижной фигу-  
рой. Мы легли под деревьями. В парке никого не было.  
Где-то далеко в вечернем небе догорали золотые руины, и  
мне казалось, что это средневековый замок, а мы с Оль-  
гой — молодые феодалы, возвратившиеся из далекого пу-  
тешествия, и этот замок в вечернем золоте — наш.

Проходили изредка торговки, и мы покупали у них ды-  
ни. У нас не было ножа, и Ольга тонкими и нежными  
пальцами ломала их. Мы целовались — два парня. Я рас-

стегнул на ней одежду и ласкал ее, а из кустов кто-то в полосатых штанах подглядывал за нами, да так увлекся, что выдал себя шуршанием травы. Ольга вскочила и выстрелила по кустам из маузера. Кусты испуганно зашумели, и снова в парке пустота, янтарные ковры листьев, красные губы Ольги и ее молодое, девятнадцатилетнее тело. Она рассказывала про красную Венгрию, где она работала, как там задушили советскую власть. О своей первой любви к венгерскому революционеру, о подполье и тюрьме. С ужасом и мукой говорила, как ее насиловал жандарм.

Мы шли к морю. Было уже темно. Проектор огненными пальцами ощупывал ночь. Мы подошли к стене. Открыли узенькую чугунную калитку. За стеной свежо дышало море, а внизу, на развалинах, белая коза. Мы отошли чуть в сторону от калитки и легли на мою шинель. Только начали целоваться, как открылась калитка и на нас двинулась толпа людей. Я скатился с Ольги прямо в ярк, и мы тихонько лежали, пока прошли люди.

Завтра Ольга уезжает. Грустный, провожал я ее на станцию. Душу мою жгли огнем последние звонки. Когда я подсаживал Ольгу в вагон, у нее на колене лопнуло галифе, и я на прощание припал губами к ее колену. Вокруг смеялись люди, а я не обращал на них внимания, я видел только Ольгу и ее теплые глаза под лохматой шапкой. Оттремели прощально вагоны, а я все стоял и видел бледную тонкую руку в полуденной синеве.

...Вскоре мы отправились на фронт. Под стук колес, летевших на далекий голос смерти, мы пели революционные песни. Они были такие яркие и хорошие. Это нас так волновало... В открытые окна вагонов мириадами далеких и вечных огней заглядывала ночь... Юные голоса дрожали, будто слезы, которыми был залит «мир безбрежный»... Поезд мчался, и в нем мы с радостью несли в огонь свои жизни, чтобы осушить эти слезы.

В политотделе армии я встретил товарища моего детства — Павку Евсеенко. Он был уже начальником политотдела дивизии и, знакомя меня со своими товарищами, немного иронично рекомендовал меня:

— Знакомьтесь, это бывший петлюровец.

Мне тяжело было слышать, что я «бывший петлюровец», и захотелось, чтоб меня ранило на фронте. В Каменце я отдал в политотдел дивизии свои документы и пошел гулять. Ко мне подошел парень с винтовкой и спро-

сил документы. Я сказал, что документов у меня нет, что я отдал их в политотдел дивизии, и просил его пойти со мной туда, но он не захотел идти и повел меня в ЧК.

В ЧК спокойный рабочий с железным лицом взглянул на мой партбилет, сказал: «Это наш», — и отпустил меня.

Меня назначили сотрудником дивизионной газеты «Красная звезда». Недалеко от Гусятина стоял наш эшелон, а где-то вдали гремели пушки. Там наступала наша дивизия. Мы меняли у пастухов газеты на яблоки, устраивали митинги и киносеансы в селах, освобожденных от панов. Стояли холодные лунные ночи с серебристыми тополями и длинными тенями от них. Наконец мы подошли к Гусятину. Он был весь разрушен еще во время сражений империалистических армий. Ночью я ходил на развалины и все мечтал об Ольге. В политотделе армии я отыскал в анкетах ее фамилию, но куда она назначена — неизвестно. Мимо пронеслись эшелоны с новыми частями, и я все смотрел, не блеснут ли из-под лохматой шапки теплые Ольгины глаза.

Враг остановил наши армии, и на фронте стало тревожно. Меня посылают на фронт. Я хотел попасть в полк Андрея, но его полк не был еще в распоряжении политотдела дивизии, и меня послали заведующим библиотекой в саперную роту. Я чуть не плакал, потому что очень хотелось попасть к Андрею, меня же направляют библиотекарем только потому, что хотят сохранить поэта.

Рота стояла где-то под Монастырисками. Я едва нашел ее. Только стал составлять каталог книг, как из тыла полетели снаряды, рвутся прямо под моим окном у униатской часовни. Связь была плохой. Наши части ночью отступили. И мы оказались под польским и нашим огнем. Не было ни подвод, ничего. Мы опрокинули арбу с сеном, которую вез какой-то дядька, уложили туда кое-что из телефонного имущества и взбежали на гору. За горой стояли наши батареи и пулеметы, но надо же спасать ротное имущество. О библиотеке я и не думал, она осталась в комнате с моим недописанным каталогом. Пошли семь человек во главе с военкомом и командиром роты Прокоповичем на лошади. Пробыли они там недолго. Прибежали бледные, без командира роты, у военкома разорвана шинель, а лицо от бега налилось кровью. Ока-

зывается, на них налетела конная разведка черношлычников.

Случилось это так: едва хлопцы спустились с горы, как на горизонте показались движущиеся черные точки. Они быстро приближались. Кавалеристов было восемнадцать человек. Начали отстреливаться, но винтовки японского образца после второго выстрела стали почти непригодны для стрельбы. Затвор словно прикипал, и его надо было отбивать ногой, а враг приближался со сказочной быстротой. Но и черношлычникам было нелегко. После выстрела конь под кавалеристом останавливается и вертится на месте. Тогда мишень оказывается неподвижной, и конник валится на землю. Черношлычники спешились и залегли в цепь. Под их огнем наши хлопцы стали отступать. Перескочили через плетень, а командир роты не смог, он был на коне. Четыре всадника летели на них. Два красноармейца не выдержали и побежали... За ними погнались двое конников. Первый кавалерист пролетел возле комроты, но не успел нанести удар саблей, которую выхватил, когда неся мимо. Второй всадник кричит комроты: «Бросай винтовку!» Прокопович бросил винтовку, выхватил наган, но почему-то не стреляет, комроты забыл, что наган не самовзвод, и черношлычник рубанул его по голове саблей, комроты упал, хлопцы не могли помочь ему, потому что отстреливались от петлюровцев, которые залегли за домами. Черношлычник подскочил прямо к плетню, он ладно и стройно сидел на коне, а с клинка его сабли еще стекала кровь комроты. «Панове большевики, бросайте оружие!» Но товарищ с правого фланга вместо того, чтобы сдать оружие, выстрелил ему в голову из японского карабина...

Отступаем на Гусятин. Но в Гусятине уже поляки. Расстроенные, злые, стоим у шоссе, а мимо с музыкой проходит триста шестьдесят второй полк, которым командует Андрей Минский. Почти все красноармейцы — солдаты, вернувшиеся из французского плена. Позади на тачанке едет Андрей. На нем обыкновенная ватная фуфайка и старая солдатская фуражка без звезды.

— Ты почему здесь? — кричит он мне. — Поехали со мной!

Его полк шел на ликвидацию прорыва. Я уже занес ногу на тачанку, но на плечо мне опустилась рука моего военкома.

— Нельзя.

Я грустно смотрел вслед Андрею. Где-то за поворотом исчезли синие колонны, и только слышны были приглушенные звуки оркестра.

Мы отступаем через леса на Сатаново. В ночной тьме батареи увязают в глине, и мы вытаскиваем их руками, освещая себе дорогу факелами из соломы. Наскочит из-за кустов враг, и наступит смерть. Мы шли почти последними, и я декламировал про себя стихи, посвященные Ольге.

Части сбились и перепутались. Говорили, что у поляков есть женские конные отряды,— похоже, что они переживают нашу керенщину, надеются, что мы вернемся назад.

Перешли Збруч, и уже в Сатаново кто-то не выдержал, крикнул:

— Теперь мы на своей земле, да здравствует советская власть!

Но и на своей земле мы в панике отступаем. Мимо мчались обозы. По дороге катились буханки хлеба, а мы шли в пыли, голодные, босые, и смеялись над трусами.

Все настораживались, когда на горизонте холодно сверкало оружие и раздавались крики: «Поляки!» С нами отступало много галицийских солдат. А ночью, в сарае, под тревожные, близкие выстрелы пушек и хохот пулеметов, я рассказывал товарищам о своей любви к Ольге, они слушали и по-доброму смеялись надо мной. Так и обращались ко мне:

— Тов. Ольга, пошли в разведку.

Меня снова отозвали в политотдел дивизии для работы в «Красной звезде».

Наступил октябрь. Наш вагон стоял на Вапнярке. Ночами было страшно холодно. Белье я променял на хлеб, и у меня остались только галифе и гимнастерка, которые я взял у пленного петлюровца. Еще с детства я привык спать нагишом. И в вагоне со слезами и проклятиями я раздевался догола, расстилал на газете гимнастерку и штаны и укрывался дырявой шинелью. За ночь я раз двадцать просыпался, а когда одевался, снова ныл от холода, проклиная свою судьбу. А рядом, в вагоне политпросвета, под пальцами пианиста, обутого в постолы, гремел марш Гинденбурга.

После примирения с поляками меня посылают на



военно-политические курсы при политотделе армии. За-ведующим курсами был товарищ Скворчевский.

Курсы находились в Елисавете. Был уже ноябрь. После голода на фронте (по пять дней мы ничего не ели, а когда удавалось поесть, то это были в основном яблоки из господских садов) у меня началась дизентерия. Я ска-зал завхозу, чтобы он дал возчика, пусть отвезет меня в больницу, потому что я босой, а на улице грязь и идет снег. Но он не дал мне возчика, и я босиком пошел в боль-ницу. Она находилась далеко, где-то за вокзалом. Иду и плачу, а мимо проходят красноармейцы, гремит «Интер-национал», и от этого мне еще больше жаль себя. Про-хожие глядят на меня жалостливо, качают головами. Ко-гда я проходил через вокзал, ко мне подбежал спекулянт и хотел купить мою шинель. Это было так дико и страш-но, ведь я босиком, а он хочет совсем меня раздеть.

Пока мне выделили койку, я восемь дней лежал и му-чился на грязном и заплеванном полу в изоляторе.

Однажды в изолятор вошла женщина — военком гос-питаля. Это была наша дивизионная политработница. Она узнала меня и дала мне постолы.

Когда я выходил из больницы, наступила уже зима. На политкурсах обстановка была бодрая, веселая, только когда я ел хлеб, черный тяжелый хлеб, мне казалось, что в желудке камни. Но это не мешало мне вместо Ольги любить политэкономию. Я даже хотел бросить писать стихи и стать просто политработником. Политэкономю преподавал Скворчевский. Преподавал очень хорошо — я до сих пор ни разу не встретил такого лектора, как он. От моих постолов остались одни ошметки. Девчата сшили мне из шинели туфли, и я каждое утро выскакивал в них на улицу, бежал через квартал и на углу смотрел местную газету — нет ли там моих стихов. В то время выходила и анархистская газета «Набат». В «Набате» часто появлялись сообщения о выходе коммунистов из партии.

З. Т. Скворчевский волновался и говорил:

— Разогнал бы этих сопляков, а то мы дождемся, что они начнут стрелять в нас на каждом перекрестке.

И вот как-то ночью (это было уже после победы на Перекопе) — «К оружию!» — мы все выбежали и с нервным смешком стали одеваться. У курсисток глаза горели энтузиазмом, они тоже были с винтовками и хо-тели идти с нами. Восстал Махно и хочет захватить

Елисавет. Все части вышли за город, двигались колоннами. Я вдруг растворился в могучем ритме шагов и покачивании рядов. Меня не стало. Поднявшаяся волна невообразимой силы затопила мое «я». Я почувствовал мощь и порыв миллионов «мы» революции... И было радостно идти на смерть.

Меня и еще двух товарищей послали в дозор. Где-то далеко остались огни города и наша застава. А мы стоим в тревожном и пустынном поле, одиноко и жутко гудят провода, и вокруг ни души. Но вот из тьмы приближается неведомый отряд. Мы послали товарища сообщить на заставу о враге, а сами выстроились с винтовками «на огонь» и как безумные орем:

— Стой!.. Выезжай один!..

Отряд словно вгруз в снег. От него отделился один из всадников, их командир с наганом в руке, подъехал к нам.

Мы:

— Какой части?

Он:

— Нашей.

Мы:

— Пропуск.

Он:

— Орел. Отзыв?

Мы:

— Тамбов.

И не успели мы оглянуться, как нас уже окружила конница.

Отзыв был не «Тамбов», а «Курск». И мы ждали, что нас начнут рубить. Мои плечи тоскливо сжались, словно уже почувствовали холодную страшную сталь.

— Кто начальник гарнизона?

— Не знаем.— Мои плечи сжались еще сильнее, по костям пробежал черный ветер смерти.

— А ваш военком?

— Скворчевский.

— Ведите нас к вашему военкому.

Это был отряд ревтрибунала.

Махно пробился к Черному лесу. Захватил на полчаса Новоукраинку. На следующий день он захватил ее вновь, когда работали предприятия и все было тихо, и удержи-

вал пятнадцать часов. За это время он вырезал местную милицию и комсомол. В лесных боях, в крошечной ночной тьме, Махно смешал наши части, и свои били своих... брали в плен комрот наших полков. В поле шла конная дивизия. Начдив и военком с ординарцем отъехали далеко вперед. Из леса выехали несколько тачанок и конница. Начдив посылает ординарца узнать, кто это. Тот подъехал к неизвестным конникам, стал разговаривать с ними. Значит, наши. Военком и начдив спокойно едут им навстречу. А это были махновцы. Под угрозой смерти они заставили ординарца молчать, и он молчал.

Махновцы подъехали:

— Кто такие?

— Я — военком такой-то.

— Я — начдив такой-то.

— Ага, вы-то мне и нужны. Слазьте с коней!

Махновцы поставили военкома и начдива на колени, на глазах почти обезумевшей дивизии наклонили им головы, изрубили и черной молнией исчезли в лесу.

А из окрестных сел в Елисавет все везут и везут на сельских фурах изрубленных юнаков. Махно был уже где-то под Уманью. Дал бой красноармейцам и помчался дальше.

## XLVI

Я вновь брежу Констанцией. Она снится мне каждую ночь. Ведь я скоро буду дома и увижу ее. Я все декламировал Шевченко:

Коли зустрінемся ми знову,  
Чи ти злякаєшся, чи ні?  
Якєє тихєє ти слово  
Тоді промовила б міні?

Меня посылают в Донбасс для общественной работы. Из Елисавета до Харькова я ехал четырнадцать дней. Возле «Новой Баварии» я не выдержал, оставил эшелон и пешком добрался в Харьков. В Донбасс поезд шел быстро. Было радостно и тревожно на душе. Не верилось, что я вновь увижу милое, родное село, его кривенькие плетни, о которых я боялся мечтать, потому что вокруг было столько смертей...

В Лисичем поезд стоял долго. Была ночь, и я пошел

по знакомой дороге к своей станции. Это недалеко — полторы версты. Скрипел под ногами снег, как тогда, как прежде, когда я, влюбленный, ходил в Лисиче. За поворотом засветились огни завода. Они приветливо добегали по рельсам ко мне, и почему-то стало страшно. Неужто я дома? Голова как пустая. Все мысли исчезли. Я хочу поймать хоть одну, но не могу. Наконец поймал, и меня затопила радость возвращения. Когда входил в село, кончилось представление в рабочем клубе, и я увидел знакомых хлопцев. Во время моего отъезда на фронт хлопцы эти были мальцами, а теперь они выше меня, многие женились и даже имеют детей.

Шел домой по Красной улице. Как и прежде, мигал огонек в маленьком окошке нашей мазанки. Я постучал в дверь.

— Кто там?

— Володька.

Дверь быстро открылась, и крик «Володька!» слился в один безумно радостный вой. Мать была у соседки, ее позвали, и она с плачем упала мне на плечо. Когда я еще только подходил к дому, мне сказали про смерть брата. Я очень плакал по нему. Мать рассказывала, какой он был уже большой, даже не умещался на сундуке. Он первым получил мое письмо с фронта. А ведь думали, что уже я убит. Мать отслужила по мне панихиду. Олег умер от тифа. Я обещал привезти ему с фронта галифе, — но он не дождался. А ему так хотелось галифе — синие с золотым кантом. Брат рассказывал мне, какой он был сильный. Еще маленьким лупил хлопцев, а когда подрос, его боялось все село и любили все девчата. Когда он умер, к гробу принесли много венков и слез...

Махно еще не ликвидировали, и через наше село проходили банды. Коммунаров было мало, и они прятались от махновцев в трубах. Мать делала самогон, а я выливал его. Она плакала и говорила:

— Нет того Володи. Умер наш Володя.

А я в рваной шинели и в латаных штанах вдохновенно пел «Мы кузнецы» и по ночам с винтовкой бежал по тревоге. Мать говорила:

— Вон другие коммунисты, что приехали с фронта... у них и галифе, и деньги, а ты как был босяком, так босяком и остался.

Я успокаивал ее, говорил, что скоро все станут жить

хорошо, не только мы одни. А в село привозили изрубленных кооператоров и коммунистов. Я лежал в тифу в заводской больнице, и из окна было видно часовню, куда каждый день приносили мертвецов. Я думал — скоро и меня туда понесут.

После каждого приступа я выписывался и рассказывал хлопцам на улице о боях, а они, кучками, с раскрытыми ртами слушали, пока меня не начинал ломать новый приступ, и я снова ложился в больницу. Это был последний тиф. Я почти умирал, а тут еще мать приходила и плакала, жаловалась, что им нечего есть, просила, чтобы я написал ей записку в кооператив. Она хотела надеть мне на шею крестик, но я отказался. Мне снились попы, восстания — собственно, это был бред. Сердце билось часто, и я с нетерпением ждал, когда оно перестанет биться так часто, и все просил врача послушать мне пульс... Через семь дней после того, как я выписался из больницы, меня «в порядке боевого приказа» вызывают в Лисический партком и дают назначение. А по селам убивают партработников, и бандиты на той стороне Донца зовут перевозчика. По железной дороге вокруг села все время ходит броневик. Меня посылают по служебным делам в Бахмут.

Бахмут... Неужели я увижу Констанцию? Это же моя вечная мечта среди крови и смерти. Стоял апрель, и я, бледный, смуглая смерть в шлеме, ехал к своей мечте.

Констанции не было дома, она работала в губнарпросе секретарем соцвоспитания. Ее отец набивал папиросы. Я так много хотел ему сказать, но почему-то сказал только: «Дайте закурить». Он дал мне папиросу и стал говорить о политике, о том, как большевики гоняли его на принудительные работы. Но обо всем этом он рассказывал весело, незлобиво. Брат Коти, Броня, был в армии. Я пошел в губнарпрос. Нашел комнату соцвоспитания, открыл дверь и у стены с левой стороны увидел за столом Констанцию.

— Здесь тов. Рудзянская?

Она обернулась, взглянула на меня, хотела что-то сказать и запнулась. Я был словно мертвый. Подо мной не было пола, не было и стен вокруг... Мне казалось, когда я увижу Котю, то упаду от счастья. Мне даже снилось это, вот иду я к Котиному крыльцу, а на нем стоит она. Подхожу к ней и падаю у ее ног лицом вниз. Лежу и молчу и только слышу, как сладко и тяжело бьется

мое сердце. Поднимаю голову, а на крыльце стоит не Котя, а ее отец. Я спрашиваю:

— Где Котя?

— Она уехала за Полярный круг.

Но сейчас, наяву, я не упал, а только покачнулся и казался себе легким-легким, как перышко. Мы вышли с Котей в коридор, но не могли говорить, только смотрели друг на друга и вздыхали. Потом я приходил к Коте и, когда разговаривал с ее отцом, все смотрел на нее так, как в ту весну 18-го года, а она просила, чтоб я не смотрел на нее так, и почему-то лицо ее становилось бледным. Я был так счастлив, что ничего не замечал и не хотел замечать. Котя показывала мне, какие у нее маленькие туфли. Действительно, у нее были крохотные туфельки. Но я и до сих пор не знаю, почему она прятала от меня свои ноги, когда была босая, еще тогда, весной 18-го года...

Меня, как неправильно демобилизованного, латыши снова взяли в армию, и медицинская комиссия дала мне месячный отпуск на поправку здоровья после тифа. Я хотел использовать это время в Москве, познакомиться с литературным миром и остаться там.

Однажды Котина мать сказала мне, что Котя хочет поговорить со мной. Мы вышли из хаты. Шли по той же Магистральной улице. Котя порывалась что-то сказать мне и не могла. Потом она грустно и несмело показала мне свою правую руку, а на ней, на пальце, обручальный перстень, которого я до сих пор совершенно не замечал. Такой я был глупый и счастливый. И странно, я спокойно принял это, только стал каким-то пустым, и жизнь сразу почернела. В этот день я уезжал, и мы с Котей долго бродили по какому-то пустырю. Я, будто сонный, водил ее взад и вперед, кружил, колесил, и она покорно шла за мной, только была бледная, бледная. Мне надо было уходить, и я остановился с ней у ворот. И вот нахлынули слезы. Они нахлынули с такой силой, что я не выдержал и заплакал. Я долго оплакивал свою мечту. Мне было жаль, безумно жаль, что три года на фронтах, в огне и тревоге я нежно грезил об этом человеке. Сквозь рыдания я говорил ей об этом, а она стояла мраморно-холодная. Я плачу и говорю:

— Дай я тебя хоть на прощанье поцелую.

А она не хочет...

Я плачу и говорю:

— Ну дай я поцелую хоть волосинку...  
А она не хочет...  
Ох, как горько я плакал по своей умершей любви...  
Она говорила, что уже поздно, что я никогда не забуду и не прощу ее... Она не хочет бросать мне, как собаке, «объедки»...  
Она говорит:  
— Идите...  
— Ты же уверяла когда-то, что где бы я ни был, ты будешь следить за мной и придешь ко мне... Когда ты его разлюбишь, ты придешь ко мне?  
Она долго молчит, потом тихо и глухо говорит:  
— Приду... Идите...  
— Ну скажи хоть «иди».  
— Иди...

И вот я иду по грязной улице и плачу, плачу... Чтоб прохожие не заметили моих слез и рыданий, я согнулся и спрятал лицо в шинель...

Поезд отошел от станции, и страшно и тоскливо закричал гудок... Я ехал словно в пропасть... Я же коммунар... Моя жизнь принадлежит коллективу... Но в бездне моей муки потонули и коллектив, и коммуна. Мне совсем не хотелось жить. Не было стимула. В вагоне ехал труп... И в последний момент, когда казалось, что сердце разорвется от боли, надо мной, над моим заплаканным и помертвевшим лицом нежно склонилось лицо Ольги. Теплые глаза под лохматой шапкой лучились добротой, а губы ее, красные незабываемые губы, говорили о счастье, что не все еще потеряно для меня... И мне стало легче...

## XLVII

Харьков... Апрель, юность, солнце, надежды...

Я иду с товарищем Пионтек<sup>20</sup>, которую знал еще по Одессе.

Она ведет меня в библиотеку-читальню ЦК КП(б) У.

Мы вошли в тихую комнатку, где на диване в синем костюме сидел маленький человечек с рыжей бородкой Христа, похожий на западного рабочего, и читал газету.

Товарищ Пионтек попросила меня почитать ей свои стихи.

Я читал ей свои русские стихи, а маленький синий

человечек читал газету, не обращая на нас никакого внимания.

Я спросил Пионтек:

— А вы понимаете по-украински?

— Да.

И я стал читать ей «Расплату».

Я читал, а наш сосед, отложив газету, внимательно слушал, пока я не кончил. Потом он поднялся с дивана и подошел к нам. Это был товарищ Кулик<sup>21</sup>.

— Кто вы такой, товарищ? — спросил он меня.

Я сказал.

И Пионтек попросила товарища Кулика отозвать меня из армии как молодого поэта, подающего надежды.

И товарищ Кулик, завагитпропа ЦК КП(б)У, отозвал меня через «Учраспред» ЦК из армии.

Пока оформляли мой отзыв в распоряжение ЦК, я, как командированный с периферии военный политработник, был устроен в «Красной гостинице» и имел много свободного времени.

В редакции газеты «Вісті»<sup>22</sup> я познакомился с товарищами Коряком<sup>23</sup> и Блакитным<sup>24</sup>.

Коряк — маленький и остроносый, в длинной кавалерийской шинели, перебивал меня восторженными возгласами, когда я читал ему «Расплату».

Он благодарил меня за «красивые переживания» и говорил:

— Где вы были? Мы так давно ждали вас в украинской литературе... Нам приходится печатать такую ерунду!

— А вы этой ерунды не печатайте, а печатайте меня, — наивно ответил я ему.

Читал я Коряку и свои русские стихи о любви, о травах, о шахтах и — сквозь воспоминания и разлуки с родным поселком — о «сладком дыме завода».

Коряк посоветовал мне написать об этом же по-украински.

На следующий день я принес ему «Красную зиму».

Хотя город и взял меня в свой сладкий плен, но мне все снились зеленые, напоенные ароматом трав берега Дона, реки моего смуглого мальчишества, знакомого мне с раннего детства.

Отшумел суетный день. Я вернулся в гостиницу.

Из мебели в номере были кровать, стол, стул и пла-



тяной шкаф с зеркалом. Вот с этим шкафом и связано рождение «Красной зимы».

Я стоял перед зеркалом, из которого на меня смотрел смуглый юноша, и вдруг словно растаял в тумане, исчез в зеркале, и вместо себя я увидел трудную, грозную и радостную дорогу моей молодой жизни...

Я вспомнил свои первые трудовые шаги, друзей своих, с которыми делил и радость и горе, румяных чернобровых девчат и то, как радостно приветствовали революцию колонны рабочих-шахтеров, а я, опьяневший от счастья, шел в этих колоннах и целовался с такими же, как я...

Вот тревожно и грозно гудит заводской гудек, и этот железный и долгий крик туго и властно бьет по нервам и зовет, зовет...

В небе рвутся и тают дымки шрапнели, словно беззаботные тучки, но из них летит смерть...

Мы с винтовками в руках бежим к заводу по улицам, заполненным звуками пулеметных очередей, на бой за власть Советов...

Дороги, дороги, дороги...

Снега, эшелоны, кровь...

И наконец, словно сказочная жар-птица, в радостных руках миллионов — Победа!

С тысячами таких же, как и я, возвращаюсь в село.

Меня тяжело поразила смерть брата Олега, который так и не дождался меня с фронта с галифе для него, о котором он наивно мечтал, работая на заводских колымагах. Ему было семнадцать лет.

Печаль и радость слились в моей душе в драгоценное воспоминание, которое вылилось в песню и стало «Красной зимой»...

Я смотрел в зеркало и пел и плакал, пел и плакал... О форме я не думал. Она сама возникла из лирического половодья, заливавшего мою душу...

Я не писал, а создавал поэму.

И когда я кончил, то ощутил такое счастливое опустошение, которого никогда больше не чувствовал ни до, ни после «Красной зимы».

Все: и композиционное построение, и лирико-эпический сюжет с нарастанием лирической струи, его кульминация и спад, мелодика в построении словосочетаний, образы — все это родилось из пережитого и передуман-

ного, как дитя первой любви, в солнечном движении чувства, беременного мыслью...

Слова, как монисто на нитку, нанизывались на мотив и сливались с ним, чтобы стать песней моей, нашей революционной юности...

На следующий день я отправился к Василию Блаkitному. Он куда-то шел с товарищем, спускаясь по лестнице. Там же, на лестнице, я дал ему рукопись поэмы. Он глянул на первые строки, и сразу же его глаза счастливо и сине засияли...

— А хорошо... Смотри-ка! — восхищенно воскликнул он, обращаясь к товарищу, и прочел то место, где «шикують злидні нас юнак до юнака...».

У поэмы еще не было названия, и Блаkitный взял его из самого текста: «О не забудь мені Червону ту зиму!» Он посоветовал назвать поэму «Красная зима».

Меня назначили инструктором прессы при ЦК КП(б)У.

Конечно, инструктор прессы из меня был никудышный, я только бродил по оживленному Харькову, жадно впитывал своим юношеским сердцем его жизнь, мечтал и мысленно, без бумаги, сочинял стихи.

Поэтическая лаборатория и сейчас у меня в голове. Я перечеркиваю и правлю строчки стихов в уме, а не на бумаге, а когда выливаю образы на бумагу, то ни зачеркиваний, ни исправлений уже не бывает. Конечно, иногда я правлю и зачеркиваю и на листе, но, как правило, поэтическая лаборатория у меня в голове и в сердце. Я записался в марксистский кружок при агитпропе ЦК.

Старый большевик товарищ Икс, который вел этот кружок, как-то сказал всем, показывая на меня (я любил задавать вопросы, и эта привычка осталась у меня с детства до седых волос):

— Судя по вопросам этого товарища, у него знаний на профессора, только они у него неорганизованны.

И он рассказывал нам, как нужно систематизировать приобретенные знания, раскладывая их в голове «по полочкам».

Чудесным человеком был наш дорогой и незабвенный товарищ Икс.

Его спокойное, мудрое лицо и добрый взгляд из-за стеклышек пенсне стоят передо мной как пример огромной самодисциплины, дееспособности и организованности.

Но недолго я был инструктором прессы.

Между прочим, мое инструкторство показывает, сколь чутка и прекрасна большевистская партия. В лице тт. Пионтек, Кулика, Коряка, Блаkitного она, как мать, поняла мою душу поэта, почти не приспособленного к жизни человека, и давала мне всяческие поблажки, «цацкаясь» со мной, как говорили мои враги, на протяжении многих лет и поднимая меня доброй рукой, когда я падал сердцем на острые камни жизни.

Великая партия. Если бы я верил в бога, то молился бы тебе, так я люблю тебя и склоняюсь перед тобой, я, твой смуглый сын, которому ты помогла до седых волос сохранить детскую душу и юную песню, что живет только тобой, моя партия, моя гениальная мать!

Оргбюро ЦК, в лице товарища Гордона, назначило меня членом оргбюро Всеукраинского пролеткульта, куда вошли товарищи Захар Невский, Рыжов, Коряк, Пилипенко<sup>25</sup> и Василь Блаkitный, Миша Майский<sup>26</sup> и Хвылевой<sup>27</sup>.

Мы стали работать вместе в доме на Московской, 20, где я часто принимал участие в литературных вечерах. Там я познакомился с Хвылевым.

Он сразу же захватил меня своей любовью к жизни и поэзии.

В кожаной куртке и кепке, а потом, позже, в шинели из врангелевского, или, точнее, из английского, сукна, в седой смушковой шапке еще с империалистической войны, невысокого роста, быстрый в движениях, чернобровый и зеленоглазый, он очаровал меня своей завораживающей индивидуальностью.

Только что-то в моем подсознании восставало против его воли.

Я из деликатности соглашался с ним, мол, да, надо писать верлибром, а приду домой — и пишу ямбом.

Это повторялось не один раз, я соглашался с ним на словах, на деле не соглашался.

Наконец Хвылевому это надоело, и он махнул на меня рукой.

Он: «А ты, Володя, себе на уме!»

Я: «А что ж ты думаешь, Коля, что я под твоим умом?»

Так Хвылевой и не перекрестил меня в свою поэтическую веру.

Тогда же (это был 1921 год) приехал из Галиции в Харьков Валериан Полищук<sup>28</sup>, синеглазый красавец с

вкрадчивыми манерами, которые особенно действовали на девушек, с улыбочкой — себе на уме.

Его огромная эрудиция поражала меня.

Да еще солнечная бодрость.

Только не нравился мне натуралистический биологизм в его поэзии, но отдельные стихи и некоторые места больших поэм меня восхищали.

Хвылевой любил повторять из Полищука:

«Котра година, товарищу?»

«Друга».

І далі пішла

сіра смуга дороги

під ноги...

Или: «Нема Нікандрика, нема...» — про брата Валерия.

И были две сестры, Лика и Леля, обе они влюбились в Валерия, и он их обеих любил.

Странно?

Но это так.

С Лелей до Валерия у меня была любовь. Но когда я шел от нее, то чувствовал себя после ее ласк так, словно по мне проехал с грохотом и звоном трамвай.

Я знал, что это не любовь, но ничего не мог с собой поделать, ее глаза были такие мистические, потаенные... Она всегда их так томно, по-восточному щурила. И еще она околдовывала меня песней:

Это было на радостном юге,  
в очарованном мире чудес,  
где купается розовый лотос  
в отраженной лазури небес.

И вот туда приходила купаться красавица-египтянка Радонис. Однажды высоко над ней пролетал орел. Увидел своим острым орлиным взором туфельки Радонис и украл одну из них. Пролетая над садами Мемфиса, резиденцией фараона, он уронил туфельку красавицы в сад властителя Египта. Фараон, разглядывая туфельку, влюбился в Радонис и приказал ее отыскать.

Розыск окончился благополучно.

И царицею стала Радонис,  
и любима была потому,  
что такой ослепительной ножки  
не приснилось уже никому.

Леля пела эту песню на мотив «Слышен звон бубенцов издалека».

Потом я узнал автора этой песни, собственно, этого стихотворения. Это была любимая поэтесса Игоря Северянина Мирра Лохвицкая.

И еще я узнал, что Леля шурит свои темные египетские глаза не потому, что у нее такая мистическая душа, которая высвечивает ее сливopodobные глаза, а потому, что она близорука.

И чары развеялись.

Я разлюбил Лелю.

А тут явился Полишук — пришел, увидел, победил.

Леля безоглядно влюбилась в Валериана, одержала победу над своей сестрой и стала его женой.

Из пролеткульта ничего не вышло. Он так и умер, не родившись.

Но перед смертью он захотел моими зубами укусить Маяковского.

Это было в русском драмтеатре, который находился тогда над Лопанью.

Приехал Маяковский, чтобы выступить в этом театре.

Мне, в порядке пролеткультовской дисциплины, было поручено выступить с негативной критикой Маяковского.

Я согласился.

Но они не знали, как я любил его.

И вот вечер.

Маяковский приехал и выступал (то ли мне так запомнилось, то ли показалось) в театральной шапочке, огромного роста, внешне резкий и беспощадный в борьбе со своими оппонентами.

А я смотрел в его глаза и видел, что он совсем не такой, каким хотел казаться. Глаза у него были грустные и добрые, добрые, полные невысказанной нежности к людям, в его глазах я словно видел свою душу.

После чтения стихов, вызвавших громовую бурю аплодисментов, началось обсуждение прочитанного и вообще — поэзии Маяковского.

Маяковский — гигант физический и гигант поэтический — справлялся со своими врагами как со щенками.

И вот на сцену в меховой шубе лезет прямо через рампу старый и однозубый (между прочим, прекрасный человек) член оргбюро пролеткульта Рыжов.

Маяковский с высоты своего гигантского роста, рас-

правившись с очередным своим ненавистником, спросил Рыжова, полувылезшего уже на сцену:

— И ты туда же, детка?!

И Рыжов испуганно попятился назад, так и не выступив против Маяковского.

Тогда дали слово мне.

Я спросил Маяковского:

— Вы были на фронте?

— Был.

— Я еще никогда не читал и не слышал такой потрясающей поэзии. В ее гигантских образах и могучем ритме чувствуется железная поступь Революции. Вы — великий поэт. Разрешите пожать вашу руку.

И он, взглянув на меня добрыми, человеческими глазами, утратившими свою остроту от запала полемики, протянул мне руку, которую я бережно пожал.

А потом пролеткультовцы говорили, что «Сосюра целовал ноги Маяковскому».

Товарищ Блаkitный, как редактор газеты «Вісті» (тогда она была «Вісти», а не «Вісті», как потом), позволил мне жить на чердаке редакции, где когда-то, еще до революции, была церковь Юзефовича, редактора газеты «Южный край», переоборудованная позже под клуб.

Зимой здесь было очень холодно, и меня спасала меховая шуба, которую я впервые в жизни купил на гонорар за поэму «1917 год».

В той бывшей церкви я жил и писал стихи, и туда ко мне приходила Леля с ее мистическими глазами, в которых я так горько разочаровался, когда узнал, что их мистичность не что иное, как близорукость.

В этой же церкви у нас проводились литературные вечера, на которые приходили все, кто любил украинскую литературу. А таких было много и становилось все больше.

После суда «над пролетарскими поэтами» клуб наш в церкви проработал недолго.

Масштабы расширились, и литвечера перенесли в Крестьянский дом на площади Розы Люксембург.

Хвылевой благодаря своей притягательности и огромным знаниям русской и украинской литературы (по сути, он был, как и я, учеником великой русской литературы, наших классиков и народа) собрал вокруг себя целую плеяду молодых прозаиков. Он перешел на прозу после своего сборника стихов «Досвітні симфонії».

Его соратниками немного позднее стали Панч<sup>29</sup>, Вражливый<sup>30</sup>, Копыленко<sup>31</sup>, Яновский<sup>32</sup> (духовно, он жил в Киеве), Пидмогильный<sup>33</sup> и другие.

Можно сказать, и Головки<sup>34</sup>. И на всех них лежала печать его гениальности.

Я считаю, что Хвылевой, как художник, как поэт в прозе, — основоположник украинской советской поэзии, особенно в своих ранних произведениях. Это мое личное мнение, и я его никому не навязываю.

Первый мой сборник «Стихи», изданный Государственным издательством Украины (печатался в Сумах), рецензировал В. Коряк, а потом приветствовал М. Доленго<sup>35</sup>: «Золотой грустью веет от поэмы «Красная зима».

А потом, в 1922 году, когда вышел второй мой сборник «Красная зима», его приветствовал сын моего бессмертного учителя Ивана Яковлевича Франко Тарас Франко: «Удивительным волшебством веет от сборника молодого поэта».

Он предостерегал меня от футуризма Семенко<sup>36</sup>, и правильно, как я потом понял.

Я не любил его расшатанных ритмов не верхарновского типа, но там, где он становился более-менее организованным ритмично и остроумным, он мне нравился.

Как-то я зашел в редакцию «Вісті» в кабинет редактора.

На месте Блакитного сидел симпатичный брюнет с острыми, жгуче-черными глазами, маленький и сосредоточенный.

Я его спросил:

— Вы Семенко?

А он мне:

— А вы Сосюра?

Так мы с ним познакомились.

Он мне как молодому поэту советовал не очень считаться с литературными авторитетами, мол, дело не в том, сколько книжек вышло у писателя, а в том, что он дал нового, в чем его оригинальность. Между прочим, он советовал мне рифмовать: «корова» и «театр».

Первый его совет я принял, а второй — нет.

Я работал в литературном отделе Наркомпроса (лето), где выходил журнал «Червоний шлях», редактором которого был т. Коряк.

В очередном номере «Червоного шляху» я прочитал

новеллы Мамонтова<sup>37</sup>, и одна из них меня сильно возмутила. В ней было такое место: «Спит обманутое село, засыпанное снегом и прокламациями...»

Я сказал т. Коряку:

— Как вы могли напечатать такую новеллу?! Это же настоящая контрреволюция! Я пойду в ЦК.

Товарищ Коряк испугался и стал оправдываться, что, мол, его не было в Харькове, что номер вышел без него, и т. д.

Я пожалел тов. Коряка и в ЦК не пошел.

В очереди за скудным обедом для сотрудников Наркомпроса я познакомился с Копыленко.

Его удивило, что в очереди я что-то бормочу. Я сказал ему, что шепотом сочиняю стихи, в очереди стоять долго, а я не люблю терять времени.

Копыленко познакомил меня с Сенченко<sup>38</sup>.

Насколько первый был живым, эмоциональным, любящим литературу всей своей распахнутой навстречу солнцу и ветрам жизни душой, настолько молчаливым и сосредоточенным был второй, плотно сбитый, русский человек.

Они жили на Журавлевке, и я часто приходил к ним. Мы делились духовной пищей, а они еще и подкармливали меня вкусной гречневой кашей.

О юность! Полная солнца и надежд юность!

И что там гречневая каша, голодные пайки, холод и недостаток в одежде, если тебе принадлежит весь мир! Милая моя жертвенная и героическая юность...

Поскольку политическое образование у меня было слабенькое, брошюрного характера и немного военно-политкурсантского, я знаком был лишь с основными принципами марксизма, больше руководствовался классовым инстинктом, поэтому я поступил в Коммунистический университет им. Артема.

Ректором был (о радости!) т. Скворчевский, которого я очень любил, и он меня тоже, как поэта.

Экзаменовал меня профессор Яворский; его, по украденной фотографии, разоблачила как австрийского жандарма жена, с которой он разошелся.

Он меня спросил:

— Как вы считаете, это хорошо, что на земле идет классовая борьба?

Я ответил:

— От того что я скажу, хорошо это или плохо, клас-



совая борьба не прекратится. Это закон жизни нашего времени, объективный закон, не нуждающийся в моих оценках.

Я был принят в Артемовку.

Только мне не понравилось, что профессор Яворский сказал обо мне, что я «чудесный материал». Какой я материал? Я человек!

В Артемовке преподавал профессор Рожицын, одновременно работавший и в ЦК.

Он прославился необычной и дикой для меня лекцией: «Красота — это контрреволюция», и во время диспута по ней разбил в пух и прах всех своих оппонентов.

Мне странным казалось, как это он проповедует, что красота — контрреволюция, а сам любит цветы и имеет очень красивую жену.

А когда в ЦК он проверял девушку, которая хотела поступить на работу секретаршей, то сказал ей:

— У вас некрасивый почерк!

И вот Валентин Сергеевич Рожицын читает нам, студентам, лекции по истории культуры, а когда дошел до Пушкина, я запиской спрашиваю его: «Почему Пушкин писал по-русски?»

Все или большинство студентов грохнули раскатым хохотом, мол, какой идиотский вопрос.

Но Рожицын сказал:

— Товарищи! Здесь не до смеха. Вопрос очень серьезный. Информирую. Пушкину гораздо легче было писать по-французски потому, что он думал по-французски. А по-русски он писал потому, что был под влиянием народного творчества: няня.

Профессор развеял мои последние сомнения. Дело в том, что после моего перехода как поэта с русского языка на украинский, я не нравился многим студентам. Они упрекали меня, считали это чуть ли не национальной изменой, называли меня украинским националистом.

Я говорил им, что писал бы по-русски, если бы родился в России, ведь я знаю только литературный русский язык, а народного не знаю. Без знания же народного языка писателем, каким я хочу стать, не станешь.

— А Гоголь? — говорили мне студенты.

— Так Гоголь тем и велик, что своим знанием народного украинского языка обогатил русскую литературу, — говорил я.

Но это студентов не устроило.

Один из них сказал мне:

— Зачем ты сменил королевскую флейту на сопилку?

Я запальчиво ответил:

— «Сопилка» мне дороже тысяч королевских флейт!

И вот с помощью т. Рожицына я отбросил в сторону свои сомнения и окончательно перешел на украинский язык.

Конечно, задавал я вопрос т. Рожицыну для студентов, которые, как и я, очень любили т. Рожицына.

Я прекрасно знал, что в семье Пушкиных, как и во всех русских дворянских семьях, французский язык господствовал как бытовой.

Мне хотелось устами профессора ответить студентам на их великодержавные упреки.

Учился я хорошо. Учительница русского языка даже освободила меня от слушания ее лекций.

А вот экономгеография и всякие финансовые дела мне никак не давались, и я завидовал девушкам и хлопцам, которые в этих вопросах чувствовали себя как рыба в воде.

Мне очень понравилась одна студентка. Она была очень красива. Красота ее была украинской, нежной, некрикливой — правильные черты лица, тонкие крылатые брови и длинные ресницы, за которыми сияли карие солнышки ее чудесных, глубоких, как счастье, глаз.

Это была Наталья Забила<sup>39</sup>.

Я писал ей любовные записки и однажды попросил в записке прийти ночью на кладбище, где молодежь часто устраивала романтические свидания.

Кладбище было рядом с Артемовкой.

Но Наталья не пришла. Вместо нее должны были прийти ее муж, студент Артемовки, Савва Божко<sup>40</sup>, и Иван Кириленко<sup>41</sup>, но, как потом рассказывал мне Кириленко, боялись, решив, что у меня есть оружие.

А оружия у меня не было.

Конечно, я не знал, что у Натальи есть муж, да еще такой циник и донжуан Савва Божко.

Правда, донжуан он был примитивный, как сельские парубки-куркули или русские купчики: «Моему-де праву не препятствуй!»

Но дело не в том, просто по натуре я был схож с Натальей, а в Савве ее, очевидно, привлекла его эмоциональная первобытность, сила и напористость, которых во мне не было.

Я был нежен и робок, и даже Наталья часто читала

мне марксистские нотации за мою расхлябанность и неприятие определенных догм, в которые она свято, поначетнически, верила, не вдумываясь в них, не представляя их в движении, в связи с жизнью.

Но ведь мы были молоды, и каждый по-своему молился марксистскому богу.

## XLVIII

Организовался союз пролетарских писателей «Гарт»<sup>42</sup>. Его организатором, идейным руководителем и вдохновителем был т. Блакитный, или Эллан. Мы пришли в «Гарт». Йогансен<sup>43</sup>, Хвылевой, Полишук и еще многие.

Мы называли себя преемниками классической литературы, собственно, так оно и было на деле. Я, например, никак не мог примириться с буржуазной теорией отмирания поэзии, которая тогда разлагалась, но разлагалась не поэзия вообще, а поэзия разгромленной (у нас) буржуазии, когда были у нас разные течения: футуристы (слово-звук), имажинисты (слово-образ), акмеисты (слово-плоть), ничевоки (слово-тень) и проч., не говоря уже о символистах (слово-символ) и декадентах разных мастей. Полное разложение на атомы.

Теория отмирания поэзии была змеиным жалом побежденного врага, который хотел отравить молодое и неокрепшее сознание победителей.

Я считал, что мы должны продолжать традиции классической литературы, вести ее на новые, на свои вершины, и продолжать творчески, по-своему.

Коряк написал статью «Со стрех вода каплет» и прочел ее нам на собрании «Гарта».

В статье говорилось, что наши молодые писатели должны писать так же просто, как Пушкин, Толстой, Гоголь.

Все выступающие в обсуждении хвалили статью. Я тоже выступил и сказал:

— Товарищ Коряк калечит молодых начинающих. Писать так, как Толстой, Пушкин и Гоголь, невозможно, а быть их эпигонами — не выход, это смерть для пролетарской литературы. Учиться у классиков необходимо, но учиться надо творчески и не у одного, а у многих классиков, и не только украинских и русских, но и зарубежных. Только через сложный лабиринт творческих исканий в борьбе с шаблоном у других и у себя можно прийти

к индивидуальной простоте. Так надо учить молодежь, а не толкать ее на бесплодное эпигонство.

Когда я говорил, товарищ Коряк грустно сник. Мне было его очень жаль, но мыслей его не было жалко.

В заключительном слове Коряк сказал:

— Все, кто выступал здесь, были неискренни. Один только Сосюра сказал мне правду.

Еще перед «Гартом» был организован союз сельских писателей «Плуг» т. Пилипенко Сергеем Владимировичем — высоким, спокойным черноусым красавцем с благородным, словно высеченным из мрамора, лицом, бывшим офицером царской армии и чудесным большевиком-украинцем, в ком гармонично сочеталось социальное и национальное. Это был настоящий, преданный делу Ленина, как и Блаkitный, интернационалист в лучшем понимании этого слова.

Я по складу своей души был скитальцем и переходил то из «Плуга» в «Гарт», то — наоборот. Качался словно маятник между ними, потому что любил и плужан, и гартовцев.

Лицо Сергея Владимировича напоминало мне еще старинные украинские фрески. Я очень любил его и смотрел на него как на отца. Так же я любил и голубоглазого, со смелым, вдохновенным взором Эллана, образцового коммуниста, но смотрел на него как на старшего брата.

И Пилипенко и Эллан очень любили молодежь, и молодежь любила их.

Пилипенко мы все нежно называли «папаша» и бессовестно злоупотребляли его добротой — опустошали его портсигар.

Он, бледный и прекрасный, стоял перед нами, и мы были готовы идти за ним в огонь и в воду, так же как и за Блаkitным, который поражал меня высокой интеллектуальностью. Пилипенко был более народный, и потому союз «Плуг» с его литкружками приобрел такие массовые формы, что это кое-кого встревожило (меня удивляет — почему?), и т. Пилипенко стали обвинять в масовизме.

Никогда «Плуг» не подменял партию, как кое-кто думал. Это было широкое, светлое движение украинской молодежи к культуре, и неправильно поступили, преждевременно ликвидировав «Плуг».

Надо было дать ему вызреть в прекрасный плод куль-

турной революции на Украине, которая тогда приобретала грандиозный размах.

То же самое можно сказать и о «Гарте», и о «Вапли-те»<sup>44</sup>, хотя «Гарт» имел меньшие формы и в своем развитии встречался еще с инерцией бесконечной русификации среди украинских рабочих, а вот «Плугу» была открыта «зеленая» улица в сердца украинской молодежи.

«Ваплите» — вольная академия пролетарской литературы, в которой я тоже состоял, но всего один год, была еще более узкая — по сути, это была кастовая организация, куда принимали только «аристократов», избранных от литературы. Как-то я дал М. Кулишу<sup>45</sup> новый сборник своих стихов для публикации в издательстве «Ваплите».

Сборник получил более пяти рецензий, и все безрезультатно.

В этом сборнике было стихотворение «Неоклассикам»<sup>46</sup>, и Хвиевой с Кулишом хотели, чтобы я изъясил это стихотворение из сборника, но я не соглашался.

Однажды я спросил т. Кулиша, сколько еще рецензий надо моему сборнику.

Кулиш ответил с усмешкой:

— Да, наверное, еще рецензий десять.

Возмущившись, я сказал:

— Вы мне напоминаете петлюровского старшину.

А потом подал заявление о выходе из «Ваплите» и перешел в ВУСППУ<sup>47</sup>, созданный для борьбы с «Плугом», «Ваплите», а позже с «Литфронтом»<sup>48</sup>, «Новой генерацией»<sup>49</sup>, «Авангардом»<sup>50</sup>, и т. д.

Еще о «Молодняке»<sup>51</sup>, комсомольской организации молодых писателей, во главе которой стоял Павло Усенко<sup>52</sup>, сухолицый юноша с острыми глазами и размашистой походкой.

Размашистую походку он приобрел, когда возглавил «Молодняк».

Я любил «Молодняк» как свое продолжение. Но мне не нравилось, что молодняковцы противопоставляли себя старшим писателям, а себя (в своем кругу) считали едва ли не гениями.

Тогда же меня поразил в сердце своим стихотворением С. К.<sup>53</sup>, из которого помню лишь четыре строчки:

Зростає на ліриці Сосюрн.  
Де Гёте, Шіллер, де Байрон?..

Чи стану понад дужі мури,  
Яким просте ім'я — шаблон!..

Да, С.! Ты не стал «выше крепких стен», а так и остался, как поэт, моим эпигоном.

Конечно, Павло Усенко, хотя и любил я его как поэта, и первым приветствовал как поэта, посвятив ему стихотворение, когда он еще жил в Полтаве, «Гений сегодня жду», конечно, Павлуша благословлял такие вот удары в мое сердце, открытое всем ветрам революции.

Это сродни статье Якова Савченко «Мертвое и живое в украинской поэзии», в которой он хотел расправиться со мной, как когда-то с Чупринкой, и причислить меня к мертвым, а такую эротическую поэтессу, как Раиса Троянker, к живым.

Позже, когда он и я были на встрече с русскими поэтами в Москве, Савченко спросил меня:

— Ты не сердисься?

— Нет.

— Это культурно.

А с чего бы мне сердиться на него, если он сам себя высек.

Как-то критик Меженко сказал мне:

— Я считаю всех поэтов дегенератами, кроме Тычины.

Я ответил ему:

— Я считаю дегенератами всех критиков, кроме Коряка.

Вообще-то, когда я сердит, я бываю остер на язык и на перо.

Но надо возвращаться в прошлое.

В Артемовке студенческий вечер. Меня все подкармливала пирожками одна из распорядительниц — беленькая, с льняными волосами, светлоглазая девушка в трофейной врангелевской шинели. Звали ее Верой<sup>54</sup>.

Она почему-то строго и задумчиво-нежно все смотрела на меня.

Я назначил ей свидание, она охотно дала согласие.

Кладбище. Солнце. Птичьи голоса... Жизнь, молодость и любовь, а под нами — царство мертвых, мир мертвых.

Я нежно взял в ладони золотую от солнца Верину голову, и она, слабо сопротивляясь, повернула свое лицо к моим губам.

— Ты любишь по-рабочему... Быстро!

Почему она думала, что все рабочие нахалы, не знаю.

Но ведь действительно было нахальством с моей стороны просто так, без всякой психологической подготовки, как говорили тогда заправские донжуаны, взять и поцеловать ее.

Я сказал, что я вовсе не такой шустрый, как она думает, что я не циник, а сделал это, потому что не мог иначе, потому что полюбил ее славную улыбку, льняные волосы и всю ее, такую ладную.

Она рассказала о себе, что была политруком эскадрона, принимала участие в штурме Перекопа, а до этого — в подавлении кулацкого восстания на Харьковщине. Окончила в Москве Свердловский Коммунистический университет и преподает политэкономии в Харьковской губпартшколе, хозяйственно связанной с Артемовкой.

Когда она все это мне рассказывала, вдруг буквально на расстоянии шага от нас два человека быстро и молча стали копать могилу...

И я подумал: «Наверное, и счастье наше ляжет в могилу».

Так оно потом и случилось.

## XLIX

Из-за недостаточной общеобразовательной подготовки я по собственному желанию перешел из Коммунистического университета на рабфак института народного образования.

Перед этим я женился на Вере.

Она все писала мне записки и незаметно клала под мою подушку, когда приходила к нам в комнату студенческого общежития. Записки эти я читал, Вера казалась мне какой-то странной, я прогонял ее, а она не сердилась и по-прежнему приходила. Мне понравилась ее настойчивость, и я сказал ей:

— Идем в загс.

Она счастливо зарделась, и всю дорогу, пока мы шли в загс, ее лицо алело, как роза, когда закатное солнце целует ее своими багряными губами...

На рабфак я поступил на 1-й триместр, чтобы быть вместе с женой, которую тоже приняли на 1-й триместр.

Ректором института был товарищ Стрельбицкий, светлая память о котором неугасимо горит в моем сердце. Это был, если можно так сказать, светлый большевик. Чуткий и сердечный человек с большой буквы.

И вот началась учеба. Лектор по химии, товарищ Финкельштейн, стал нас знакомить с химическими элементами — кислородом, водородом, азотом и т. д.

Он говорит:

— Кислород.

А я с задней парты:

— Оксигениум.

Он:

— Водород.

Я:

— Гидрогениум.

Он:

— Азот.

Я:

— Нитрогениум.

Тогда Финкельштейн (кстати, мне не понравились его слова, что все в природе построено без всякого участия разума. Откуда же тогда гениальное определение Маркса «Материя думает!»), тогда Финкельштейн говорит:

— А кто там из вас такой умный? Сосюра?

Я встал.

— Идите в третий триместр.

— А жена?

— И жена пусть идет. Вы ей поможете.

И вот я на третьем триместре рабфака ХИНО<sup>55</sup>.

В класс входит преподаватель украинской литературы т. Ерофеев. Кстати, тогда вышла хрестоматия по украинской литературе профессора Плевако<sup>56</sup> и студенты-основники по всей Украине изучали меня, а я учился на рабфаке.

Интересно?

Такие казусы могли быть только при диктатуре пролетариата.

Ерофеев стал по списку знакомиться с рабфаковцами. Когда он дошел до моей фамилии, я встал.

— Сидите, сидите!

Я сел.

— Вы не родственник того Сосюры, который пишет стихи?

— Нет, это — я.

— Может, вы его брат?

— Да нет же! Это — я!

После этого профессор Ерофеев в конце лекции часто спрашивал меня:



— Ну что? Верно я говорил?

Мне это казалось смешным. И заставило меня задуматься. Рабфак по сути повторял то, что было мне известно еще по агрономической школе. Программа школы была даже шире и глубже.

Идти на основной курс, как мне предлагал тов. Йогансен, преподававший в институте?

Но ведь литературу я знал, пожалуй, лучше иного преподавателя.

Я с двенадцати лет был уже знаком не только с русской классической литературой (с украинской я познакомился позже, во время гражданской войны, и особенно после ее окончания), но и с мировой (благодаря русским переводам).

Так что мне почти нечего было делать и на основном.

К примеру, разве преподавали там такое: на поэме Пушкина сказалось большое влияние французского «Слова о полку Игореве» — «Песни о Роланде».

Портрет Петра списан буквально с портрета короля Филиппа: «Глаза сияют, лик прекрасен...», и т. д.

Или: франки мавров «рубят, колют, режут!!!».

И у Пушкина: «швед, русский колет, рубит, режет».

Так что мне нечего было делать ни на рабфаке, ни на основном.

И я, бросив учебу, стал просто поэтом. Правда, в моих партийных документах записано, что я имею незаконченное среднее образование, ведь у меня нет диплома о высшем. Но мой диплом — три тома избранных стихов. Это не нескромность, а обида на наших партийных бюрократов, которых я терпеть не могу, как и всяких чинуш, которые потеряли свою человеческую душу в разных «согласовать», «углубить», «провернуть», «протереть с песочком» и т. д.

Шли годы.

У меня уже было два сына, Олег и Коля. Почему-то я сильно любил Колю, похожего на меня, с глубоким, полным какого-то сладостного блеска взглядом темных глаз, в которых тонул мой взгляд, и чем дольше я смотрел в глубину его глаз, тем больше любил его. Олега я тоже любил. Но не так сильно.

Вера была уже студенткой агробиологического факультета ИНО.

Я делал все, чтобы она получила образование, а она, как все мелкобуржуазные натуры (оказалось, что она не

крестьянка, как говорила мне, партии, и ее за это исключили из партийных рядов), была лишена чувства благодарности.

Как-то она высокомерно сказала мне:

— Ты лентяй и некультурный.

Я спросил ее:

— А что такое шваповская оболочка?

Она, биологичка, не смогла мне ответить. Между прочим, мы еще в агрошколе изучали физиологию, гистологию, эмбриологию и т. д.

И вот началась, как следствие разрухи, которую нам оставили войны и революция, безработица.

Мы идем с Верой по площади Тевелева<sup>57</sup>, и на витрине она увидела красивую кофточку.

— Купи мне эту кофточку!

Я:

— А вон видишь, дядьки хлеба просят?

Она:

— А... ты меня не любишь!

Ясно.

Я одевал ее хорошо, и особой нужды в новых кофточках у нее не было.

Одним словом, бывшая свердловка и политрук эскадрона стала обыкновенной мещанкой.

Даже ее сестра, которая жила в Москве и училась на инженера, писала ей, что «у тебя мирозозерцание сузилось до размеров булавочной головки».

И я решил оставить Веру, когда она кончит ИНО.

А сыны, сыны?!

Как же я забыл о сынах, особенно о Коле?..

Не знаю, какой-то горячий туман бросил во тьму мою душу, ведь не только за это я решил оставить Веру. И не за то, что она скрыла свое социальное происхождение.

Последним поводом к разводу было следующее.

Как-то я Вере сказал (мы уже несколько лет жили в новом доме писателей «Слово»<sup>58</sup>):

— Вера! Когда ты кончишь ИНО и будешь работать, ты будешь мне помогать хоть ежемесячным взносом квартплаты?

— Нет. Я свое жалованье буду посылать матери.

Мне было трудно материально. Я бился как рыба об лед, чтобы помочь Вере учиться. Сам же я не учился, и возможно, из-за нее, потому что вдвоем нам было трудно учиться (был уже тогда Олег) по материальным сооб-

ражениям. И не это ли было основной причиной, что я бросил учиться. Ведь я все же немного завидовал Вере, у нее будет высшее образование, а у меня — нет. Хотя товарищ Икс говорил, что знания у меня «профессорские», но они неорганизованны... А организацию знаний, систематизацию их дает только высшее образование, и это я признаю теперь, ведь у меня есть провалы и в математике (я не учил ни тригонометрии, ни логики, ни алгебры), не говоря уже о высшей математике и астрономии. В естественных науках я подкован неплохо. Но это же не все. И мне часто снились сны, что я студент то партуниверситета, то просто университета, и это вечно терзало и теперь терзает меня, как бы я ни хвастался перед этим (в романе), что у меня блестящее литературное самообразование.

Так что литературной молодежи я всем сердцем рекомендую учиться, учиться и учиться. Я на все смотрел как поэт: на книги, на людей, которых учился читать как книги, на жизнь со всеми ее сложностями, на искусство и науку... Все это было для меня средством, а цель — поэзия и чтоб эта поэзия служила нашему народу, который одевает нас, кормит нас, воспитывает, как добрый отец. Как же не любить его, не молиться на него, как когда-то я молился богу!

Я вечный ученик народа и горжусь этим.

Хотя это не значит, что я «вечный студент».

Как коммунист, борясь за линию партии в жизни (я знаю, что линия партии — линия трудового народа и если бы партия в своей борьбе за коммунизм не придерживалась на основе марксизма-ленинизма линии народа, она не была бы коммунистической партией), я знаю, что мы не только ученики, но и учителя народа.

Но я никак не могу представить себя учителем, ведь я сын народа. А разве сын может учить отца? У отца (а это многомиллионный отец) больше голов и опыта!

Я не могу и не хочу идти впереди народа, я хочу идти за ним, слиться с ним и смотрю на него не сверху вниз, как кое-кто, и не снизу вверх, как кое-кто, а просто в глаза, как смотрел отцу своему, которого любил так, как теперь люблю народ. Но это уже философия.

Вернусь к себе, молодому, смуглому, с душой нараспашку и нежному до слез в своей любви к людям, к природе моей золотой Донетчины и вообще Украине.

Правда, эта нежность не мешала мне иногда стано-

виться тем сельским хлопцем, который дрался с лисичанами из-за девчат, и еще потому, что лисичане дразнили нас: «Хохол-Мазепа!» (Ну, это было от «разделяй и властвуй...».)

Расскажу еще об одном литературно-мордобойном случае.

Произошло это в комнате редакции «Червоный шлях», что размещалась в здании ВУЦВика.

Я зашел в редакцию за гонораром, но гонорар не выдавали, а перед этим я отравился бананами и чувствовал себя так, как при холере. Это — психологическая подготовка.

Ну и еще я купил меховую доху, которая тоже — элемент психологической подготовки.

В редакции были Иван Днепровский<sup>59</sup>, Панч, Тычина, Наталья Забила и ее второй муж поэт Шмыгельский.

Тогда вышел новый сборник стихотворений Полищука «Громохкий слід», Забила и Шмыгельский были в восторге от «Громохкого сліда» и говорили, что книга гениальная.

Я сказал, что она гениально издана, но внутри у нее г...

Шмыгельский и Забила напали на меня, мол, я ничего не смыслю в поэзии, и т. д. Я сказал, что их интеллигентское мнение для народа не характерно.

Тогда Забила:

— Если ты хочешь знать, так в партии тебя держат потому, что ты поэт, а так давно уже надо вышвырнуть из партии.

Я не знал, что она была беременна на третьем месяце, и крикнул:

— Ах ты, беспартийная идиотка!

Она тут же, как рассвирепевшая кошка, кинулась на меня и стала бить по лицу. А ее муж, Шмыгельский, вместо того чтобы схватить Наталью за руки, схватил за руки меня, чтобы я не смог оказать сопротивление.

В борьбе оторвался рукав моей новой дохи.

Представляет?

Отравился бананами, не дают гонорара, да еще и бьют по морде.

Хотя, признаюсь, мне было не столько больно, сколько приятно, ведь меня бьет женщина, в которую я еще и тогда был влюблен.

Но при чем тут ее муж?

Отведя душу, вся красная и запыхавшаяся, Наталья выбежала из комнаты.

Тогда Днепровский, прекрасный психолог, спокойно подошел к двери и накинул крючок. Словно знал, что произойдет дальше.

А Шмыгельский смотрит на меня и смеется.

Я со словами «муж и жена — одна сатана» подошел к нему да как врежу по физиономии справа.

Он тоже заехал мне так, что я полетел на стол, стол на стул, а стул на Тычину, который сидел в уголке, закрыв лицо руками, и лукаво и внимательно смотрел сквозь раздвинутые пальцы на нас.

Я подумал: «Прямая линия самая короткая», — и начал бить Шмыгельского прямым ударом в висок у правого глаза. Только это делалось куда быстрее, чем я пишу. Шмыгельский так больше и не смог достать меня своим железным кулаком.

Таким я был быстрым и злым.

Словом, от моих прямых ударов, и все в одну точку, Антона отбрасывало на шкаф, а шкаф швырял его на меня, и я стал ощущать, что бью уже не по лицу, а по мокрой и скользкой подушке, которая росла и вспухала у меня на глазах. Антон начал уже безвольно клонить голову, и в этот миг кто-то быстро, лихорадочно забарабанил в дверь.

Вбегает Йогансен.

— Что? Сосюрю бьют?

— Нет, — сказали ему, — наоборот...

Из-за того, что мне не дали додраться, я сел на диван и расплакался.

Откуда-то появился Хвылевой, гладит меня по голове и приговаривает:

— Не плачь, Володя, не плачь!

Панч сказал:

— Ты, Володя, пошел не по своей специальности. Тебе бы боксером быть.

На следующий день в коридоре той же редакции Шмыгельский сказал мне:

— А ты, Володя, здорово дерешься. У меня до сих пор голова гудит...

Может, это во мне что-то первобытное, глубоко за-таенное, и взрывается, когда я очень рассержусь, и особенно тогда, когда бываю прав? Откуда тогда и силы бе-

ругся. Я словно смотрю на себя со стороны и прихожу в изумление от самого себя, восторгаюсь собой.

Так бывает в минуты вдохновения, когда после того, как напишешь, сам не веришь, что это ты написал.

Вернусь еще к одному мордобою, о котором забыл рассказать.

Простите меня, дорогие читатели! Пишу я это не для того, чтобы советовать вам решать все свои споры кулаками, но сейчас речь пойдет о хулиганах, которых я ненавидел и ненавижу всеми фибрами своей души.

Это было еще в 1922 году, когда я был студентом Артемовки.

В кинотеатре шла американская картина «Синабар», в которой рекламировался бокс, собственно, не бокс, а самый настоящий зверский мордобой. Места тогда не нумеровались, и кто какое место захватил, там и сидел.

Вера была беременна, а толпа так надавила, что прижала меня с женой к двери. Я закрыл собой Веру и ухватился рукой за угол двери, сдерживая людей, чтоб жене не раздавили живот.

Толпа навалилась на мою напрягшуюся руку, да еще против сгиба, у меня даже мелькнула мысль — рука сломается, но она лишь пружинисто выгнулась и выдержала натиск людей. Наконец пробка рассосалась, и мы с Верой побежали к моряку-инвалиду на деревяшке, который стоял у края ряда стульев, где захватил четыре места. Три были пустыми, а у четвертого стоял он сам, закрывая нам проход.

Я спросил его, почему он один захватил столько мест. Не будет же он сидеть на четырех стульях.

— Это для товарищей.

Я (отодвигая моряка в сторону):

— Места не нумерованы. Садись, Вера!

Несколько молодчиков сзади начали ругать меня, и особенно один, тощий, с нахальной рожей, в матросской полосатой тельняшке. Видно было, что никакой он не матрос, а тельняшку нацепил для форса и устрашения «фрайеров».

Он грязно обругал меня, послав к одной матери...

Я ему ответил тем же и еще добавил:

— Бандит!

— Он его назвал бандитом... Он его назвал бандитом, — зашумели его преданные поклонники, среди которых он, видимо, был атаманом.

Между прочим, в лагерях ЧОНа, купаясь в Донце под Чугуевом, я раскрыл себе указательный палец правой руки о разбитую бутылку. И правая рука тогда висела у меня на перевязи.

И вот передо мной выросла длинная верста с маленькой змеиной головкой и целится кулаком в лицо, хотя и видит, что драться я могу только левой рукой — против его двух длиннющих жердей.

Он размахнулся из-за спинки стула, но я внимательно следил за ним и вовремя уклонился от удара, который сплющил бы меня в блин, и страшный кулак по косой, сверху вниз, пролетел мимо моего носа.

Хулиган по инерции перегнулся и повис животом на спинке моего стула вниз головой.

Тогда я ребром ладони своей не очень сильной левой руки нанес ему удар под ложечку.

Он несколько раз дернулся и остался висеть на стуле, как пустой мешок.

Почти вся публика, став ногами на стулья, начала молча следить за нами.

Хулиган, придя в себя, как спеленутое (дитя), снова нацелился на меня своим кулачищем, но я опять угомонил его ребром ладони.

Тогда члены его банды, которые из своеобразного благородства не вступали в наше единоборство, стащили своего увядшего атамана со спинки моего стула и, как тряпичную куклу, посадили рядом с собой.

Ко мне подошел один:

— Ваши документы.

Я показал свой студенческий билет и сказал, что не могу же я, с одной рукой, дать себя бить, что я активно защищался.

Погас свет, и началось кино.

А сзади слышу:

— Всунь ему перышко.

Но я спокойно смотрел кино, потому что был уверен: в кинотеатре они ничего мне не сделают, а вот на улице...

Я сказал Вере:

— Ты иди к центральному выходу. Они будут думать, что я с тобой. А я пойду через запасной выход. Как женщину, да еще беременную, они тебя не тронут.

Так и вышло.

В суете они не заметили, что меня нет с Верой, а ду-

мали, что я где-то рядом с ней, и шли за Верой. У центрального выхода образовалась пробка, и хулиганы застряли в ней.

Я спокойно прошел через почти пустой запасной выход.

Иду мимо центрального, а хулиганы видят меня, но пробка их не пускает, и они в бессильной злобе только угрожающе машут мне кулаками.

Я снял кепку, издевательски попрощался с ними и быстро пошел домой.

Намного позже меня пришла побледневшая Вера. Они шли за ней до самого нашего дома...

А это уже о бандитах, об этом я тоже забыл рассказать раньше.

Зима 1923 года.

Я в демисезонном пальто, с портфелем из парусины, иду домой по Бассейной улице. Третий час ночи. Пусто и тревожно вокруг, ведь тогда раздевали даже днем. Навстречу мне идет человек, а второй идет с Чернышевской, пересекающей Бассейную. Подходит ко мне с правой стороны. Но он дальше первого. Они пересвистывались, но не рассчитали, чтобы одновременно сойтись в одной точке, которой был я.

Я их опередил, быстро пошел навстречу первому, оттопырив в кармане большой палец руки, чтобы он подумал, что у меня есть оружие.

Когда мы поравнялись, бандит спросил:

— Спички есть?

— Нет, товарищ! — ответил я, спокойно и напряженно проходя мимо него.

Так же спокойно я пошел дальше, не оглядываясь.

И когда я удалился на достаточное расстояние и оглянулся, то в свете уличного фонаря увидел, что бандиты на углу Чернышевской сошлись и тот, второй, что-то быстро говорит первому и гневно размахивает руками. Но за мной они не погнались, потому что, как и Савва Божко с Кириленко, думали, что у меня есть оружие.

А у меня его не было.

L

Еще на фронте, в 1919 году, я читал стихи Тычины, но, кроме «Больше не увижу солнечных очей», ничего не понял. Потом, позже, его «Солнечные кларнеты» вошли



в мою душу как море аккордов и дня, и ночи, и рассветов, и закатов. Он пленил и очаровал меня. Я жил только его образами, полными музыки и солнца, а то и трагическими, как трагедия моего народа, как я тогда думал.

Да. Ранний гениальный Тычина был учителем моей поэтической юности после Шевченко, Франко, Леси Украинки, Вороного, Чупринки и Олеся, ведь я учился у многих, между прочим, и у прозаиков, как поэт, но в основном я учился у моего народа, как и учусь у его песен, то трагических, то нежных, то полных такой героики, что сердце замирает от счастья, что я сын такого народа. Бесконечно благородного, рыцарского, который никогда никого не неволил, а только сражался за свое место на земле. Защищал свою родную Украину.

Так вот про Тычину.

Когда я познакомился с ним живым, а не в мечтах, мое представление о нем каким было, таким и осталось. Тонкий и стройный, зеленоглазый и нежный, он будто летел в моих глазах, летел в небо славы, коего он, как никто из нас, был достоин.

Это был 1923 год, один из первых годов нашей литературной молодости.

Как-то мы были на делянке деткоммуны имени Василия Чумака. Иван Кириленко, кажется, Божко и другие, всех не помню.

У Тычины, в его гениальном стихотворении «Воздвигне Вкраїна свогого Мойсея» есть такие строчки:

Од всіх своїх нервів у степ посилаю:

— Поете! Устани!

Я еще на фронте когда читал:

А справжня муза, неомузена,  
Там, десь на фронті, в ніч суху,  
Лежить запльована, залузана  
На українському шляху,—

то думал, что т. Тычина сказал это обо мне.

А в строчках:

— Поете! Устани! —

я просто чувствовал, или мне так казалось, что он обращается ко мне, что с заплеванной душой, в сухую ночь лежал с винтовкой в руках я на кровавом шляху Украины...

— Поете! Устани!

И душа моя кричала великому поэту нашего народа:

— Если я чудом выживу, я встану!

Как-то странно переплеталась для меня во времени поэзия Тычины.

Но это было так.

Ведь в боях где-то в глубине моей души всегда жило предчувствие, что меня не убьют, что я еще буду жить и петь.

Смерти я не боялся. Мне только жаль было моих стихов.

И буквально так позже сказал о себе Павло Григорьевич.

Я просто ужаснулся. Словно он — это я.

Но возвращаюсь на участок деткоммуны.

Павло Григорьевич лежал в траве и задумчиво и мечтательно смотрел своими волшебными зелеными глазами в небо, а иногда и на нас.

Я спросил его:

— Пришел тот поэт, которого вы звали?

И Тычина ответил:

— Нет.

Но я не поверил ему.

Какая странная юношеская самоуверенность и вера в свои силы, не только в те, что во мне были, но и в те, что будут!

Потом еще летели дни.

Павло Григорьевич бывал в семье Ивана Днепровского, куда заходил и я, и читал нам свои харьковские стихи о жестоких часах над головой, о кладбище...

И вдруг сказал:

— А что, как я высохну?..

Мы молчали.

Позднее Тычина сам ответил на этот тревожный крик своей души:

Глубинами не высохну, не обмелею...

Да. Я любил и люблю Тычину как великого нашего поэта.

Хотя и люблю в нем не все.

Много дает он в печать так называемых поэтических отходов своей творческой лаборатории, которые беспокоили и беспокоят меня, потому что я знаю, какой это

гигант, и становится больно, когда он иногда, и не совсем иногда, стреляет из пушек по воробьям.

Но, несмотря на это, Тычина — гений, и таким он есть не только для нас, таким останется и для наших потомков, если не умрет наш язык, а вместе с ним не умрем и мы как нация.

## LI

И вот Вера с сыновьями оставила меня. Она переехала в старую комнату, поссорившись со мной навеки.

Ну пусть мы поссорились. Но при чем же здесь дети?

Почему они должны расти наполовину сиротами?

Я никогда себе не прощу этого, как и сыны мои, отказавшиеся от меня.

Олег даже сказал, что, когда я умру, он не пойдет за моим гробом.

А Коля резко и навсегда порвал со мной.

Жена воспитала их в смертельной ненависти ко мне. Она даже придумала лозунг для сыновей: «Рвать и презирать». Это у меня «рвать» и меня «презирать».

Ну что ж. Что посеешь, то и пожнешь.

Тяжко обнажать свое сердце, но я иначе не могу. Моя рана не только моя. Сколько у нас семейных трагедий! Не счесть. Правда, их становится все меньше. Это говорит об укреплении нашей страны, и в конце концов их не станет совсем. Я верю в это.

Верю в гармоничного человека коммунизма, который победит не только доисторического человека нравственно, но победит и саму смерть и станет Владыкой Космоса, победит пространство и время, станет бессмертным.

Опять возвращаюсь назад.

Как мне хочется сказать о тех, кого уже нет с нами. Кого вырвала из наших рядов кровавая рука, поднявшаяся на советский строй, о тех, кто чудом остался в живых.

Я написал поэму «Махно», за которую испил столько горя, что и потомкам хватит. В этой поэме я вспоминаю о Примакове, одолевшем Махно. И вот он, живой герой моей мечты, пригласил нас на встречу в дом Раисы Азарх, которая говорила нам, что она командовала боевыми участками фронта. А мне почему-то не верилось.

И товарищ Примаков спросил ее:

— А помнишь, как ты командовала санитарным участком фронта?

Ну, между санитарным и боевым участком огромная дистанция.

Видимо, Азарх очень хотелось, чтобы я или кто-нибудь другой воспел ее как героиню гражданской войны. Но почему она такая неискренняя? Разве среди медработников гражданской войны не было героев?

Я читал Примакову «Махно», и он сказал мне, что если начнется война, то возьмет меня к себе. Но еще до войны его, удивительно нравственно чистого, безгранично храброго и замечательного полководца мятежных дней на Украине, настигла смерть.

И Пилипенко настигла та же смерть, что зовется «нарушением советской законности», и Эпика, и Кулиша, и многих других, кто глядит на нас из вечности честными и чистыми глазами, полными слез любви к народу, за которую они ушли в бессмертие, ибо память о них вечно будет гореть в наших сердцах.

Конечно, наша литература создавалась не кулаками, в чем могут упрекнуть меня кое-кто из «друзей», прочитав описанные кулачные эпизоды. Но описал я их не ради смеха, а чтобы показать, как пристрастная любовь к литературе руководила нами, как иногда мы забывали даже, что мы люди, и становились троглодитами, снова же из-за безграничной любви к слову, которое является душой нашего народа.

Я написал поэму «ГПУ», а когда прочитал ее одной своей знакомой, она сказала:

— Насколько мне помнится из истории русской литературы, в ней никто не воспевал жандармов.

Я перестал быть в числе знакомых этой девушки.

На чекистов, настоящих чекистов, я смотрел через святой образ Дзержинского. Именно вера в наши органы безопасности и любовь к ним руководили мною в поэме «ГПУ».

Азарх была, кажется, главредактором Государственного издательства Украины и, прочитав в поэме, что у атамана бандитов карие глаза, а у чекиста, который его охранял, светлые, сказала:

— Измени цвет глаз, и вообще за это противопоставление карих глаз светлым тебе может крепко влететь.

Но я цвета глаз менять не стал, и мне «крепко» влетело.

Вообще тогда очень цеплялись к лирике, и в сердце мое вонзали тысячи ножей разные литературные шавки, вот почему я и написал сборник стихов «Сердце».

Когда начались аресты украинских советских писателей, мне страшно стало от того, что разбивается моя вера в людей. Я, мы знали данного человека как хорошего, честного, советского, и вдруг он — враг народа.

И так удар за ударом, и все — по душе, душе народа, ведь писатели — выразители народной души.

## ЛН

На рабфаке со мной на одном триместре училась Бельнская-Ситниченко, которая была вхожа к т. Затонскому — тогда наркому образования.

Бельнская повела меня к нему на квартиру, и он, крупноголовый и широкоплечий, за столом казался высоким, а когда вышел из-за стола, то передо мной стоял человек маленького роста с широким и высоким лбом философа. Его черные, а может, синие (ведь это при электричестве) глаза были полны блеска и мудрости.

Я читал ему стихи, и он назвал меня «поэтом гражданских набегов», а позже отдал распоряжение выделить мне через секцию научных работников отдельную комнату. Но когда я написал поэму «Махно», Бельнская передала его мнение обо мне: «Он не наш. Пусть у него хоть двадцать партийных билетов, но он не наш».

Как-то, уже после дискуссий с троцкистами, мы, рабфаковцы, затеяли разговор о Пушкине, и я сказал, что Ленин любил Пушкина из-за социального родства с ним, что эстетически Ленин был воспитан в таком же окружении, как и Пушкин, потому что Ленин и Пушкин дворянского происхождения. Как политик Ленин для меня вождь, но что касается поэтических симпатий, тут я с ним не согласен.

Гуринштейн, Миллер, Бельнская и другие накинлись на меня как на врага. Потом перескочили на революцию.

Миллер сказал:

— Каждый стон раненого красноармейца — музыка.

Я крикнул:

— Ты садист и мерзавец!

Бельнская-Ситниченко крикнула мне:

— Революция — это напор!

Я:

— Брось! Ты пряталась где-то по углам и не знаешь революции!

Словом, на меня посыпались заявления, и меня вызвали на партбюро рабфака.

И снова все набросились на меня за Ленина. Я им говорил, что Ленина люблю, что за его идеи, которые стали идеями всего человечества, я шел на смерть. Но мне не поверили.

Тогда я сказал:

— Если уж правильно рассуждать, то я принес партии пользы больше, чем вы все, вместе взятые.

Один из членов бюро аж подскочил на месте:

— Ого! Сильно сказано!

Я видел: вопрос стоит так, что все бюро за мое исключение из партии.

Из-за своей политической расхристанности, упования более на классовый инстинкт, чем на знание устава и теории партии, я не знал, что за партбилет можно бороться вплоть до ЦК ВКП(б) и только тогда, когда он санкционирует исключение из партии, надо сдать партбилет.

Заранее зная решение бюро, я сунул руку в карман пиджака, что у сердца...

Все побледнели... (Думали, что у меня оружие.)

И когда я вытащил из кармана партбилет, все вдруг с облегчением вздохнули.

Когда разбирали решение бюро на общем собрании, я был дома, потому что подал заявление (Гуринштейн была секретарем партбюро рабфака), в котором написал, что сдал партбилет в состоянии нервного потрясения и прошу вернуть мне его обратно, но дело мое прошу рассматривать без меня, поскольку боюсь снова натворить что-нибудь истеричное.

Гуринштейн моего заявления собранию не зачитала, и те товарищи, которые защищали меня, оказались безоружными, когда на вопрос: «А где же Сосюра?» — Гуринштейн ответила: «А Сосюра ходит по коридору. Ему стыдно присутствовать на собрании».

На партбюро ИНО решение о моем исключении из партии было утверждено большинством двух голосов против одного.

Но подоспела партийная чистка. Председателем ко-

миссии по чистке у нас был т. Касторов, старый большевик.

Когда меня вызвали, я вошел в комнату, где за длинным столом, покрытым красной материей, сидели... рабочие. С детства родные лица глянули на меня глазами моего завода:

— Ваш партбилет?

— У меня его нету. Рассказать вам, почему у меня его нет?

Тов. Касторов чутко, как отец, склонился ко мне и говорит:

— Расскажите!

И я рассказал, как меня травил троцкист типа Гуринштейн, которая, когда выдвигали кандидатов в Советы, предлагала выдвигать своих, потому что рабочие не умеют думать и надо, мол, думать за них, рассказал о словах Миллера, что «каждый стон раненого красноармейца — музыка», и еще многое.

Тогда т. Касторов говорит:

— Все это правильно. Но вот вы, пролетарский поэт, как же вы могли сдать партбилет? Ведь он должен быть как сердце. А разве сердце можно вынуть из груди и отдать? Сдать партбилет — это политическое самоубийство. Без партбилета, как и без сердца, для коммуниста нет жизни. Пролетарскому поэту надо это знать.

И вот настало время оглашения результатов чистки.

Мы все пришли, кто с надеждой, кто с тревогой.

Была тревога и у меня.

Наконец входит комиссия. Первым вошел секретарь комиссии и поздоровался со мной.

Я подумал: «Наверное, не исключили, если здоровается».

И на душе у меня посветлело.

Но тревога не проходила, хотя к ней и присоединилась белокрылая надежда.

Стали читать фамилии тех, кого оставили, кому вынесли различные партвзыскания, кого исключили.

Номер моего партбилета был 279305.

Сначала читали номер партбилета, потом фамилию.

И вот Беленькая-Ситниченко.

Забыл, какое вынесли ей взыскание за то, что приписала себе партстаж с 1915 года, а была членом партии с 1917-го. Да еще в гражданскую войну больше по командировкам находилась.

Гуринштейн. «За неизжитую психологию Бунда из партии исключить».

Гуринштейн тяжело вздохнула и, будто из нее выпустили воздух, как пустой мешок, опала на стул.

Я, грешным делом, очень обрадовался, что ее постигла такая смертельная для коммунистки судьба.

И вот наконец Сосюра.

«За сдачу партийного билета вынести строгий выговор с предупреждением».

А Ленин смотрит на меня со стены, тепло улыбается своими мудрыми прищуренными глазами и словно говорит: «Признайся! Ты же для красного словца, чтобы быть оригинальным, выступал против моей любви к Пушкину. Ты тоже его любишь!»

И душа моя ответила Ленину: «Люблю! А еще больше люблю тебя, великий, бессмертный!»

И, переполненный счастьем, я взглянул на мир так, как смотрел тогда, когда красные братья, вместо того чтобы расстрелять меня, приняли в свои ряды бойцов за весь бедный люд...

Первый арест, как писал Хвылевой в своем предсмертном письме перед самоубийством, «первый выстрел по нашей генерации» (не по «Новой генерации» Полищука, которая состояла из него одного, а по генерации писателей, которые творчески шли за Хвылевым), первым арестом был арест Миши Ялового, которого все мы очень любили, прекрасного коммуниста и человека, поэта (Юлиан Шпол) и прозаика («Золотые лисята» — роман).

Не зря все мы называли его Мишей, ласково, как любимого брата. Какой это был светлый человек!

Когда он был секретарем редакции журнала «Червоный шлях» и я принес ему отрывок из «Третьей Роты» («Из прошлого»), он прочитал его (это о кровавом периоде моего пребывания у Петлюры) и сказал мне:

— Не советую тебе печатать!

Я:

— Почему?

Он:

— Слишком пристальное внимание.

Я сказал:

— Печатай.



Грешным делом, я, когда его арестовывали (а мы же верили нашим органам безопасности), подумал, что «пристальное внимание» было направлено на него, что у него совесть была нечиста и он, считая меня тоже грешником, предостерегал меня словами: «Слишком пристальное внимание».

А теперь выяснилось, что совесть его перед революцией была чиста как слеза, как и у многих других, кто вслед за ним ушел в небытие с ужасом в сердце. Они же думали, что гибнут от рук своих, и ужас этот был идейный, самый страшный. Ведь когда умираешь от рук врага, то знаешь: духовно — ты не умрешь, тебя никогда не забудут красные братья, а когда умираешь от рук своих, как враг народа, это страшно, потому что это не только физическая, но и духовная смерть.

За арестом Ялового прозвучал выстрел из браунинга, которым Микола Хвылевой прострелил себе череп, и мозг гения забрызгал стену его комнаты, где он творил, клянусь сердцем, только из любви к своему народу.

А. Н.<sup>60</sup> хочет убить Хвылевого духовно. Нет! Хвылевой как писатель, как гений бессмертен. И не Н., который ходил под столом, а может, и вовсе его еще на свете не было, когда мы с Хвылевым открывали первые страницы Октябрьской литературы, не Н., этому литературному флюгеру, хоронить память о гениальном сыне Революции, который был бойцом багряного Трибунала Коммуны, а погиб от черного трибунала, только не Коммуны, а тех, кто по-змеиному выскользнул из-под контроля партии и хотел мечом диктатуры пролетариата уничтожить завоевания Октября. Но из кровавых рук врагов народа, действовавших от имени народа, выбили меч руки партии и отдали его снова в честные и святые руки сынов Дзержинского.

### ЛИИ

Вернись еще чуточку назад, собственно не чуточку, а далеко назад.

Когда мы с Хвылевым пришли в Октябрьскую украинскую литературу, в ней были Эллан, Кулик, Коряк, Доленг, к нам присоединился Йогансен, потом приехал из Галиции Полищук, появились Копыленко и Сенчен-ко.

Я не говорю о Кисе, где засияла такая звезда Октябрьской поэзии, как Василь Чумак (песню которого — «Больше надежды, братья!» — мы пели на рабфаке). Чумак и еще Заливчий<sup>61</sup>, первого искололи штыком в подвалах деникинской контрразведки, а второй героически погиб во время восстания против гетманцев в Чернигове. Ну и конечно, Тычина. Словом, мы начали творить украинскую литературу Октября, когда нас можно было пересчитать по пальцам.

А литвечера в сельстрое! Какое это было счастье, когда воедино бились наши молодые сердца с сердцами таких же, как и мы, молодых читателей, которые так же, как и мы, любили родное художественное слово.

Как чудесно знал современную русскую литературу и пропагандировал ее среди нас, молодых писателей, Копыленко, как он приветствовал все новое и прекрасное в ней, как любил он все новое в литературе Украины!

А Сенченко Иван!

Безусловно, в его первых стихах (да и Копыленко начинал как поэт) было дыхание гения, в стихах о новом, советском городе, которые он вставлял в свою прозу со скульптурными образами. Жаль, что Иван почему-то перестал писать стихи и, очарованный прозой, окончательно влюбился в нее и остался верным ей до конца.

И тихий, и мудрый Доленго Миша, которого я очень любил как литературного труженика, немного странноватый, с причудами поэт, но именно тем и привлекательный, прекрасный критик с тонким художественным вкусом. Его я люблю и сейчас. И сейчас он такой же, каким и был, тихий и мудрый.

А Эллан! Первый после Кулика живой поэт, которого я, еще начинающий, увидел и полюбил всей душой за сине-стальные глаза с острым холодком в зрачках, когда он волновался, и властно сжатые губы, когда говорил о задачах поэзии Октября.

Солдати, солдати, солдати  
під знаком червоних зірок!..

Или:

Ніжно іскрять апарати Кремля  
на словах маніфесту-декрету...

Ну и конечно, «Ударом зрушив комунар...» и «Повстання».

Да. Он был и другом, и учителем для таких, как я. ~~Всегда для других и никогда — для себя.~~

Василь был прекрасным богатырем духа, всем своим существом преданный коммунизму, подчинивший все личное общему, таким он и ушел от нас, когда его пламенное сердце перестало биться для революции, чтобы вечно биться в строках его поэзии, оставленной для нас и наших потомков.

Как я их всех любил! И Хвылевого, и Коряка, и Пилипенко, и Йогансена (поэта-чародея), и Копыленко, и всех, кто зажег свое сердце огнем любви к народу и светил им своему народу на путях его героических исканий.

О каждом трудно рассказать, почти невозможно, ибо нас становилось все больше и больше. Но все они слились для меня в один образ, который светит мне из дней моей юности, и образ этот никогда не погаснет перед моими глазами. А когда мои глаза погаснут, он будет светить моему бессмертному украинскому народу...

И вот Хвылевой застрелился, застрелился Скрыпник, которого я тоже любил всем сердцем и на которого смотрел, как [и] на своего коммунистического отца, называя «красным львом Революции».

Нас вызвали на бюро Дзержинского райкома — Кулиша, Досвитного<sup>62</sup>, Касьяненко<sup>63</sup> и меня, чтобы мы сказали о своем отношении к самоубийству Хвылевого и Скрыпника. Секретарь райкома, высокая энергичная женщина (забыл ее фамилию), дала нам слово.

Ну, все выступили как бог на душу положит. Но вот взял слово военный в шинели, с перевязанной бинтами головой (я еще не выступал) и говорит:

— Кто не знает такого поэта, как Сосюра. У нас есть сведения, что Сосюра имел со Скрыпником связь не только как с наркомом просвещения, а еще и по линиям, которые сейчас выясняются...

Когда мне было дано слово, я сказал:

— Товарищ с перевязанной головой сказал о каких-то иных «линиях» моей связи со Скрыпником. Пусть это остается на его совести. Недаром у него перевязана голова. Кроме писем к т. Скрыпнику, в которых я каялся ему в своих уклонах, как поэт, так как я смотрел на него как на партийного руководителя, «математика Революции», как я называл его в письмах, да нескольких посещений его на дому, где я читал ему по его просьбе свои

стихи, никаких иных «линий» связи с ним у меня не было. Пусть товарищ с перевязанной головой скажет открыто, какие еще иные связи были у меня со Скрипником. Все здесь коммунисты, и сказать про это надо, не пряча во мраке, и не пугать меня бессмысленными угрозами, так как, клянусь, товарищи, что он и другие, даже не с перевязанными головами, будут выяснять эти мифические иные «линии» связи со Скрипником до второго пришествия, а поскольку его никогда не будет, то и никогда не выяснят этих глупо выдуманных с чужого голоса иных «линий» связи с так страшно ушедшим от нас человеком.

Я верил официальной трактовке смерти Хвелевого и Скрипника и искренне сказал, что я любил этих людей и мне очень тяжело разочаровываться в них. Что я осуждаю их самоубийство, что это — страх ответственности перед Трибуналом Коммуны, что это позорное дезертирство.

Секретарь райкома сказала, что выступление Кулиша, Досвитного и Касьяненко неудовлетворительны, а мое выступление она признала искренним и удовлетворяющим ее. С этим согласились и остальные.

И еще я помню. Солнечный день, калитка двора дома «Слова», и возле нее стоят Досвитный и Эпик. Я был чем-то очень возмущен, а они по-доброму успокаивали меня, говорили, что все будет хорошо, а над ними, молодými, стройными и красивыми, уже замахивалась из тьмы своей острой и беспощадной косой смерть... А может, они и знали об этом, ведь за ними уже ходили ее двуногие тени...

## LIV

Еще я забыл написать о самом прекрасном и самом страшном в моей жизни — о любви и о голоде.

Голод только коснулся нас с Марией<sup>64</sup> своим черным крылом, но многих и многих он не только коснулся, но и столкнул в неисчислимые могилы на моей милой Украине.

Началась коллективизация.

Она шла нереальными темпами, массовым порядком, и появилась статья Сталина «Головокружение от успехов». Потом, немного позже, в 1932 году, в Кисловодске один больной астмой старый большевик сказал мне:

«Все как будто хорошо по статье Сталина о головокружении. Но меня, душу мою терзает черная кошка сомнений... Почему Сталин одной рукой пишет статью «Головокружение от успехов», а другой рукой подписывает тайную инструкцию о прежних бешеных темпах коллективизации».

Как-то странно писать о любви на этом страшном фоне страданий миллионов, и я скажу просто. Меня посылали на месяц в Сталино для работы с начинающими поэтами.

Я зашел к Вере и спросил ее (я иногда приходил к сыновьям):

— Если я встречу человека, которого полюблю на всю жизнь, ты разрешишь мне жениться?

И губы той, о ком я написал стихотворение «Так никто не любил», мертво ответили мне:

— Разрешу.

И я в Сталино женился, встретив свое синеокое счастье и горе — на всю жизнь.

С Марией я приехал из Донбасса в Харьков.

Как-то на улице я познакомил Марию с Верой, и Вера, бледная, со сжатыми от печали и гнева устами, процедила своей подруге, когда они отошли от нас:

— А она красивая...

И вот начался голод.

На витринах продовольственных магазинов белели только одинокие головы капусты, иногда — картофелины. Продавцам нечего было делать, и они, грустные и жалкие, стояли за прилавками во всем белом, как в китайском трауре.

Улицы, как и во время безработицы и нэпа, были заполнены селянами в свитках, только без пил и топоров, голодные братья мои, от голода они уже не могли ходить, и их свозили в специальные места.

Иногда они ходили по квартирам нашего дома «Слово», но на верхние этажи уже не могли подняться. Я жил на втором этаже, и когда они приходили ко мне, то поделиться с ними я мог лишь хлебом, ничего другого у нас не было. Мы и сами ели только раз в день и делали все возможное, чтобы сына покормить трижды в день.

А они, худые и желтые как воск, едва шевелили пересошими и горячими от внутреннего жара губами:

— Хоть бы кусочек мяса...

Но где я мог его взять?..

Полупогасшие глаза страдальцев моего народа с тяжким укором глядели в мою залитую слезами душу, и страшные их муки накапливались в ней, чтобы в 1934 году вспыхнуть гипоманиакальным пожаром.

Мы, полуголодные, толпимся у окна писательской столовой, на первом этаже нашего дома «Слово», а жена одного известного писателя, который чудом остался в живых после недавно испытанных ужасов в местах, «куда Макар телят не гонял», стоит над нами на лестничной площадке и с презрительным высокомерием говорит нам:

— А мы этими обедами кормим наших щенков...

Я возненавидел ее за эту фразу и, когда ее репрессировали, подумал: «Так этой куркульке и надо!»

И вот 1933 год.

Меня послали на Никопольщину, собственно в сам Никополь, на строительство трубного завода. Я поехал с женой, а сын остался дома с ее сестрой.

После того как я побывал на строительстве, помощник начполитотдела показал мне рыбацкие артели и артели коллективизированные.

Когда мы шли в одно село (уже начинала зеленеть весна), то увидели маленькую девочку, которая опухшими руками срывала с куста какие-то ягодки, еще зеленые... При виде этих бедных опухших ручонков сердце мое словно остановилось и весь мир дрогнул во мне и вокруг... Но это длилось лишь миг, я снова вернулся к жизни.

В селе входим в колхозный детсадик, который разместился в сарае, — вернее, в столовую детсадика. Дети сидят на корточках вокруг низенького круглого стола, едят деревянными ложками, все из одной миски.

Одна девчушка наберет ложку мутноватой жидкости, поднесет к губам, проглотит и оближет ложку, потом снова, проглотит и оближет...

Мы спрашиваем ее:

— Почему ты так делаешь?

А она:

— Чтоб дольше есть...

Боже мой! Я видел только капельки страданий моего народа, но и эти капли падали искрами на мое сердце и прожигали его насквозь.

А писать о том, что мне рассказывали другие, я не могу, потому что у меня и так страшно горит лицо и остро болит затылок.

Еще задолго до этого ужаса, который нам пришлось пережить и не сломаться, мы выстояли среди моря трупов и на своих плечах (я говорю обо всем народе) понесли дальше святую ношу труда во имя коммунизма, ведь даже то, что делалось именем рабочего класса, именем партии, не оторвало крестьян от рабочих, не вызвало страшного восстания, как акта социального самоубийства, на которое толкали людей наших черные руки врагов и левых загибщиков, коллективизировавших народ под дулами наганов.

Святой наш народ. Он все выдержал, и даже такие страшные жертвы не поколебали его веры в партию. Настолько политически вырос наш народ, что он не только чувствовал, но и знал, что партия проводит его линию, но ее извращают те, кто заинтересован в дискредитации советской власти перед украинским народом, который был и есть сам советская власть, как и русский народ, как и все народы-братья.

А какой дурень сам всадит нож в свое сердце? Так и наш народ.

Хотя и существует страшный афоризм, выдуманный вырожденками человечества, который приводит [...] <sup>65</sup> в одном из своих романов:

«Не надо человека вешать, а надо его довести до такого состояния, чтобы он сам повесился».

Я считаю, что этот афоризм превосходит все иезуитские «идейные» концепции.

Но, повторяю, народ наш выдержал, и в этом его бессмертие, и я горжусь моим народом и молюсь ему, как когда-то молился богу.

Только народ мой выдержал, а я — нет, у меня случилось расстройство психики. Но об этом потом.

Простите, дорогие читатели, что я уже стал применять методы киноаплыва и все возвращаюсь назад, но это не потому, что я такой уж забывака, делаю я это, чтобы успешнее двигаться вперед и чтобы яснее было то, что наступит.

В 1926 году мы, украинские писатели, после друже-

ского визита к синеокой сестре Украины Белоруссии, где я близко, по-родственному узнал чудесных и светлых Михася Чарота, Дубовку, Александровича, не говоря уж про таких великанов, как Якуб Колас и Янка Купала, с таким же визитом отправились к белокурой сестре Украины, могучей сестре всех советских народов, в Россию, в Москву.

И вот Москва... Не такая, как теперь, словно летящая в грохоте и звоне, в гигантском разбеге к счастью, а скорее большое село, но такая же родная, как и сейчас.

Нас принимал товарищ Сталин в здании ЦК ВКП (б). Но перед тем как он вошел, с нами разговаривал на очень искаленном украинском языке Каганович, и это меня сильно раздражало.

И вот вошел товарищ Сталин.

Все смотрели на него как на божество, а когда т. Сталин что-то спросил, Кулик, как школяр, поднял руку, и я видел, как под столом от подхалимского восторга мелко тряслась его левая нога...

Мне и Пилипенко очень хотелось есть, а может, это из-за какой-то подсознательной бравады, но мы с ним вполуха слушали тов. Сталина, потому что пили чай и поглощали бутерброды с колбасой.

И все же меня навеки поразили слова человека, в образе которого мы видели партию, народ. Он воплощал в себе для нас все, и природу нашу, которую народ изменял своим героическим трудом, и благодаря этому изменялся сам, и самое святое в мире — Отчизну:

— Я получаю письма от всего Советского Союза, в которых мне пишут следующее: «Зачем развивать национальные культуры? Не лучше ли делать на общепринятом языке (подразумевается под этим русский)», — говорит т. Сталин. — Все это глупости. Только при полном и всемерном развитии национальных культур мы придем к культуре интернациональной. Иного пути нет и не может быть.

Эти слова нашего вождя, как золотой маяк, светили мне в темные ночи моих колебаний в вопросах языка, в моей бесконечной муке и тревоге за душу моего народа, за украинский язык, и эти колебания до сих пор потрясают меня, и я не сплю ночами и все думаю, думаю...

Я считаю неверным утверждение товарища Кириченко (он сказал это на приеме украинских писателей в



ЦК КПУ, когда работал на Украине): «Украина — не Болгария».

Да, Украина — не Болгария, но Украина и украинский народ не давали права ни Корнейчуку, ни Белодеду<sup>66</sup> говорить, что украинцы — двуязычная нация.

Мое сердце обливается кровью от возмущения и гнева на этих людей.

Ну пусть т. Кириченко ошибается!

Но ни Корнейчук, ни Белодед не «ошибаются», они это говорили потому, что сами двуязычны и навязали это украинскому 45-миллионному народу бюрократическим путем, если не сказать хуже, расписывались за бессмертие, перед которым они — всего лишь прах!

Да, Украина — не Болгария.

В Болгарии болгарский язык не испытал судьбы украинского, хотя турки и пытались сжечь его со света... Но русское самодержавие, взяв себе в помощь страшного сообщника — православие, довело наш народ до того (почти за 300 лет), что он забыл свое имя (нам даже в церквях запрещали молиться на своем языке, не говоря уж про школы), и когда спрашивали украинцев, кто они, то у всех был один страшный ответ: «Мы — православные».

И вот теперь великодержавные шовинисты всех мастей берут себе в союзники русский язык, чтобы ассимилировать наш народ в русской культуре.

Неужели это нужно великому, святому и благородному русскому народу («Повинную голову и меч не сечет», «Лежачего не бьют»)?

Нет! Русский народ не акула, а наш великий брат, и не зря советский Рылеев — прекрасный русский поэт Прокофьев — выступил в журнале «Огонек» в защиту украинского языка, как перед этим товарищ Сафронov — также один из лучших сынов братского русского народа — ответил на крик моего сердца, когда он был на Украине, на «Любіть Україну» он благородно и мужественно ответил:

— Люби Украину!

Вот истинные сыны России, а их семьдесят, если не больше, миллионов, и все они так думают, и все они любят Украину святой братской любовью, и вера в это рассеивает ночь в моей душе, и в ней встает залитый слезами рассвета день, потому что есть у нас великий союзник, и он не отдаст на поругание наш украинский язык всяким

воробьевым и белодедам. Я твердо верю в это, как верю в бессмертие моего народа, которому молюсь, как когда-то молился богу.

После Москвы меня с группой товарищей послали в Ленинград. Нашу бригаду возглавлял Микитенко<sup>67</sup>.

В гостинице мне дали общий номер с Микитенко.

Был выходной день, и мы должны были пойти в Эрмитаж.

Ко мне пришла знакомая, которая понравилась Микитенко, и он пригласил ее в свою комнату. Через несколько минут она, возмущенная, вышла из комнаты, а за ней — он, красный и злой.

Микитенко мне:

— Ты идешь в Эрмитаж?

Я:

— Ко мне пришла знакомая, и в Эрмитаж я пойду позже.

Микитенко вышел и сердито хлопнул дверь.

Потом, после Эрмитажа (я не ходил), мы обедали в ресторане гостиницы, и Микитенко набросился на меня при товарищах, стал читать нотацию:

— Какой ты делегат!

И перейдя на русский язык:

— Когда приедем на Украину, мы тебя в дугу согнем!

Я возмутился и страшно оскорбил Микитенко, обзав его «вождем» с добавлением дурнопахнущего эпитета. Он покраснел от злости, бросил ложку и перестал есть. Сидел и думал. Долго думал. А потом говорит:

— Давай помиримся.— И протягивает мне руку.

А когда вернулись на Украину, началось избиение. Я стал писать поэму «Мазепа». Отрывок из нее — вернее, ее начало — я послал в журнал «Життя й Революція», «Мазепу» напечатали, но с пометкой, что это не отрывок, а поэма!

Образ был еще только эмбрионом, а меня даже за эмбрион стали бить. И возглавляли это избиение Микитенко и Кулик.

Результатом такого избиения стал сборник стихов «Сердце», в котором я, гиперболизируя образ поэта,

описывал, как он, приходя по ночам пьяным, избивает свою белокурую жену, одним словом, разлагается, забыв о заводском окружении, из которого вышел.

Редактор газеты «Коммунист» т. Таран воспринял это так, будто бы я пишу о себе (я писал как лирик от первого лица), и в результате этого недоразумения в «Коммунисте» появилась статья «Желтая муть».

Я пришел к Тарану в его редакционный кабинет и, задыхаясь от гнева, сказал, глядя в его ненавистное и спокойное лицо:

— Что, кулацкая морда!.. Радуетесь?.. Но знай, что ты не Савченко, а я не Чупринка!

А Таран, в синем костюме, холеный и невозмутимый (это происходило при его подчиненных), только пальцы его мелко и нервно барабают по столу, говорит:

— Идите, идите!

Я:

— Я-то пойду, а вот тебя вынесут отсюда вперед ногами...

Полный гнева и отчаяния, бродил я по прекрасным улицам Харькова, затравленный «литературной саранчой», как образец поэта Каца, который кричал на меня с трибуны писательского собрания:

— Мерзавец!

А потом голод, и в 1934 году — Сабурова Дача<sup>68</sup>.

Обманным путем меня бросили в нее Кулик и Микитенко — он был закулисным руководителем, по образованию — невропатолог.

Травлей и всем, виденным мною в 1933 году в Харькове и на Никопольщине, я был доведен почти до состояния горячки.

Когда мне передали слова жены Микитенко: «Сосю-ра?! Да он же фашист!» — то я, узнав, что ее брат был сослан на Соловки как крупный спекулянт, встретив ее однажды с микитенковским холуем Дубровским, сказал ей:

— Я тебе покажу, чертова спекулянтка, какой я фашист!

Ну, сное дело, я — сумасшедший, иначе как бы я посмел сказать такое всевластной супруге литературного деспота Микитенко, у которого даже походка стала начальственной и даже тени которого боялись все, ведь он был вхож к самому Хвеле<sup>69</sup> и расправлялся с каж-

дым, кто хоть чуточку его критиковал, как с классовым врагом.

По записке Кулика меня отвезли в дом умалишенных на машине Затонского (его жена была директрисой всех психиатрических учреждений Украины), в машине сидел переодетый милиционер, а шофером был т. Богатырев.

Люди мне все говорят.

Я даже знал, что обо мне говорил т. Затонский, которого как члена Советского правительства едва не расстреляли в Киеве красногвардейцы во время гражданской войны, когда Муравьев — этот изменник и провокатор — отдал приказ расстреливать за каждое украинское слово.

И несмотря на это, Затонский писал в своей брошюре «Национальный вопрос» или «О национальном вопросе», что каждый красноармеец, который расстреливал за каждое украинское слово, «объективно боролся за Советскую власть!».

Какой кровавый цинизм и унижение! Такие красноармейцы ничем не отличались от контрреволюционеров, если они так рьяно выполняли контрреволюционный приказ. В порядке революционной совести они могли не выполнять этого страшного приказа, направленного на дискредитацию советской власти среди украинского народа. Правда, позже Муравьева расстреляли как изменника, но духовно не расстреляли за киевский погром украинцев.

А духовный расстрел Муравьева и таких, как он, это — украинизация, за которую я всем сердцем, тем более что против украинизации были троцкисты.

Странное дело, но у т. Кулика были и хорошие черты, за которые я любил его, и одна из них мне запомнилась на всю жизнь.

Было это в 1923 году в «Хараксе» (южный берег Крыма).

Товарищ Кулик и бывший редактор киевской газеты «Пролетарская правда» говорили об украинизации (а я слушал). Кулик был за, а тот редактор, троцкист и великодержавный шовинист, был против украинизации.

Тов. Кулик сказал:

— Ленин говорил: «Тот коммунист, который, живя и работая на Украине, не знает украинского языка, — плохой коммунист».

А троцкист ему:

— Мало ли какими словечками бросался Ленин!

Это уже теперь на собрании писателей выступал т. Червоненко<sup>70</sup> и говорил, что нельзя одним росчерком пера исправить все искривления ленинской национальной политики, что государство не может вмешиваться в эти вопросы (в языковые вопросы).

Я молчал.

Но через два-три дня я прочел в «Правде», что в Узбекистане или Таджикистане, не помню, но помню точно, что в одной из среднеазиатских республик, государство премиями поощряет учителей за лучшее преподавание русского языка. Ясное дело, если бы «Правда» напечатала это сообщение до собрания, на котором выступил т. Червоненко, я бы ему сказал:

— Значит, на Украине государство не вмешивается в языковые дела, а в Средней Азии вмешивается! Значит, меня толкают на печальные и гневные раздумья: государство для русского языка — мать, для нашего — мачеха.

Но я верю, что это — неправда, у меня есть светлая надежда на то, что если государство и народ — это одно и то же, то украинский язык займет такое место, которое должен занимать 45-миллионный народ, делающий гигантский вклад в наше общее дело по построению коммунизма, и не только материальный, но и духовный.

Еще в 1926 году т. Затонский говорил обо мне на Политбюро ЦК КП(б) У, что со мной надо «расправиться ножом», а т. Любченко Панас Петрович<sup>71</sup> спас меня от смерти.

И об этом говорили мне люди.

Я знал все, что есть против меня и в МГБ. Об этом мне тоже говорили люди.

Представляете, познакомился я с таким себе богемным Мазюкевичем, который, по его словам, тоже был у Петлюры, а потом в 1-м Черноморском полку, сформированном из пленных петлюровцев и денкинцев, при 4-й Галицийской бригаде, перешедшей на сторону Красной Армии. И когда этот полк восстал против советской власти и меня хотели расстрелять, то будто бы он (Мазюкевич) на старшинском собрании заступился за меня, мол, «Сосюра наш, только сагитированный большевиками».

Вот про этого Мазюкевича, приехавшего из Чехословакии на Украину, один студент, тоже приехавший из Чехословакии, рассказал мне, что его исключили из чехословацкой компартии как провокатора.

Однажды (я не был алкоголиком, но иногда за компанию выпивал, и основательно-таки выпивал, иногда до беспамятства, так вот однажды, когда в гостях у меня были Фореггер, тогдашний руководитель балета Государственной оперы, Плетнев-танцор и две или три балерины и я хорошенько выпил, Мазюкевич, идя со мной по комнате, громко, чтобы все слышали, сказал мне:

— Помнишь, как мы с тобой расстреливали комиссаров?..

Я был настолько пьян, что вместо того, чтобы тут же вышвырнуть провокатора вместе с его компанией, которая во главе с Фореггером настороженно слушала, обхватил левой рукой его змеиную талию и мирно и спокойно сказал ему:

— Ты фантазируешь.

Были у меня и такие «знакомые». А сколько их было, особенно среди женщин...

Когда же я их разоблачал, они исчезали, но вместо них появлялись другие.

Не зря в Одессе одна бедная слепая интеллигентка-нищенка, которой я, проходя мимо, всегда давал денег, сказала:

— Остерегайся женщин.

То же самое через много лет сказал мне товарищ Назаренко, тогдашний секретарь ЦК КПУ, когда «законники» репрессировали мою жену Марию:

— Не доверяй женщинам.

И вот я в доме умалишенных, куда меня доставили поздней ночью, в психиатрическом отделении, которым заведовал профессор Юдин Тихон Иванович. Принимала меня его ассистентка Вера Васильевна Яблонская. Я стал возмущенно кричать, ругаться, даже назвал ее грязным словом, которым называют уличных женщин, и чтоб напугать ее, сделал резкий выпад правой рукой, целясь ребром ладони в ее горло, но тут же задержал руку, ведь она все-таки женщина.

Она тут же подала знак глазами — и...

На меня жутким градом посыпались сзади и с боков санитары... Того, что кинулся на меня спереди, я отбро-

сил ударом ноги ниже живота, но мой удар не причинил ему боли — он был в кожаном фартуке.

Сзади мне сдавил горло железной рукой, обхватив шею (средневековый прием «хомут»), санитар выше меня ростом, он так сдавил горло, что нельзя было дышать, и я перестал бороться.

Мне, как распятому — руки вытянули в стороны, — сделали укол, и словно горы обрушились на мое сердце — выдержит или нет, — но сердце выдержало, а я стал как студень, покорным и безвольным, и почему-то во мне воскрес ребенок. Когда медбрат Бородин, душивший меня средневековым приемом за горло, вместе с санитарями вел меня в буйное отделение, я плакал и просил:

— Дядя, я больше не буду!..

Меня привели в буйную («неспокойное отделение») и, грубо сорвав с меня одежду, швырнули, словно вязанку хвороста, на железную, почти голую койку...

А вокруг меня ад, полный непрерывного движения и бреда. Один бегаёт вокруг кроватей и кричит, что он горит, что он тонет, второй, разбитый параличом сифилитик, просит закурить, а у меня нет, и он щиплет и крутит мою кожу своими острыми ногтями... А я лежу безвольный и равнодушный.

Мне не страшно, я даже повеселел, когда мальчик, в одном белье бегавший вокруг своей койки, крикнул:

— Цветет Червона Украина!

Я подумал: если меня знают даже сумасшедшие, то мне нечего бояться.

А утром меня перевели из буйного, поставив мою кровать за стенкой рядом.

Пришли врач с профессором. Один из них сказал, посмотрев мне в глаза:

— Вы в полном сознании, но зрачки у вас расширены.

Я:

— Доктор! Если бы вам вприснули столько наркотической гадости, как мне, то у вас глаза б повылазили.

Мне позволили ходить в пределах коридора и знакомиться с больными.

Я вошел в курилку, где трое сумасшедших коллективно сочиняли стихи.

Один говорит:

Буря мглою небо кроет...

Второй:

Выхожу один я на дорогу,  
сквозь туман кремнистый путь блестит...

А третий:

Что ты спишь, мужичок,  
ведь весна на дворе,  
ведь соседи твои работают давно...

Я:

— Товарищи! Ведь это не ваши стихи. Это — Пушкина, это — Лермонтова, это — Кольцова...

Они, как тигры, приготовились броситься на меня и заорали:

— Ты что на нас нападаешь!..

Была открыта форточка, и я попросил их:

— Товарищи! Закройте, пожалуйста, форточку.

И они все трое вежливо полезли закрывать форточку, а я вышел из курилки.

Навстречу мне шел Юдин. Я сказал ему:

— Профессор, что же вы посадили меня с безнадежными!

Однажды, когда мне стало известно, что больным делают рентгеновские снимки мозга, я попросил профессора и мне сделать такой снимок.

Он показал на свой лоб:

— У вас здесь все в порядке.

Я:

— Зачем же вы здесь меня держите?

Он:

— Инструкции.

Мне все стало ясно.

И я решил убежать с Сабуровой Дачи.

На больных было только нижнее белье, халат и тапки. Мне же по моей просьбе профессор разрешил вернуть рубашу, штаны и башмаки.

Дежурила хорошая сестра, студентка, любившая мои стихи, она и разрешила мне выйти погулять во двор. Сумасшедшие, как правило, убегали через пролом в стене, и санитары быстро догоняли их.

Я же прошел через ворота, и сторож пропустил меня, подумав, что я один из сотрудников Сабуровой Дачи.



Между прочим, врачи утешали меня, что на Сабуровой Даче лечился Гаршин<sup>72</sup>. Мол, это честь мучиться там же, где мучился Гаршин.

Санитары, конечно, шарили по оврагам, разыскивая «сумасшедшего» Сосюру, а я подошел к трамвайной остановке, которая находилась метрах в ста, а может, и больше, от Сабуровки, и приехал домой.

Дома, естественно, паника.

Было уже темно, и в коридоре я зацепился за цинковое корыто. Жены не было, а сестра ее, Сима, истеричная особа, подняла страшный крик, подумав, что я крушу квартиру.

Один только сынок мой, двухлетний Вова, светло улыбнулся и пошел ко мне на руки. Он очень обрадовался мне. Жена и ее сестра считали меня безнадежным сумасшедшим, потому что так им сказал Хаим Гильдин.

Между прочим, перед моим побегом профессор сказал мне, что дальнейшее пребывание в его отделении будет меня угнетать. Так что я убежал не только потому, что сам этого захотел.

И вот пришел за мной (Сима куда-то убежала, и я остался один с сыночком на руках) санитар. Это был волосатый и широкогрудый гигант, похожий на троглодита, с тупым и равнодушным узколобым обличем дегенерата. Я взял плитку из-под электрического утюга и сказал, что расколю, как дыню, его пустую башку, если он прикоснется ко мне.

Сынишка плачет и ругает обезьяноподобное чудовище и машет на него маленькими ручонками, а тот настороженно сидит на диване и все делает такие движения, словно его бьют током ниже спины, готовится броситься на меня, но плитка из-под утюга, обращенная к нему острием, останавливает его.

И он сидит, готовый навалиться на меня горой своих мускулов. Глаза у него горят, как у волка, который ждет удобной минуты...

А сын все плачет, и кошмарная ночь заглядывает в окно.

Такое напряжение не могло длиться бесконечно, вот-вот должно было случиться что-то страшное.

И санитар это чувствовал, ибо глаза мои тоже горели огнем, и, наверно, еще более диким, чем у него. Но я изо

всех сил сдерживал себя, чтобы не броситься на него и не ударить острием плитки так, чтобы она впилась в его ненавистный череп.

Я знал, что он — машина, тупой исполнитель, и этим сдерживал себя.

Наконец вошел Иван Кириленко и стал уговаривать меня вернуться в сумасшедший дом.

Приближалась партчистка, и я товарищам говорил (до психдома), что выступлю против Микитенко, потому что он скрыл от партии свое социальное происхождение, что он сын кулака, а не бедняка, как писал в анкете.

Мне же люди все рассказывают.

Это было невыгодно Микитенко, и меня сделали сумасшедшим. А Куличок ненавидел меня за мои «уклоны» в национальном вопросе, хотя сам он любил свою национальную мелкую буржуазию.

Когда мы обсуждали устав ВУСППа и Хаим Гильдин внес предложение записать пункт о борьбе с еврейским шовинизмом (председательствовал Кулик), то Кулик сказал, что такой пункт не стоит включать в устав, потому что это «нетактично».

Микола Терещенко смущенно улыбнулся и поддержал его.

А я выступил и сказал:

— Если мы этот пункт не включим в наш устав, то будем не пролетарской организацией, а мелкобуржуазной. Партия и этот пункт написала на своих знаменах, а Кулик хочет, чтобы мы были выше партии?!

Но прошло предложение Кулика.

Гильдин молчал.

И еще: товарищи, шутя между собой, говорили, что «сумасшедший Сосюра пишет стихи лучше, чем нормальный Кулик».

Раньше я уже писал, что голод на Украине и травля, возглавленная Микитенко, довели меня до психического заболевания.

Это было почти так. Я был почти сумасшедший, моя взбунтовавшаяся душа могла вот-вот перехлестнуть за грани сознания...

Между прочим, когда на чистке т. Скуба (а я был тогда в психдоме) спросил Микитенко, правда ли, что он сын кулака, Микитенко ответил:

— А кто вам это сказал?

Скуба:

— Сосюра.

Микитенко:

— Так ведь Сосюра сумасшедший!..

И этим отвел от себя удар.

Я возвращаюсь к своему побегу.

— Это же правда, что Микитенко скрыл от партии свое социальное происхождение? — спросил я Кириленко.

Кириленко:

— Правда, но об этом ЦК знает. Своей творческой деятельностью он реабилитировал себя.

Я:

— Напротив, своим творчеством он еще сильнее усугубил преступление сокрытия от партии своего социального происхождения.

Я имел в виду его пьесу «Дело чести», которую я резко критиковал в товарищеской среде, а Микитенко за это смотрел на меня как на классового врага.

— Так ты не возвращаешься обратно? — спросил меня Кириленко.

— Нет! Я требую немедленного консилиума тут, на месте.

И вот приехал с врачами профессор Гейманович, и начался консилиум.

Меня убедили, что переведут в Москву (как я просил), только с условием, чтобы я вернулся на Сабурку, иначе нельзя оформить перевод.

И я вернулся в психдом.

Профессор Юдин сказал:

— Вы хорошо сделали, что сбежали. Это их встряхнуло.

В Москву меня препроводили в тапках, не дали даже заехать домой, чтобы взять штиблеты.

Сопровождающим был душивший меня за горло медбрат Бородин.

В Москве меня устроили в санатории для невротиков на Покрово-Стрешнево.

Мне позволяли, как я и просил, бывать в городе. И я часто ездил в Союз писателей. Меня любил Лахути, и я его очень любил, хотя мне не очень нравилось, что он смотрит на Сталина как на бога. А вообще Лахути был прекрасным человеком. Он не чуждался меня, как сумасшедшего, и при всех прохаживался со мной по коридо-

рам Союза писателей, угощал меня обедом в писательском клубе, давал деньги.

Позже он передал мне то, что говорил ему обо мне Ставский: «И охота тебе возиться с этим сумасшедшим поэтом! Его не сегодня завтра арестуют».

Но Лахути не поверил Ставскому и как брат не отрывал своей теплой и доброй руки от моей — измученной.

Вечная слава и хвала тебе, мой гениальный и смуглый брат!

Ты в самые страшные минуты моей жизни не вернулся от меня, мужественный, прекрасный и верный!

Да. Как же ты благороден и велик, народ России, твоими поговорками, в которых лучится твоя святая душа!

«Товарищи познаются только в беде».

«В беде познаются товарищи».

## LVII

Когда я вернулся из Москвы, столицей Украины стал уже Киев, и я с грустью смотрел в окно на соратников по перу, радостно готовившихся к переезду, ведь меня, опального, в Киев не брали.

Травля продолжалась.

Кулик сказал моей жене, когда она спросила его, почему вокруг моего имени заговор молчания:

— Мы не заинтересованы в популяризации Союры.

И вот писатели в основной своей массе переехали в Киев, а я и еще [кое-кто] из отверженных остались в Харькове, который сразу же, словно что-то потерял, тоже погрузился и стал уже не таким шумным и веселым, как тогда, когда был столицей.

Через некоторое время из Киева приехал, как секретарь парткома Союза писателей (киевского), Микитенко исключать меня из партии за поэму «Разгром»<sup>73</sup>, которую я начинал на свободе, а закончил за решеткой психдома.

Поэма была направлена против националистов, к которым я, веря нашим органам безопасности, причислял и Вишню, уже репрессированного, и Речицкого, и Мишу

Ялового, потому что и официальное мнение партии было таким же. Но о Хвылевом и Скрыпнике я написал с болью, как о людях, которые были коммунистами, но, обманув самих себя, стали врагами народа. И за то, что я написал о них так (хотя согласился изменить свое мнение о них, как требовала рецензия т. Щербины, в то время главног редактора писательского издательства), меня решили исключить из партии.

И вот Микитенко приехал из Киева расправляться со мной, потому что не был уверен, что это сделают харьковчане.

Началось партсобрание.

Я видел, что все делается по команде сверху, что вопрос обо мне давно решен, и поэтому почти не боролся.

Я сказал, что поэма была в общем-то принята к печати (мне даже гонорар wypисали), только надо было переработать ее в двух местах.

Выходит старик с длинной бородой и говорит:

— Сосюра говорит неправду, что ему предлагали переработать поэму.

Я:

— Как вам не стыдно! Такой старый и врете!

Микитенко:

— Как вы смеете оскорблять такого уважаемого человека!

Я:

— А что же он брешет!

Это был Крушельницкий<sup>74</sup>, приехавший из Галиции. Два сына его были репрессированы.

Я этого не знал.

Выходит Антон Лисовой<sup>75</sup> и говорит:

— Сосюра — как гнилой овощ, упал с дерева.

Фефер<sup>76</sup>:

— Поэма «Красная зима» — махновская поэма.

А Городской<sup>77</sup>, так тот прямо так и сказал:

— Сосюра? Да это же литературный паразит!

А когда я, доведенный до отчаяния, сказал, что поэму написал в состоянии душевной болезни, Городской издевательски бросил:

— А почему Сосюра не сошел с ума большевистски, а сошел националистически?

Ясно, меня хотели сделать политическим трупом и почти достигли своего, когда руки поднялись вверх, чтобы я пошел вниз...

Товарищ Логвинова, секретарь по пропаганде нашего райкома, направила меня техническим секретарем много-тиражки на фабрику «Красная нить».

Я там работал с осени 1934 года до лета 1935-го.

Студенты приходили на фабрику и грустно смотрели на меня...

Я не выдержал, оставил техническую работу на фабрике и поехал в Киев.

В Киеве я пришел в Наркомпрос на прием к т. Затонскому.

В коридоре наркомата я встретил Копыленко, который спросил меня:

— Приехал за правдой?

Я сказал, что да, и Копыленко, равнодушный и чужой, в черном костюме из сукна удалился по своим делам, а на мне был старый-престарый не костюм, а мешок...

Затонский меня принял.

Но двое его охранников почти нависали сзади над моими плечами.

Может, они думали, что я пришел застрелить товарища Затонского?

Нарком спросил меня:

— Почему вы обратились именно ко мне?

Я ответил:

— Потому что знаю ваше мнение обо мне.

Затонский:

— Могло быть и хуже...

Я:

— Почему?

Он:

— А что вы ляпали?

Я молчал.

Тогда Затонский спросил меня, над чем я работаю. Я сказал, что перевожу «Демона» Лермонтова. Он попросил меня прочитать перевод. Я прочел ему начало, и он сказал:

— Как в оригинале.

Потом он распорядился, чтобы мне выписали двести рублей на дорогу в Харьков, и, позвонив в Союз писателей, сказал мне, чтобы я зашел туда.

Но ведь я был исключен и из Союза писателей!

Я пришел к председателю Союза Антону Сенченко — лысому красавцу со жгучими черными бровями — и сказал ему, что хочу жить и работать в Киеве. Он ответил,

что это зависит только от меня, и позвонил в издательство, чтобы со мной заключили договор на сборник избранных стихов, и распорядился, чтобы мне купили новый костюм и выдали путевку в Ессентуки для моей больной жены.

За костюм, сказал он мне, денег возвращать не надо, на что я ответил, что я не нищий, деньги верну.

Он согласился со мной.

Чтобы все это реализовать, надо было прожить в Киеве несколько дней, а мне негде было ночевать, и одну ночь я провел на Шевченковском бульваре, и там же в голове у меня родилось стихотворение, которое я потом записал: «Сегодня я такой счастливый!»

Грустный шел я днем по улице Короленко мимо здания ЦК, который размещался в страшном потом № 33.

У входа в ЦК аж до земли тяжело и багрово свисали знамена. Я шел мимо них. Было лето, повеял теплый ветер, и красное знамя по-братски обняло меня всего, с головы до ног...

Сердце мое едва не разорвалось от счастья, и я подумал: «Нет! Большевики не исключили меня из партии!»

## LVIII

Из Киева, где со мной боялись даже здороваться («Не сегодня завтра он будет арестован...») и где в общежитии курсов молодых поэтов Геня Брежнев и Боря Котляров устроили меня «зайцем» и я тайком от коменданта ночевал у них в доме на улице Коминтерна, я поехал домой.

Гонорар, собственно аванс за сборник избранных стихов, я держал за пазухой, чтоб не украли. Там же была и путевка для Марии. Настроение у меня было еще не очень веселое, ведь перспективы оставались неопределенными, неясными.

Когда я входил в вагон, красноармейцы, ехавшие в нем, запели «Песнь о Якире» (слова мои, музыка Козицкого), которая в то время становилась народной, и я, бывший коммунист, слушая ее, тяжело рыдал в душе...

Но что я все о грустном!

Нужно и о веселом.

Вернусь снова немного назад, в то время, когда были живы те, кого уже нет среди нас.

В Харькове в клубе Блакитного был устроен диспут на тему «Пути украинского театра». Собрался весь цвет советской интеллигенции. Из Киева приехали артисты во главе с Гнатом Юрой<sup>78</sup>. Доклад делал Лесь Курбас<sup>79</sup>, который позже с трагическим лицом стоял у тела Хвылевого, прострелившего в отчаянии себе голову, а затем и сам ушел следом за ним.

Председательствовал т. Озерский, прекрасный, незабываемый человек.

После доклада началось обсуждение. Были хорошие выступления, не повторявшие друг друга.

Но меня поразили один оратор, который, нравоучительно подняв палец вверх, начал:

«Когда-то Маркс сказал» (цитирует).

«А Энгельс сказал» (цитирует).

«А Луначарский сказал...»

И тут я не выдержал и перед очередной цитатой врезался в молчание вопросом из публики:

— А вы что сказали?

Грохнул оглушительный хохот, и все чуть ли не упали со стульев.

А оратор так растерялся, что не мог продолжать свою речь и отдал ее в рукописном виде тов. Озерскому, который, поддерживая свой живот, сотрясавшийся от смеха, все повторял: «Товарищ Сосюра! Товарищ Сосюра!»

Ко мне подошел драматург Мамонтов и попросил выкинуть еще что-нибудь подобное, но я ему ответил:

— Хорошего — понемножку.

## ЛИХ

В 1937 году я переехал с семьей в Киев. Мне дали в «Ролите» — доме писателей — квартиру на шестом этаже, а потом на третьем, после того как репрессировали Семи-волоса, а позже Проня.

Грустно было на горе других, постигшем их не по моей воле, вить свое поэтическое гнездо.

Я продолжал свой литературный путь и хотя формально был непартийным, но духовно ни на минуту не отрывался от партии.



Когда мое исключение из партии было санкционировано бюро Харьковского горкома, секретарь горкома, длинноусый украинец (правда, говоривший по-русски), сказал мне:

— Мы оставляем двери партии открытыми для тебя. Только ты докажи своим творческим трудом, что тяжкие свои ошибки перед партией исправил (меня же исключили как «зоологического националиста!»), и мы возвратим тебя в свои ряды.

Между прочим, после того бюро мы вышли на Сумскую с Кузьмичом, секретарем нашей партийной организации, и он мне сказал:

— Ну, Володя, отдай мне партбилет...

Я весь внутренне задрожал от страшного отчаяния, душа моя зарыдала, закричала, а правая рука оторвала от сердца (или вместе с сердцем) и отдала Кузьмичу мое счастье, мое все, чем я жил, что мне светило, и пошел в сумерки...

Почему я отдал партбилет, а не боролся за него?

Я знал, что все согласовано с теми, кто «свыше», и что из моей борьбы ничего не получится. Даже не согласовано, а «свыше» сказано голосом Затонского: «Он не наш. Пусть у него хоть двадцать партийных билетов, но он не наш».

В 1939 году за выдающиеся заслуги в развитии украинской советской художественной литературы я был награжден нашим правительством орденом «Знак Почета».

Был правительственный банкет, связанный с именем бессмертного Шевченко.

Корнейчук спросил меня:

— Хотите познакомиться с Никитой Сергеевичем?

Я сказал, что хочу.

Тогда он подвел меня к товарищу Хрущеву и познакомил меня с ним.

Никита Сергеевич сказал мне:

— Я думал, что вы гораздо старше выглядите. Вы извините меня, что я так говорю.

Я ответил:

— Если бы я меньше пережил, я б выглядел еще моложе.

Держался я спокойно, но в душе — буря от воспоминаний всего, что так страшно довелось пережить...

А Никита Сергеевич смотрит на меня своими зелеными (а может, они показались мне зелеными от электрического света, а они карие?!) и удивительно чуткими глазами, и в мою душевную бурю проникает, словно луч солнца из окутанного грозовыми тучами неба, его спокойный, отцовский голос:

— Получите орден Ленина.

И моя буря враз стихла, и взволнованное море души стало спокойным, как глаза товарища Хрущева.

## LX

А мука от того, что я вне рядов партии, все росла, и настал момент, когда я позвонил в ЦК: хочу поговорить с Никитой Сергеевичем по личному вопросу, тем более что на правительственном банкете Никита Сергеевич мне говорил: «Жаль, что в таких условиях нет возможности поговорить как следует».

Но помощник Никиты Сергеевича товарищ Гапочка ответил, что поговорить со мной поручено ему.

Я же хотел быть принятым непосредственно Никитой Сергеевичем. Но сколько я ни звонил в ЦК, Гапочка сначала отвечал, а потом стал куда-то уходить, то на доклады, то на совещания.

И я написал письмо товарищу Сталину. Письмо было такое:

«Дорогой товарищ Сталин!

Пусть меня извинит Никита Сергеевич, что я через его голову обращаюсь к вам, но я никак не могу пробиться к нему через его бездушно-глухое окружение вроде всяких Гапочек и Нагорных.

В 1934 году меня исключили из партии как зоологического националиста, а я не мыслю жизни без партии.

Меня доводили до мысли о самоубийстве, но я не сделал этого потому, что слишком много страдал украинский народ, чтобы его поэты стрелялись».

Я так рыдал над письмом, что кровь едва не разорвала мое лицо. Особенно над концовкой.

«Ты мое единственное спасение и прибежище.

Отец! Спаси меня!!!»

Дословно я письма не помню, но про народ и спасение точно.

Я отослал письмо авиапочтой.

Но я не знал, что жена распечатала письмо и вложила туда справку от психиатра.

Так что письмо к тов. Сталину пошло со справкой, кажется, от профессора Абашева.

И ответ пришел молниеносно.

Мне в обкоме сказали, что от товарища Сталина пришло хорошее письмо обо мне. Я спрашивал о содержании письма, но мне не сказали. А письмо было такое: «Восстановить в партии. Лечить».

Это я так думаю, потому что на бюро меня вызвали без представителя нашей писательской организации т. Городского и разбирали дело без него.

Только мне не понравилось, что товарищ, который докладывал обо мне, говорил только плохое плюс и то, что я был у петлюровцев.

Вместо «Сосюра» он даже сказал «Петлюра».

Меня это возмутило, и я сказал спокойным людям, сидевшим за длинным красным столом:

— Неужели товарищ, который докладывает обо мне, не мог найти ничего хорошего, что я сделал для народа, а все только плохое, и даже вместо Сосюра назвал меня Петлюра?!

Секретарь обкома спросил меня:

— Как вы считаете, были у вас уклоны?

Я ответил:

— Да, по национальному вопросу.

Тогда секретарь обкома говорит:

— Я считаю, что товарища Сосюру надо восстановить в партии с прежним стажем, с мая 1920 года, но записать перерыв с 1935 года до 1940-го и предложить Ленинскому райкому выдать ему партийный билет.

И комната зашаталась и поплыла под моими ногами. От счастья я стал легкий и крылатый.

А люди за длинным красным столом спокойно смотрели на меня добрыми глазами братьев и улыбались мне.

Я сказал им, не я, моя залитая слезами счастья душа:

— Спасибо, дорогие товарищи!

Поклонился им и, не чуя под собой пола, вышел.

Меня встретили глаза стоящих за мной в очереди лю-

дей — спокойные, тревожные, полные надежды и мольбы, и по моему блаженному лицу все догадались обо всем еще до того, как я сказал:

— Восстановили.

Не помня себя от счастья, я мерил быстрыми шагами шумные, залитые солнцем и половодьем цветов улицы Киева, а встретив знакомого, коротким словом «восстановили» — делился с ним своим счастьем и бежал дальше, чтобы побыть наедине с собой, со своим почти экстатическим восторгом...

## LXI

И какой же я забывака!

Хорошо, что прием киноаппарата мне помогает.

Лахути.

Смуглый, очень похожий на индуса, он приехал в Киев и вручил нам членские билеты Союза писателей СССР.

Это происходило на Ленина, 7, в 1936 году.

Была торжественная атмосфера. Я, еще не восстановленный в партии, подошел к столу, за которым стоял Гасем.

Он меня спросил:

— Что ты будешь делать, если тебе насыплют земли в карманы?

— Я ее выброшу, — сказал я.

— Так вот, брось это! — И Гасем показал на пустые бутылки из-под боржоми.

Я дал слово, что брошу.

И снова я лечу не сквозь туманность и не вверх, как в детстве, а вперед, сквозь радость, в которой рос вместе с народом, как рос с ним и в горе, лечу в грозный 1941 год, полный громов и тревоги миллионов, тревоги, которую сердце предчувствовало, но разум не хотел верить, — такая она была смертельно неожиданная.

Не успел я принять в Кисловодске несколько ванн, как началась Великая Отечественная война.

В Харькове меня едва не арестовали как диверсанта, потому что приехал я туда небритый, в костюме не из нашей материи и с чемоданом в руках.

Младший сын находился в Евпатории с такими же, как он, ребятами, на оздоровлении, а жена в Киеве.

Смерть уже прерывисто гудела над головами миллионов, и сердце содрогалось от тревоги и гнева.

Началась битва людей с чудовищами и машин с машинами.

Небо и земля были полны смерти... Они смотрели в наши расширенные зрачки и в суженные зрачки горилл в стальных шлемах, что шли и катили на миллионах колес за броней машин по нашей залитой кровью, огнем и слезами земле, стонущей от взрывов, которые терзали ее материнскую грудь...

В Киеве, как и везде, куда доставал огонь врага, где на земле, а где с неба, с неба — далеко, и на земле еще не так близко, страшное дыхание войны ощущалось в прерывистом, полном гадючьей злобы реве фашистских моторов и в адском скрежете стали от гигантских взрывов в Днепре между мостами через родные воды, которые гневно бились о берега и звали к расплате сынов Украины и их красных братьев со всех необозримых просторов нашей светлой Отчизны.

На фоне этого огромного и страшного в своей роковой неожиданности горя как-то неудобно и стыдно говорить о личном.

Одним словом, жена была эвакуирована с писателями старшего поколения в Уфу. Что случилось с сыном, я не знал.

ЦК разбил нас, писателей, на агитгруппы, и мы выступали перед населением.

Я был в паре с Юрком Кобылецким.

Он выступал с речами, а я читал стихи под небом, которому скоро суждено было стать не нашим, бесконечно родным небом моей святой Украины...

Меня поразила телеграмма из Уфы. Один известный поэт, которого нет уже в живых не по его воле, а по воле тех, кого тоже уже нет в живых, в этой телеграмме спрашивал, когда кровь уже лилась морями и города взывали к небу гулом пожарищ, смертельно израненные, как и люди, этот поэт спрашивал: «Как моя квартира?»

А в его квартире был штаб, и на крыше дома (я называл этот дом «феодалным», а наш — «плебейским»), где он жил, стояла зенитка и резко и гулко кашляла в грозное небо...

Штаб, конечно, писательский, где Бажан выдавал нам еще залитые маслом пистолеты «ТТ».

А перед этим в военном отделе ЦК нам выдали офицерское обмундирование.

Его получила и Ванда Василевская и стала очень похожа на женщину времен гражданской войны, женщину военного коммунизма.

Мне нравилось, что она не боялась, была спокойна и сосредоточенна.

ЦК снова разбил нас, но уже на две группы: одну отправляли в тыл, а другую на фронт.

В писательском скверике под прерывистым гулом фашистской смерти над золотым окровавленным Киевом на скамейке лежал Вадим Собко и спокойно читал книжку.

Его посылали на фронт.

А Иван Нехода, который тоже отправлялся в пламя сражений, говорил мне, такой же спокойный, как и Вадим:

— Вы в тылу, а мы на фронте будем делать одно общее дело.

Мне было очень стыдно, что меня посылали туда, где по ночам еще горит электричество и люди могут спокойно спать за окнами, не заклеенными крестами бумажных лент.

Но боевой приказ ЦК. Дисциплина сердца, которое привыкло слушаться голоса партии, повела меня в Харьков сквозь огневой вихрь ударов с неба. В Харькове мы тоже работали оружием слова.

У меня там вышел первый сборник огненных стихов «Красным воинам».

Но по ночам и Харьков начал заливать небо огненными пунктирами пуль и снарядами, потому что и над ним все чаще стали летать железные птицы, швырявшие яйца смерти на землю, с которой дети худенькими окровавленными кулачками посылали проклятья убийцам с «цивилизованного» Запада.

А они нагнали, пользуясь своим временным превосходством, и, поблескивая троглодитскими глазами за стеклами пенсне, гонялись на своих железных воронах даже за коровами...

И вот меня посылают еще дальше, в глубокий тыл. Уфа.

Что можно сказать о земле, которая открыла нам

теплые объятия и приняла как своих измученных сынов с братской земли далекой Украины.

Скажу лишь, что я никогда не забуду Башкирии и буду любить ее, как полюбил ее сынов и дочерей, а особенно ее поэтов, выразителей ее большой души, Сайфи Кудаша, Баяна и еще многих, таких родных и незабываемых.

Сына жена нашла на харьковском вокзале и вместе с другими детьми привезла в Башкирию. Там же (в Уфе) была и наша академия. Там же было и наше писательское издательство и выходила литгазета, в которой Городской («Сосюра? Да это же литературный паразит!») писал о «золотой лирике Сосюры...», и т. д.

Там же я написал стихотворение «Когда домой я возвращусь», которое считаю, если можно сказать, центральным стихотворением моего сердца.

Оттуда же помчалось эшелонами и на самолетах «Письмо к землякам»<sup>80</sup>, разлетевшееся белыми мотыльками над завоеванным, но не покоренным Донбассом, землей моей любви, моей юности...

Но что же это я все о себе и о себе.

И Павел Григорьевич Тычина, и Рыльский Максим Фаддеевич, и все мы слились в один вооруженный лагерь слова, отданного служению Отчизне.

Отчизна!

Кроме нее, кроме ее страданий и гнева, кроме ее борьбы, для нас не существовало ничего.

И когда порой нам бывало и холодно, и голодно, то одна золотая мысль крепила наши сердца, полные любви к партии, к сыновьям Отчизны, которые, как ангелы мщения, в своих стальных шлемах стояли стеной сердец и металла против вооруженного зла, вооруженная правда против вооруженного зла, и мы, когда нам становилось очень тяжело, думали: «А на фронте еще тяжелее».

Нам хотя бы смерть не смотрела в глаза, а там... Там...

К этому огненному «там», где решалась не только наша судьба, но и судьба всех простых честных людей на земле, стремились наши думы и сердца...

Осенью 1942 года часть наших писателей пригласили в Москву для литвыступлений.

В Москве я зашел к т. Коротченко<sup>81</sup>, который сидел

за столом с намагниченными гневом и бессонницей стальными глазами.

Я спросил его:

— Какой у меня способ мышления?..

И вздрогнуло от радости мое сердце, когда я услышал:

— Большевистский.

Я сказал:

— Я хочу работать в Москве, тут ближе к фронту. Демьян Сергеевич согласился.

Тогда я попросил разрешения его поцеловать.

И он вышел из-за стола, и я поцеловал его, как брата, как отца...

Так я был наэлектризован бурей, что гремела и в сердце, и вокруг...

Я работал и в украинском радиокомитете как поэт, и в Украинском партизанском штабе у т. Строкача<sup>82</sup>, куда меня послал т. Корниец<sup>83</sup>. Для партизан я писал стихи и даже получил письмо от т. Ковпака, в котором он писал о том, что работает на черепках фашистов: «Это еще цветочки, а ягодки будут впереди!..»

## LXII

Никита Сергеевич вызвал нас на фронт — Тычину, Рыльского и меня.

Тычину тогда назначили наркомом образования Украины, которую еще предстояло освободить, а Рыльский работал над словарем, и они не поехали.

Поехали Головки, Малышко и я.

Об этом я многое сказал в поэме «Отчизна», которую Прожогин так нечестно критиковал, когда меня били за стихотворение «Любите Украину!».

Но об этом — потом.

Имея базу глубоко в тылу, при штабе Воронежского фронта, мы иногда бывали на передовой.

Кормили нас не очень хорошо.

Первое всегда было из картофельных очисток, и у меня сильно болел живот.

Никита Сергеевич иногда приглашал нас в столовую штаба фронта и подкармливал.

Я там наедался так, что живот мой становился как тугой мавританский барабан.



Однажды Никита Сергеевич показал нам фотографию своего сына — летчика, погибшего смертью храбрых.

Когда Никита Сергеевич рассказывал о смерти своего сына, он как раз держал в правой руке полную ложку супа, а в левой снимок сына.

И меня поразило, что ложка с супом в его руке не дрогнула, не пролилось из нее ни капли, хотя в душе сегодншасого воина бушевала буря...

Я эту бурю чувствовал своим сердцем, полным любви к человеку, так любившему и любящему Украину, которую он для нас олицетворял и которой, как и ему, принадлежали наши горячие и верные сердца.

Я с восхищением смотрел на него, на это железное спокойствие отца, сердце которого обливается кровью горя о сыне.

А вот и веселое, хотя веселое это могло закончиться очень грустно.

Мы были в Седьмой гвардейской армии. Наша «база» располагалась в селе, где размещался политотдел армии.

Когда мы приезжали с передовой — она проходила по берегу Донца, золотой реки моего детства, — и немцы били из-за нее по нас из тяжелых пушек, сынок хозяина хаты, где мы жили, всегда встречал нас так:

— Ну как дела, пацаны? Закурить есть?

И вот стою я во дворе в солдатской гимнастерке, в офицерском темно-синем галифе и кирзовых сапогах, в пилотке и портупее, с «ТТ» на боку и «Знаком Почета» у сердца. Мы тогда еще не были аттестованы и не имели званий.

Подлетает к воротам подворья, где я стоял, мотоцикл с передовой. Мотоцикл с коляской, в которой сидел маленький нервный горячий генерал.

Рукой в черной перчатке он сделал властный и резкий жест, мол, беги сюда!

Я иду к нему.

Тогда он кричит мне:

— Эй, ты! Беги!

Я иду к нему.

Подхожу к коляске и говорю маленькому генералу:

— Вы поосторожнее.

Он:

— Ты кто такой!

Я:

— Писатель украинский.

Он:

— А-а! Извиняюсь. Скажите, пожалуйста, где здесь политотдел армии?

— Я не знаю. Но здесь есть товарищи, которые должны знать.

Генерал выбирается из коляски и идет за мной, нетерпеливо постукивая стеком по блестящему голенищу сапога.

Я чуть приоткрыл дверь сарая, где Головки, Малышко и корреспондент «Радянської України» майор Купцов играли в карты и пили горилку.

Я тихо сказал Малышко:

— Андрей! Тут тебя хочет видеть один гражданин.

Малышко вышел, позевывая и сонно моргая своими японскими глазками, да еще всем своим видом подчеркивая скуку, равнодушие и усталость.

Он еще как следует не разглядел генерала, как тот обрушил на него бурю гнева:

— Как ты стоишь!..

И т. д.

Малышко, бледный, испуганный, стоял вытянувшись перед генералом, а тот отводил на нем свою душу.

Потом лукаво взглянул на меня и спросил:

— А может быть, это тоже писатель?

Я сказал:

— Да. Писатель.

Тогда генерал со словами: «Я тоже люблю литературу» — пошел от нас, нервно хлеща стеком по блестящему голенищу своего сапога.

Малышко горько обиделся:

— Что ж ты меня не предупредил? Он же мог меня расстрелять...

Я ушел за сарай и расплакался от обиды, что генерал орал на меня и говорил «ты».

### LXIII

Танковый корпус наградили гвардейским званием, и мы были в этом корпусе.

Меня поразил командир танкового батальона, моло-

дой хлопец в парусиновых сапожках, быстро и озабоченно прохаживавшийся среди танков. Он был невысокого роста и действительно напоминал мне подростка. Все танкисты молодые, молодые. Это было перед боем, а они вели себя так, словно не им предстоит ринуться через океаны вражеского огня освобождать родную землю Украины.

Среди них были сыны разных народов нашей Отчизны, и все они были как братья, которые шли из огня в огонь от легендарного Сталинграда.

В блиндаже один танкист, недавно еще бывший кавалеристом, горячо доказывал преимущества коня перед танком, как живой энергии и дружбы кавалеристов перед дружкой танкистов.

Но его разбили по всем пунктам, и он, тяжело вздохнув, согласился.

Наверное, он тосковал по своим друзьям и коню...

Побеждают армии с молодым командным составом, где-то я слышал или читал об этом.

Я написал для танкистов от их имени стихотворение «Клятва танкиста» по случаю недавнего вручения им гвардейского знамени и читал им его.

В этом стихотворении, которое потом положил на музыку фронтовой композитор и исполнила фронтовая капелла, танкисты клялись освободить Украину, на священную землю которой они уже вступили и встали грозными армиями над Донцом, клялись уничтожить врага, отомстить ему за страдания нашего народа.

Клялись сыны всех народов вместе с сынами Украины, и клятва эта громом звучала в моем сердце.

Они сказали мне (молодые, запыленные, прекрасные в своей героической и жертвенной молодости):

— Товарищ Сосюра! Не беспокойтесь, все будет сделано!

Потом, на Курской дуге они грудью и броней встретили обезумевшие бронированные орды тьмы, немного прогнулись их ряды, но враг не прорвал их, и они, герои нашего коммунистического будущего, мощно ударили в кровавую морду захватчиков, и армии преследования, стоявшие наготове, погнали фашистов туда, откуда Украина протягивала к своим молодым освободителям руки в уже надорванных цепях...

Но я уже не был свидетелем гигантской битвы на

Курской дуге, потому что рука, оберегавшая меня, вернула меня в Москву.

Мне сказали, что телеграммой снова вызовут на фронт. Но я так и не дождался этой телеграммы.

И началось счастье миллионов, счастье освобождения захваченных врагом городов и сел нашей Родины.

Все дальше и дальше на запад шли полки освобождения и расплаты.

Салюты, салюты, салюты!..

Небо Москвы ритмично гремело пушечными салютами и сияло разноцветными огнями иллюминаций, каждый вечер сияло...

Уже Харьков залило солнце Отчизны...

Донбасс обнимал крылатых вестников весны человечества...

А огненная лавина освобождения катилась все дальше и дальше...

Полтава!

И наконец — Киев!!!

В правительственном поезде мы мчались по полям Украины, утиравшей слезы счастья со своих бессмертных очей, мчались на митинг интеллигенции, который должен был состояться по случаю освобождения Киева...

Прошло несколько дней, как отгремели бои за сердце Украины Киев...

И вот уже это сердце бьется в груди социализма.

Поездом мы доехали до Дарницы, а там на машинах и через понтонный мост в Киев.

Днепр...

Никакие слова не смогут передать нашего счастья...

А мимо нас громыхали танки, седые от инея, они шли и шли по Шевченковскому бульвару туда, где разворачивалась грандиозная битва за все новые города и села Украины.

То же самое происходило и в боях за освобождение других республик Страны Советов, временно залитых змеиной тьмой свастичной ночи...

Руины, и раны, и счастье, счастье, счастье...

Оно перевешивало все, ему подчинены были и наши сердца, и сердца бледных, изнуренных братьев и сестер, которые выходили к нам из пещер тьмы, навстречу солнцу и счастью, счастью, счастью...

Конечно, боль неисчислимых ран и утрат еще засти-

дала сияние радости в глазах спасенных пленой муки, как ночь, которая отступала перед багряными стягами рассвета...

Моя личная радость, радость перемен и победы, растворилась в общей радости, и казалось, сердце не выдержит счастья, которое потоками заливало его, которое летело в него из миллионов таких же опьяненных счастьем сердец...

Но враг сделал последнюю попытку вернуть Киев. Он захватил Житомир, и мы уже слышали глухой и зловеющий рокот канонады, которая медленно, но неотвратимо приближалась к нам.

Митинг не состоялся, и нас перебросили на левый берег Днепра.

И снова мчался поезд, и его искали фашистские самолеты, но никак не могли найти.

Врага отогнали.

Но правительство и ЦК были еще в Харькове.

Когда же врага отогнали еще дальше, снова засияли перед нами Лавра и колонны здания ЦК над Днепром, снова родные улицы, черные руины Крещатика, ветер в искореженном взрывами железе и, словно глаза мертвецов, пустые окна разоренных гнезд, откуда до войны доносилась музыка и смех счастливой жизни, которая еще не знала смертельной тревоги, не слышала прерывистого рева фашистских моторов над золотыми головками детей...

## LXIV

Там, на западе, еще грохочет битва гигантов — правда, фашистский гигант, удирая от нас, становился все меньше и меньше, пока не превратился в гнома под беспощадными ударами меча Красного богатыря... Но враг еще сопротивлялся, пытаясь сделать вид, что он не гном, а все тот же бронированный гигант, который топтал наши поля и сердца своими сапогами, залитыми кровью и мозгами расстрелянных.

Теперь многомиллионный мститель шел по его полям с востока и с запада, с двух сторон били фашистского зверя...

А тут, на освобожденной земле нашей общей Матери, всемогущий труд стал залечивать страшные раны...

И руин становилось все меньше, они таяли, будто снег на солнце...

Битва за хлеб кипела на полях Отчизны...

Ну да это все известно вам, дорогие читатели...

А где же, вы скажете, Третья Рота?

А Третья Рота в моем сердце, как море в капле его воды.

И о Третьей Роте еще будет разговор.

## LXV

Переполненный счастьем победы и радостью возвращения на Украину, я в 1944 году написал стихотворение «Любите Украину», которое студенты просили по нескольку раз читать им на литвечерах.

Поэт Олекса Новицкий напечатал «Любите Украину» в «Киевской правде», а Леонид Новиченко, как редактор, перепечатал его в нашей «Литературной газете».

Это стихотворение я написал на основе таких фактов...

Еще в Башкирии, в Уфе, когда Украину распинали кровавые оккупанты, одна особа сказала мне и Юре Кобылецкому:

— Как я соскучилась по украинскому салу!

Кобылецкий:

— А по украинскому народу вы не соскучились?

И в Москве тоже подобная особа сказала, когда мы с ней и молодым прозаиком с Западной Украины Ткачуком шли по улице Горького:

— Для меня Родина — там, где мне хорошо.

Ткачук сказал:

— Свинская философия.

И еще Валентин Бычко пожаловался мне, что на днях по совету товарища Мануильского из одного номера газеты «Звезда» сняли шапку с такими словами:

Учітеся, брати мої,  
думайте, читайте.  
І чужому научайтесь,  
і свого не цурайтесь!..

И еще:

Мова рідна, слово рідне,  
хто вас забуває,

той у грудях не серденько,  
а лиш камінь має...<sup>84</sup>

Я не буду называть авторов этих слов...

В ответ на это и на то, что было перед этим, я написал «Любите Украину».

## LXVI

Я часто ходил и хожу мимо Софийского собора, золотой звон которого еще недавно звучал над Киевом вместе со звоном Лавры (колокола...), воспетый в прекрасных стихах молодым Тычиной, и вспоминаю веселого, со светлыми и сметливыми, как у сельских парубков, глазами Григория Косынку, жившего во флигеле соборного подворья со своей высокогрудой женошкой.

Я к ним частенько заходил, когда в 1925 году отдыхал в Дарнице.

Я так любил Григория, золотую и певучую жизнь которого оборвала пуля палача, и не фашистского откровенного палача, а палача, что коварно, кровавой гадюкой пролез в наши ряды, и сколько же прекрасных сердец смертельно покусал он жалами пули!

Фашистське вимели сміття  
полки визвольною грозою...  
Й багряний прапор наді мною  
благословля нове життя.

Тут над штиків колючим гаєм  
був клич: «Вперед, товариші!»  
І образ Леніна сіяє  
в мой закоханій душі.

И еще я вспоминал, как переписывался с Григорием, какие прекрасные украинские письма он мне писал. Если бы он жил, он стал бы нашим Тургеневым в прозе, потому что, как и Тургенев, был поэтом в прозе.

Ленин...

С именем этим так много связано у нас. Это имя поддерживало наш дух в тяжкую годину отступления и окрыляло в годину гнева и расплаты.

Я снова лечу в воспоминаниях назад.

Был призыв ударников в литературу — по сути, вредное и ненужное дело, оно повредило и производству,

и рабочим (молодежи рабочей), которым задурили голову, что они сразу станут гениями.

Правда, талантливейшие из них остались в литературе (единицы), а многие и многие были просто искалечены духовно, и ничего из них не вышло.

Среди ударников, призванных в литературу, прохаживались, как египетские жрецы, и «священнодействовали», козыряя знаниями Маркса, Ленина и Сталина, цитируя их произведения (такая-то страница и такой-то абзац, сверху или снизу), критики Коряк, Щупак и Коваленко.

Я предложил им при ударниках зачитать отрывок из статьи одного критика: «Его все цитируют, но не печатают, а я считаю, что это — хороший критик».

Они снисходительно заулыбались:

— Просим, просим!

Я прочитал им этот отрывок на русском языке, где речь шла о праве человека на фантазию.

Коряк сказал: «Это — левое ребячество».

Щупак: «Это правый уклон».

А Коваленко: «Да это и — настоящая контрреволюция».

Я сказал: «Товарищи! Это — из Ленина».

Картина.

Однако я снова возвращаюсь к себе и снова лечу на волшебном коне воображения в близкое прошлое, в Киев 1944 года, из которого я полетел в Харьков тридцатых годов.

Почему-то мой норовистый конь, едва завидев золотую башню Лавры (их было две — одну вместе с телом церкви снесли немецкие фашисты), метнулся в Донбасс, правда на мгновение, а потом снова в Харьков, чтобы уже в Киеве продолжать свой бег в вечность, чтобы я был яснее и для самого себя, и для читателей.

Когда-то моя мать, увидев, что я пишу на бумаге стихи, гнала меня на шахты собирать уголь:

— Иди, сукин сын, на шахты, нечем уже топить в хате. А стихи хлеба не дадут.

Потом, позднее, в Харькове, когда я стал уже известным поэтом и когда у меня не было настроения писать, она мне говорила:

— Сыночек! Почему ты не пишешь? Я тебе и чернила, и бумагу уже приготовила...

Тогда я написал «Дніпрельстан».



(И еще раз конь метнулся в Донбасс).

Подростком мать меня часто била за сестру Зою, у которой было очень поэтическое воображение, и перед матерью она гиперболизировала все, что я вытворял, а мать, не разобравшись, в чем дело, и веря только Зое, зло набрасывалась на меня и колотила поленом или миской по голове.

Наконец мне надоело подставлять свою бедную голову под миски и поленья, и я стал удирать от матери.

Сначала она возвращала меня к своим колотушкам, делая вид, что хочет разорвать кофточку на груди, и истерично зовя к себе.

Но потом я уже не возвращался, потому что, удрав однажды, увидел, что мать кофту не порвала, и я больше не верил ей.

Мне очень не нравилось, что она кричала на меня:

— Сукин сын!

Как-то я ей сказал:

— Мама! Зачем вы себя ругаете! Я же не сучкин, а ваш!

У матери были длинные, черные, цвета воронова крыла, волосы, и мой любимый братик Олег, глядя на них задумчиво-восторженно карими глазенками, сказал однажды:

— Мама! Какие у тебя красивые волосы! Как у собаки!..

И снова Киев... Перрон, звонки...

Мы едем в Москву для проведения декады украинской литературы и искусства.

Сколько радости!

В Москве нас очень радушно и хорошо встречали — поэтов, певцов, артистов...

Русские очень любят украинцев, как и мы их, ведь мы братья.

Радостные возвращались мы в Киев...

И вот, как удар страшного и неожиданного грома с безоблачного неба, редакционная статья в «Правде», в которой меня за стихотворение «Любите Украину», за любовь к Украине в «стягов багряном шуме», по сути, называли националистом, ругали за то, что я будто бы пишу об Украине вне времени и пространства (а «алый

шум знамен!..», «крики гудков») и что Украина — «меж братских народов, будто садом густым, сияет она над веками!»... Дело в том, что «Правда» критиковала первый вариант «Любите Украину», написанный в 1944 году, семь лет назад, где была строка: «Без нее — ничто мы, как пыль и дым, развеянный в поле ветрами», и этот вариант перевел Прокофьев.

А в сборнике «Чтоб сады шумели», за который я был награжден Сталинской премией I степени, было напечатано стихотворение «Любите Украину», в котором строчку: «Без нее — ничто мы...» — я заменил строкой: «меж братских народов...», чтобы показать Украину не изолированно от своих социалистических побратимов и сестер.

Но «Правда» била меня за первый вариант «Любите Украину», мол, под этим стихотворением подписались бы такие недруги украинского народа, как Петлюра и Бандера...

И сколько я ни говорил (когда меня стали бить во всеукраинском масштабе — все организации!.. — и даже во всесоюзном — искали в каждой республике своего «Сосюру» — ломали ему ребра, били под дых, как меня на Украине), и сколько я ни говорил, что я выправил «Любите Украину», мне не верили и продолжали самозабвенно избивать.

Корнейчук на пленуме писателей Украины кричал на меня (наверное, с перепугу, потому что его тоже критиковали, но вежливо и в меру):

— За какой националистический грош вы продались?

А Малышко поместил в газете «Радянська Україна» целый подвал, доказывал, что раз я был в петлюровских бандах, значит, мне нельзя верить, что я на каждом решительном этапе становления советской власти на Украине «был не с нами».

Его статья, по сути, была идеологическим ордером на мой арест.

Малышко, как и Корнейчук, делал это, чтобы отвести огонь критики от себя и сконцентрировать на мне, потому что и его, как и Корнейчука, критика зацепила своим крылом.

Прожогин искал национализм в моей поэме «Отчизна» и «нашел» его там, где я писал об Украине, хотя в этой поэме я с такой же любовью писал о Белоруссии, о России и Москве, как сердце Отчизны!..

Н.<sup>85</sup> дописался до того, что «Сосюра перестал уже быть примером для литературной молодежи!».

Сразу же после появления в «Правде» статьи «Об идеологических извращениях» меня вызвал первый секретарь ЦК КПУ т. Мельников.

Он сказал мне, что я «представитель рабочего класса в украинской поэзии», что «у нас нет ни тени сомнения по отношению к вам».

В результате разговора с ним я написал покаянное письмо, которое было напечатано в «Правде».

А еще перед этим приехал корреспондент прогрессивной газеты украинцев в Канаде, чтобы проверить, существую ли я еще на свете, потому что националистические канадские газеты писали, будто я арестован, и меня с этим корреспондентом сфотографировали в ВОКСе<sup>86</sup>.

Когда я приехал в Сталино, шла конференция молодежи, на которой выступал секретарь Сталинского обкома КСМУ.

Он говорил о стихотворении «Любите Украину», о том, что под ним подписались бы Петлюра и Бандера.

Закончив речь, он сказал:

— А теперь слово имеет товарищ Сосюра!

Меня встретил электрический шквал аплодисментов...

Однажды грустный шел я по Красноармейской возле Бессарабки. Улицу переходил юноша в городском костюме и с чемоданом в руках.

Наверное, студент.

Он подошел ко мне и спросил:

— Вы — Владимир Сосюра?

— Я.

— Разрешите пожать вашу руку!..

Он пожал мне руку и, не сказав больше ни слова, быстро и взволнованно отошел от меня.

Я так смутился своих радостных слез, заливших мою душу, что даже забыл спросить, кто он такой.

Это пожала мне руку украинская молодежь.

И только это удержало меня от сумасшествия или самоубийства, аплодисменты в Сталино и это рукопожатие...

Но сердце не выдержало, и у меня начались спазмы коронарных сосудов, а потом достигла своего апогея гипертония.

Однако это уже из области медицины, а не идеологии, и за это я прошу у вас извинения, дорогие мои читатели!..

Только медицина все же связана с идеологией, вернее с идеологической борьбой и с любовью.

Сердце стало протестовать уже после ареста моей жены<sup>47</sup>, которую вызвали в Министерство государственной безопасности по телефону, когда меня не было дома.

Да. Сердце не выдержало и стало подавать грозные сигналы.

Личные мучения не столь уж интересны, хотя трудно сказать, где у нас начинается личное и где кончается общественное. Насколько прекрасен наш социалистический строй, при котором «я» каждого из нас слито воедино в общее «мы».

Когда-то одна старая большевичка сказала мне:

— Переживайте всегда с народом. Если радость — она будет большей, а если горе — оно будет меньшим.

И в этом мое счастье, а может, и сила, что я еще до совета старой большевички всегда переживал (и переживаю) с народом.

Я знал, что не у меня одного такое горе, тогда я еще верил, что НКВД — меч диктатуры пролетариата и если Марию арестовали — значит, было за что.

Так говорила моя сознательность, а сердце кричало, и плакало, и билось о ребра окровавленными крылами, как подстреленная птица.

И я страшно согнулся духовно, как поэт и как человек...

Это дало право С. К. сказать обо мне на поэтической секции: «Сосюра — уже смердящий труп».

Правда, товарищи, и даже Малышко (он иногда бывает хорошим), выпали С. К. за меня.

А тот что-то бормотал, мол, сказал так для пользы литературы...

Но товарищи в переносном смысле сделали из С. К. «смердящий труп».

Это было еще в эпоху «культа».

В Киев приехали русские писатели, и с ними — Назым Хикмет.

Это тоже было еще при Сталине.

Хикмет попросил Малышко познакомить его со мной и при товарищах сказал мне:

— Я читал ваше стихотворение «Любите Украину» и никакого национализма в нем не нашел.

После Сталина началось [оздоровление] литературной атмосферы.

Стало легче дышать и петь.

Но за несколько дней до разгрома Берии и его бандитов ночью звонок.

Звонил тот же, кто арестовывал жену:

— Зайдите в министерство. За вами приедет машина (с таким-то номером), вы садитесь в нее и приезжайте к нам.

Я вышел.

Машина с указанным номером уже ждала меня. В ней сидел один в черном. И я поехал с ним в Министерство безопасности.

Еще до этого за мной ходила тень смерти. У нее были желтые штиблеты, светло-шоколадный костюм и бесцветное лицо налетчика.

В министерстве привезший меня человек ввел меня в один из кабинетов и исчез.

В кабинете находились двое в военной форме. Один стоял, а второй сидел за столом.

Я показал свой пропуск, и тот, что сидел за столом, взял его у меня и запер в ящике стола.

Ясно.

Мне сказали, чтобы я подождал.

Сажу, жду...

А они, эти двое, о чем-то оживленно и весело говорят, кажется, о концерте, об игре артисток...

Мол, «жизнь уже летит мимо тебя, а ты, птичка, уже в клетке».

Долго я так ждал, а они не обращали на меня внимания, словно я — пустое место.

Очевидно, там, наверху, по прямому проводу просили согласия на мой арест одного человека, который простер благовестную руку над моей головой и сказал:

— Сосюру не трогать!

И черная рука, уже подбиравшаяся к моему сердцу, чтобы сжать его смертельной хваткой своих острых, окровавленных когтей, скрылась во мраке...

Тогда был сделан такой шаг.

Входят двое в военной форме, рангом повыше тех, что подвергли меня «психологической пытке», и один из них сказал:

— Владимир Николаевич! С вами хочет поговорить министр.

Мы поднялись выше.

Вошли в кабинет министра.

Это был Мешик, потом расстрелянный вместе с Берией и другими претендентами на кровавую власть над терроризированным народом. Они хотели навалить Гималаи трупов к тем, что уже навалили... но... не вышло!

Мешик, когда я поздоровался с ним, предложил мне сесть.

Я сел.

Он смотрит на меня и молчит.

Я тоже молчу.

Мешик:

— Почему вы молчите?

— Я жду, что вы мне скажете.

Мешик:

— Почему вы не даете в печать свои стихи? Вы что, протестуете против критики?!

Я:

— Нет, я не протестую. Стихи я пишу, но меня не печатают.

Мешик:

— Кто вас не печатает?

Я:

— Газеты, журналы и издательства. Я уже давным-давно сдал в «Радянський письменник» большой сборник стихов «За мир», но его до сих пор маринуют.

Меня, кстати, уже два года нигде не печатали и не позволяли выступать перед народом.

Тебе говорят «исправляйся», а не печатают, как же тут исправляться?

Смилянский правильно говорил, когда его били:

— Если шахтер ошибся, его не выгоняют из забоя, а дают возможность исправиться там же, в забое!..

Мешик:

— К вам никто не приходил из националистического подполья?

Я:

— Нет! Наоборот. Мне присылали письма с угрозами.

Мешик:

— А как вы живете материально?

Я:

— Не вылажу из ломбарда. Сдал вещей на 10 000 руб.

Мешик:

— Так вы напишите мне письмо о тех, кто вас не печатает. Завтра у вас будет наш товарищ. Вы передайте ему письмо ко мне и дайте переписать номера ломбардных квитанций.

Я попрощался с ним и вышел.

А тот, кто отобрал у меня пропуск и запер его в ящик письменного стола, с такой злобой и темной ненавистью в восточных глазах смотрел на меня, а его рука, рука палача, отдавала мне пропуск.

Не попрощавшись с ними, я вышел.

А через некоторое время та же рука, что сказала своим благовестным жестом: «Сосюру не трогать», вернула мне из заснеженной тайги мою жену.

Это было уже после разгрома Берии.

## LXVII

Вечно будут сиять в веках звезды легендарного Сталинграда, где начался грандиозный разгром синемундирных налетчиков, кровавых слуг тьмы человечества, которые хотели затмить наше солнце.

Вечно будут сиять в веках знамя победы, взлетевшее над пожаром фашистского Берлина, как багряная птица отвоеванного счастья миллионов.

Вечно сиять стягам народной власти над столицами вольных среди вольных, на Западе и Востоке, кому протянули чистую и добрую руку помощи миллионы красных победителей.

С вечным отсветом последнего взлета мировой победы в сердцах мы живем и творим Коммунизм.

И никакие атомные и водородные грозы не остановят поступи миллионов на вершины всечеловеческого счастья. С каждым днем мы все сильнее, а враги мира — все слабее.

Это так. Еще во время гражданской войны, юноша, красноармеец, попавший в плен белой смерти, сказал осатаневшим врагам (это было в дни агонии контрреволюции):

— Мы все прибываем, а вы все малеете...

Да. Мы все прибываем, а враги все малеют, и это уже

не в масштабах бывшей России, а на всей земной планете.

И как-то немного неудобно на фоне грандиозных мировых событий говорить о судьбе поэта, который вышел из золотой Третьей Роты и снегами Красной Зимы шел сквозь огневые контрасты грозы, что гремела над Отчизной, шел и идет с миллионами весны миллионов, с пятиконечной звездой на челе и в сердце.

Я — капля в багряном океане народной борьбы, и во мне, в его капле, отразилась вся его красота и величие, и во мне ревели его бури, когда он грозными валами шел на вооруженный штурм крепостей старого мира, и во мне сияет он дивной красой в эти дни, когда идет он на трудовой штурм старого мира во имя Мира и Коммунизма.

В клубе Совета Министров состоялось собрание актива советской интеллигенции, которое вели писатели.

Собрание было посвящено итогам работы XX съезда нашей партии.

Все с радостью приветствовали то, что гениально начертал исторический съезд победителей тьмы.

Было торжественно и празднично.

И вот выступает Корнейчук и в своей речи, между прочим, говорит:

— Зря критиковали Сосюру за стихотворение «Любите Украину». Ничего враждебного в этом стихотворении нет. Это проявление патриотических чувств поэта.

Я смотрел на лица, и все они слились перед моими глазами в одно туманное пятно от навернувшихся слез.

Потом выступал Малышко, и тоже в своей речи — горячей и страстной, в которой его сердце от гнева на врагов народа задело своим огнем даже тех, кто ни сном ни духом к ним не причастен, он тоже сказал обо мне, что зря меня били, ни за что калечил меня Каганович...

И я от радости все простил — и то, что кричал на меня Корнейчук, и статью Малышко против меня в «Радянський Україні», и все и всем дезориентированным братьям, которые били меня так, что аж сердце гудело от ударов.



Вы же знаете, как у нас умеют бить!

Я всем прощаю и всех люблю.

Люблю даже Н. и С. К.

Но больше всего я люблю свою Донетчину и Третью Роту, которая путеводной звездой светила, светит и будет светить мне на поэтическом пути, сливая свой свет со звездами Коммунизма, которые все ярче и все ближе сияют на нашем трудовом небе.

*Лето 1926 года — Харьков*

*Зима 1942 года — Москва*

*Зима 1959 года — Киев*

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Третья Рота — шахтерский поселок в Луганской области (ныне поселок Верхний). Основан в 1721 году как сторожевой пост Изюмского казачьего полка. После ликвидации казачества там находилась третья рота Бахмачского гусарского полка. Отсюда и происходит название поселка.

<sup>2</sup> Речь идет о маркшейдерской школе, где юноши обучались горному делу.

<sup>3</sup> «Андреево стояние» — очевидно, имеется в виду праздник в честь Андрея Первозванного — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа, который, согласно русским летописям, проповедовал христианство среди славян Древней Руси, побывал возле Киева и на днепровском берегу установил крест. На этом месте воздвигнута Андреевская церковь.

<sup>4</sup> Юзовка — ныне г. Донецк.

<sup>5</sup> 29 апреля 1918 г. немецкие оккупанты разогнали Центральную Раду, заменив ее марионеточным правительством во главе с бывшим царским генералом П. П. Скоропадским, правление которого (апрель — декабрь 1918 г.) вошло в историю под названием «гетманщина».

<sup>6</sup> Александр Олесь (Александр Иванович Кандыба; 1878 — 1944) — украинский поэт.

<sup>7</sup> Вороний Николай Кондратьевич (1871 — 1940) — украинский поэт, театровед, переводчик (перевел на украинский язык «Интернационал», «Марсельезу», «Варшавянку»).

<sup>8</sup> Мазепинский полк — гайдамацкий полк войска С. В. Петлюры, носивший имя гетмана Мазепы.

<sup>9</sup> Новая Бавария — железнодорожная станция в предместье Харькова.

<sup>10</sup> Сечевые стрелки — военные формирования Центральной Рады и Директории, созданные в 1919 г. и разгромленные Красной Армией весной этого же года.

<sup>11</sup> Фельдман — очевидно, речь идет о переводчице, сотруднице Наркомата иностранных дел Украины, с которым В. Сосюра был знаком в Харькове.

<sup>12</sup> Из поэмы Т. Г. Шевченко «И мертвым, и живым...».

<sup>13</sup> Директория — Правительство Украинской народной Республики, созданное в ноябре 1918 г. Возглавляли ее В. Винниченко и С. Петлюра. Прекратила свое существование после советско-польской войны и разгрома войск С. Петлюры.

<sup>14</sup> Черкасенко Спиридон Феодосиевич (литературные псевдонимы — Провинциал, Петро Стах и др.) — украинский писатель, в 1919 г. эмигрировал за границу.

<sup>15</sup> Олена Журлыва (Елена Константиновна Котова; 1898—1971) — украинская поэтесса, педагог.

<sup>16</sup> Самийленко Владимир Иванович (литературные псевдонимы — В. Сивенький, Иваненко, Полтавец, Смутный и др.; 1864 — 1925) — украинский писатель.

<sup>17</sup> Университет им. Артема — высшее учебное заведение, созданное в 1922 г. для подготовки кадров руководящих, партийных и профсоюзных работников.

<sup>18</sup> Тютюнник Юрий — генеральный хорунжий армии Украинской народной Республики, начальник штаба Григорьева. С 1924 г. проживал на Украине, расстрелян в 1929 г.

<sup>19</sup> Серрати Джачинто Менотти — один из руководителей Итальянской социалистической партии, участник II конгресса Коминтерна. Умер в 1926 г.

<sup>20</sup> Речь, видимо, идет о жене И. Ю. Кулика Люциане Карловне Пионтек — украинской писательнице, погибшей в годы сталинских репрессий (1937).

<sup>21</sup> Кулик Иван Юлианович (настоящее имя-отчество — Израиль Юдольевич; 1897 — 1937, литературные псевдонимы — Р. Ролинато, Василь Роленко) — украинский писатель, партийный и государственный деятель. Погиб в годы сталинских репрессий.

<sup>22</sup> «Вісті» — украинская республиканская газета («Известия ВУЦИК»), выходившая в Харькове и Киеве. В 1941 г. была объединена с газетой «Коммунист».

<sup>23</sup> Коряк Владимир Дмитриевич (1889 — 1939) — украинский критик, стал жертвой сталинских репрессий.

<sup>24</sup> Блакитный Василь Михайлович (настоящая фамилия Элланский; 1894 — 1925) — украинский писатель и общественный деятель.

<sup>25</sup> Пилипенко Сергей Владимирович (псевдонимы — Сергей Слипый, Плуготар и др.; 1891 — 1943) — один из основателей литературной организации «Плуг». Был редактором газет «Большевик», «Известия», «Коммунист», «Крестьянская правда», выходивших на Украине.

<sup>26</sup> Майский (Булгаков) Михаил Семенович (1889 — 1960) — один из организаторов пролеткультовской группы «Гарт».

<sup>27</sup> Хвылевой Николай Григорьевич (настоящая фамилия Фитилев; 1893 — 1933) — украинский писатель. Покончил с собой после ареста и ложных обвинений в «контрреволюционной деятельности» ряда своих друзей и единомышленников.

<sup>28</sup> Полищук Валерьян Львович — украинский поэт. Погиб в годы сталинских репрессий.

<sup>29</sup> Панч (Панченко) Петр Осипович (1891 — 1978) — известный украинский прозаик.

<sup>30</sup> Вражливый (Штанько) Василий Яковлевич (1903 — 1938) — известный украинский писатель.

<sup>31</sup> Копыленко Александр Иванович (1900 — 1958) — известный украинский писатель.

<sup>32</sup> Яновский Юрий Иванович (1902 — 1954) — известный украинский писатель.

<sup>33</sup> Пидмогильный Валерьян Петрович (1901 — 1937) — известный украинский писатель. Погиб в годы сталинских репрессий.

<sup>34</sup> Головкин Андрей Васильевич (1897 — 1972) — один из зачинателей советской украинской прозы.

<sup>35</sup> Доленго (Клоков) Михаил Васильевич (1896 — 1982) — украинский поэт, литературный критик, известен и как талантливый ботаник.

<sup>36</sup> Семенко Михайло (Михайль) Васильевич (1892 — 1937) — украинский поэт-футурист.

<sup>37</sup> Мамонтов Яков Андреевич (литературные псевдонимы — Я. Лирницкий, Я. Пан; 1888 — 1940) — украинский драматург, театровед.

<sup>38</sup> Сенченко Иван Ефимович (1901 — 1975) — известный украинский прозаик, начинавший литературную деятельность как поэт.

<sup>39</sup> Забила Наталья Львовна (1903 — 1985) — известная украинская детская писательница, поэтесса.

<sup>40</sup> Божко Савва Захарович (1901 — 1947) — украинский писатель.

<sup>41</sup> Кириленко Иван Ульянович (1903 — 1939) — украинский писатель.

<sup>42</sup> «Гарт» («Закалка») — товарищество пролетарских писателей Украины (1923 — 1925), членами которого были В. Блакитный, П. Тычина, И. Микитенко и др.

<sup>43</sup> Йогансен Михаил (Майк) Гервасиевич (1895 — 1937) — известный украинский поэт. Погиб в годы сталинских репрессий.

<sup>44</sup> «Ваплите» — вольная академия пролетарской литературы — литературная организация на Украине (1925—1928). В нее входили

многие впоследствии известные украинские прозаики и поэты, силами которых было издано пять номеров журналов «Ваплите», один альманах «Ваплите» и «Ваплите, тетрадь первая».

<sup>15</sup> Кулиш Николай Гурович (1892 — 1937) — украинский писатель-драматург.

<sup>16</sup> «Неоклассики» — литературная группа на Украине, объединявшая писателей и литературоведов (М. Рыльский, М. Зеров, М. Драй-Хмара и др.), пропагандировавших традиции античности, ренессанса и классицизма. Многие писатели этой группы погибли в годы сталинских репрессий.

<sup>17</sup> ВУСПП — Всеукраинский Союз пролетарских писателей — литературная организация, существовавшая в 1927 — 1932 гг. В ее состав входили И. Микитенко, Иван Ле, В. Сосюра, А. Корнейчук и др.

<sup>18</sup> «Литфронт» — очевидно, «Пролитфронт» — литературная организация, основанная в 1930 г. Н. Хвылевым и бывшими членами «Ваплите». Позже эта организация волилась в состав ВУСПП.

<sup>19</sup> «Новая генерация» — литературная организация украинских футуристов, увлекавшихся поисками новых форм в пролетарском искусстве. Существовала в Харькове в 1924 — 1931 гг. (М. Семенко, Г. Шкурпий, А. Полторацкий и др.).

<sup>20</sup> «Авангард» — литературная группа в Харькове (1925 — 1929), которая декларировала тесную связь литературы и искусства с «эпохой индустриализма», проявляя иногда пренебрежение к реалистическим течениям и прогрессивным традициям национальной культуры.

<sup>21</sup> «Молодняк» — литературная организация комсомольских писателей Украины (1926 — 1932), в которую входили молодежные группы «Плуга» и «Гарта». Организация издавала журнал «Молодняк».

<sup>22</sup> Усенко Павел Матвеевич (1902 — 1975) — украинский поэт.

<sup>23</sup> С. К. — криптоним употреблен по этическим соображениям.

<sup>24</sup> Вера — Берзина Вера Касперовна, первая жена В. Н. Сосюры, которой поэт посвятил поэму «Рабфаковка».

<sup>25</sup> ХИНО — Харьковский институт народного образования.

<sup>26</sup> Плевако Николай Антонович (1890 — 1941) — литературовед и библиограф, составитель двухтомной «Хрестоматии новой украинской литературы», в которой помещены биографии 75 писателей с библиографией.

<sup>27</sup> Тевелев Моисей Соломонович (1890 — 1918) — участник борьбы за советскую власть на Украине. Расстрелян немецкими оккупантами.

<sup>28</sup> «Слово» — кооперативный дом писателей в Харькове.

<sup>29</sup> Днепровский Иван Данилович (настоящая фамилия — Шевченко; 1895 — 1934) — украинский писатель.

<sup>60</sup> Фамилия данного лица не выяснена.

<sup>61</sup> Заливчий Андрей Иванович (1892 — 1918) — писатель и общественный деятель, один из руководителей восстания в 1918 г. против гайдамаков и немецких оккупантов на Черниговщине.

<sup>62</sup> Досвітній Олесь (настоящее имя Скрипаль Александр Федорович; 1891 — 1934) — украинский писатель. Погиб в годы сталинских репрессий.

<sup>63</sup> Касьяненко Евгений — журналист. С 1925 года — редактор газеты «Вісті».

<sup>64</sup> Данилова Мария Гавриловна — вторая жена В. Н. Сосюры.

<sup>65</sup> В рукописи пропуск.

<sup>66</sup> В. Н. Сосюра здесь, очевидно, имеет в виду работу академика АН СССР языковеда И. К. Белододеда «Русский язык — язык межнационального общения СССР».

<sup>67</sup> Микитенко Иван Кондратьевич (1897 — 1937) — прозаик, драматург, один из руководителей Союза писателей на Украине. Погиб при невыясненных обстоятельствах в годы сталинских репрессий. Отношения между В. Н. Сосюрой и И. К. Микитенко были в целом дружескими. Хотя, судя по некоторым страницам романа, наступали и периоды конфликтов и взаимного непонимания. В. Н. Сосюра иногда субъективно, что вполне объяснимо трагической сложностью того времени, оценивал деятельность своего литературного собрата.

<sup>68</sup> Сабурова Дача — больница для душевнобольных.

<sup>69</sup> Хвыля Андрей — руководитель отдела пропаганды в ЦК КП(б)У, позже — заместитель наркома образования УССР.

<sup>70</sup> Червоненко Степан Васильевич — партийный и государственный деятель УССР, дипломат. В 1956 — 1959 гг. секретарь ЦК Компартии Украины.

<sup>71</sup> Любченко Афанасий Петрович (1897 — 1937) — государственный и партийный деятель УССР.

<sup>72</sup> Гаршин Всеволод Михайлович (1855 — 1888) — русский писатель.

<sup>73</sup> Текст поэмы В. Сосюры «Разгром» не сохранился.

<sup>74</sup> Крушельницкий Антон Владиславович (1878 — 1937) — украинский писатель, критик, журналист.

<sup>75</sup> Лисовой Антон — украинский поэт.

<sup>76</sup> Фефер Ицък (Исак Соломонович; 1902 — 1952) — еврейский писатель.

<sup>77</sup> Городской Яков Зиновьевич (1898 — 1966) — прозаик, писал на русском языке.

<sup>78</sup> Юра Гнат Петрович (1888 — 1966) — украинский актер, режиссер, народный артист СССР.

<sup>79</sup> Курбас Лесь (Александр Степанович; 1887 — 1937) — украинский актер, режиссер, педагог, народный артист республики. Погиб в годы сталинских репрессий.

<sup>80</sup> «Письмо землякам» распространялось на временно оккупированной территории Украины в виде листовок и отдельных изданий произведений Т. Шевченко, среди текста которых монтировались и строфы стихотворения В. Сосюры.

<sup>81</sup> Коротченко Демьян Сергеевич (1894 — 1969) — государственный и партийный деятель на Украине. В конце 30-х до середины 40-х гг. — секретарь ЦК КП(б)У.

<sup>82</sup> Строкач Тимофей Амвросиевич (1903 — 1963) — один из организаторов и руководителей партизанского движения на Украине во время Великой Отечественной войны. В 1942 — 1945 гг. — начальник Украинского штаба партизанского движения.

<sup>83</sup> Корниец Леонид Романович (1901 — 1969) — председатель Совета народных комиссаров Украины в 1939 — 1944 гг.

<sup>84</sup> В. Сосюра не совсем точно цитирует первую строфу из стихотворения С. Воробкевича «Родная речь». У автора четвертая строка написана так: «Тільки камінь має».

<sup>85</sup> Н. — криптоним употреблен по этическим соображениям.

<sup>86</sup> ВОКС — Всесоюзное общество культурных связей с заграницей.

<sup>87</sup> Мария Гавриловна Сосюра, жена поэта, была арестована в 1949 г. Находилась в заключении в течение шести лет.

*Владимир Михайлович  
Сосюра*

**ТРЕТЬЯ РОТА**

Редактор

*В. И. Золотухин*

Художественный редактор

*А. Г. Чувасов*

Технический редактор

*Д. А. Калмыков*

Корректор

*Т. В. Малышева*



ИБ № 7461

Сдано в набор 29.03.90. Подписано к печати 27.08.90. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага офс. № 1. Гарнитура «Таймс». Офсетная печать. Усл. печ. л. 14,28. Уч.-изд. л. 14,40. Тираж 15 000 экз. Заказ № 233.  
Цена 95 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель»,  
121069 Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Государственного комитета СССР по печати,  
300600 г. Тула, проспект Ленина, 109

**Сосюра В. М.**

**С 66** Третья Рота: Роман. Пер. с укр.— М.: Советский писатель, 1990.— 272 с.

ISBN 5—265—01412—8

Биографический роман «Третья Рота» выдающегося украинского советского писателя Владимира Николаевича Сосюры (1898 — 1965) впервые издается на русском языке. Высокая лиричность, проникновенная искренность — характерная особенность этого самобытного исповедального произведения. Биография поэта тесно переплетена в романе с событиями революции и гражданской войны на Украине, общественной и литературной жизнью 20—50-х годов, исполненных драматизма и обусловленных временем коллизий.

На страницах произведения возникают образы современников поэта, друзей и недругов в жизни и литературе.

4702640201—363

С ————— 350—90

083(02) — 90

**ББК 84 Ук 7**

